

СМЕРЬ

ISSN 0131 — 6656



ЦЕНТРИН ГЛАЗОВ ■ ЗАПАХ СТОЯККОГО ЛЮБВОНА

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ ■ КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ

11 / 95



11'95

СМЕНА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

ВАЛЕНТИНА БОЧАРОВА
ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ
зам. главного редактора
БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
зам. главного редактора
СЕРГЕЙ ПОПОВ
МИХАИЛ ТЕЛИЧКИН
главный художник
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ
ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление
ВАЛЕНТИНА ДАВЫДОВА
*Художественно-
технический редактор*
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 25.08.95.
Подписано к печати 20.09.95.

Формат 84 × 108¹/₂.

Бумага «Офсетная».

Печать офсетная.

Усл. п. л. 15,54.

Усл. кр.-отт. 17,64.

Уч.-изд. л. 23,10.

Тираж 77 200 экз.

Заказ № 591.

Цена свободная.

101457, ГСП, Москва,

Бумажный проезд, 14.

212-15-07 — для справок.

250-29-39 — отдел реализации.

250-49-98 — отдел рекламы.

Факс (095) 250-59-28.

Журнал зарегистрирован

в Министерстве печати

и массовой информации

Российской Федерации.

Рег. № 166.

Учредитель — коллектив

редакции журнала «Смена».

Рукописи, фото и рисунки

не возвращаются.

Типография издательства

«Пресса», 125865, ГСП, Москва,

А-137, ул. «Правды», 24.

В случае полиграфического брака
обращаться в издательство «Пресса»;
257-28-30, 257-41-03.

11 (1573) НОЯБРЬ

© «Смена», 1995.

Ганс Гейнц Эверс

ПАУК *Рассказ*

58

Юрий Поляков

КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ *Роман-эпиграмма*

194

Григорий Глазов

ЗАПАХ СТОЙКОГО ЛОСЬОНА *Детектив*

4 ВРЕМЯ И МЫ

Александр Пьянков

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

27

Галина Сергеева

ОТ МИРА СЕГО

170

Галина Брынцева

УБИЙСТВО ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

264

Виталий Нехаев

ПЕС С НАМИ

40 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Игорь Золотусский

ТРОПА АБРАМОВА

54

Игорь Яковлев

УРОЖАЙ ЗОЛОТОЙ ДА СЕРЕБРЯНЫЙ

146

ТЕАТР ДУХА *Беседа с режиссером Светланой Враговой*

154

Михаил Лебедевский
РЕНУАР

180

Касьян Касьянов
САВВУШКА

285

АНАСТАСИЯ: «Я ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ...»



На 1-й обложке: фотоэтиюд ВЛАДИМИРА ПЧЕЛКИНА.

Грегори Макдональд

ФЛЕТЧ И ВДОВА БРЕДЛИ

И снова на страницах «Смены» встреча с обаятельным и находчивым журналистом Ирвином Флетчером, работающим в газете «Ньюс Трибюню». На этот раз Флетч получает рядовое задание написать статью о небольшой коммерческой фирме «Уэгнолл-Фипс». В ней он процитировал председателя совета директоров фирмы Томаса Бредли, который, как оказалось, умер еще два года назад. Этот вроде бы безобидный «прокол» потянул за собой очередное частное расследование, проведенное Флетчем, и привел к удивительной развязке...

Михаил Волгарев

ЕДА И ЕДОКИ

«Народ за тысячи лет вывел формулу: щи да каша — пища наша. И в щах, и в кашах достаточно витаминов, полезных веществ... Может, на кого-то хорошо действуют жареные мозги, а кто-то предпочитает цветную капусту. Впрочем, никто еще не доказал: вот этот продукт несомненно повышает мужскую потенцию», — считает директор Института питания РАМН, академик М. Волгарев.

АНОНС

1295

МАГЕЧНЫЙ ПУТЬ

АЛЕКСАНДР ПЬЯНКОВ



— Дочка, почему у вас молоко?
— Не видите, на ценнике написано?

— Ой, что-то дорого...

— А что сейчас дешево?

Тайна

Перед палаткой напротив моего дома всегда очередь. Там торгует сметаной, молоком и творогом колхоз «Россия» из соседней Тульской области. Я все время удивлялся — зачем тратить полчаса на утомительное стояние в очереди, если в двух шагах молочный магазин, где можно купить все то же самое, разве что чуть подороже. Разгадка пришла, когда в этом самом магазине довелось купить пакет молока. «Свежайшее», — обрадовался я, увидев на пакете завтрашнюю дату реализации. «Кислятина», — пришлось констатировать минуту спустя после первого глотка.

...На моем веку отечественная молочная промышленность рядовых граждан особенно не баловала. Бывали времена (не так, кстати, давно), когда масло и сыр продавали по карточкам, а купить бутылку молока считалось удачей. Только когда жил в Эстонии, видел молочное изобилие. Теперь Эстония — другое государство, но тамошнюю сметану, густую и вязкую, нет-нет да и встретишь на прилавках первопрестольной. Предпочитаю покупать именно ее, ибо уверен, что в пакете будет именно сметана, а не белая жижица с твердыми комочками, которую нам подсовывают московские молочные комбинаты.

Понимаю старушек, которые вынуждены искать продукты подешевле. Могу понять и продавца, который и в самом деле цены не с потолка берет, но не укладывается в голове, почему в России, где моло-

ко традиционно было одним из основных продуктов питания, его так и не научились (или разучились?) получать, обрабатывать, хранить и продавать по доступным ценам.

Чтобы разгадать эту тайну и выяснить, что же происходит с отраслью, я решил окунуться в российские молочные реки и «сплавать» по ним против течения — от прилавка до буренки.

Налетай, не скупись

Пакет молока можно купить практически в любом столичном продуктовом магазине. Как правило, на витрине с ним соседствуют кефир и ряженка. Не так часто, но встречается сметана. Та же картина с маслом. Не густо, конечно, но все-таки и не пусто.

Если же вы гурмэ (именно гурмэ, а не гурман, потому что второй любит есть много и вкусно, а первый разбирается в тонкостях), то надо идти в специализированный молочный магазин. Не хочу вас дразнить, как это делал Гиляровский, описывая ассортимент Елисеевского гастронома начала века, а просто расскажу, что можно встретить на прилавках молочного.

Тут вам молоко и обычное, и топленое, и даже шоколадное, кефир и простой, и с фруктовыми добавками, сметана двух-трех сортов, творог и творожные сырки, в том числе и глазированные, творожные десерты, сыр и масло (чаще импортные), всяческие йогурты, сгущенка.

Цены не называю намеренно, поскольку они колеблются от магазина к магазину и растут как на дрожжах. Особенно любопытным скажу, что в июле литр молока стоил от 2,5 до 3 тысяч рублей. На рынке пол-литровую бутылку продают за две тысячи. Зато деревенские бабульки, выставяющие трехлитро-

вые банки с парным молочком на обочины ведущих в белокаменную автострад, охотно отдают их по тысяче за литр. К обоюдному удовольствию сторон.

Впрочем, и продавцы молочных магазинов, с которыми я разговаривал, на судьбу не сетовали и уверяли, что со сбытом больших проблем не возникает.

— А куда им деваться? Брали молоко всю жизнь и будут брать, — заявила заведующая молочной секцией большого гастронома, что у метро «Сокол».

В самом деле, деваться некуда. Не корову же на балконе заводить. А вот откуда возникает такая разница цен между молоком деревенским и магазинным, я попытался выяснить на Лианозовском молочном комбинате, самом крупном в Европе.

«Wimm-Bill-Dann»

Комбинат был спроектирован и построен в ту самую пору, когда наша страна еще не уставала поражать мир самыми большими железнодорожными магистралями, самыми грандиозными планами поворота рек, провинциальными театрами немислимых размеров и прочим «самым-самым». Открылся комбинат в 1989 году и был рассчитан на выпуск очень узкого ассортимента, но зато в больших количествах. Молоко, еще раз напомню, было тогда в дефиците, стоило в прямом смысле копейки, комбинат сидел на дотациях и на качество поплевывал с высокой колокольни.

Может, так и продолжалось бы до сих пор, если бы директору комбината Владимиру Александровичу Тамбову такая картина не надоела, и он решил делать сами знаете из чего конфетку. И, что самое интересное, сделал. Несмотря на увещевания коллег, несмотря на

предупреждения, что ничего у него не выйдет, директор Лианозовского перестроил предприятие, полностью сменил оборудование. И теперь комбинат удовлетворяет почти половину всех потребностей столицы в молочных продуктах. Ассортимент расширился до 46 наименований. Но главное — достигнуто такое качество, какого москвичи отродясь не видывали.

Впрочем, никто не расскажет о комбинате лучше, чем его директор:

— В отрасли сейчас тяжелейшая ситуация. Производство молока резко сократилось. Если раньше Московская область давала в сезон семь тысяч тонн, то теперь только около трех тысяч. На Западе молоко у производителя стоит от 4 до 28 центов за литр. Мы нашим крестьянам платим 43 цента. И все равно сельское хозяйство разваливается, никаких денег не хватает. Российские аграрии покрывают потребности столицы только на четверть, поэтому приходится закупать молоко за рубежом.

— Комбинат наш рентабелен, — продолжает Владимир Александрович, — но сложности есть. В первую очередь с реализацией молока. Магазинам из-за больших налогов брать много молочной продукции невыгодно. Торговля не рассчитывается с нами вовремя. Поэтому мы, в свою очередь, не можем расплачиваться с поставщиками.

Чтобы максимально снизить отпускные цены на продукцию, мы перешли на прямые контакты с селом, минуя посредников, а значит, и дополнительные «накрутки». Но цена пакета молока все равно не может быть очень низкой. Считайте сами: покупаем сейчас молоко по 1150 рублей за литр, современная упаковка стоит около тысячи плюс затраты на энергию, воду и прочие производственные издерж-

ки. Вот и получается, как ни крути, под три тысячи за литр, да еще магазин «набросит»...

Конечно, у бабушки в деревне молоко дешевле — она его не обрабатывает, не упаковывает. У нас же молоко, прежде чем сойти с конвейера, проходит массу всяких обработок и достигает действительно высокого качества. Потому и гоняются москвичи за лианозовским, что храниться оно может по полгода, не теряя своих полезных свойств. Тут, конечно, дело и в новейшем оборудовании — только в прошлом году в модернизацию комбината было вложено 12,5 миллиона долларов, но овчинка стоила выделки: ведь даже из молока изначально невысокого качества мы теперь выпускаем отменную продукцию.

— Откуда эта марка — «Wimm-Bill-Dann»?

— Когда в Россию хлынул поток импортных продуктов, наше молоко москвичи стали брать неохотно. Пришлось идти на хитрость. И комбинат с еще несколькими предприятиями создали компанию «Wimm-Bill-Dann». Это был такой рекламный трюк — поставить эмблему с симпатичной мышкой и иностранной надписью на упаковку. Покупатели тут же решили, что тут приложили руку какие-то солидные иностранцы, и бросились наше молоко покупать. (Впрочем, они не ошиблись — продукты с эмблемой «Wimm-Bill-Dann» действительно отвечают всем мировым требованиям...) Но, думаю, скоро мы от этой эмблемы откажемся. Россияне успели убедиться — не все западные товары так уж хороши, и все больше отдают предпочтение продуктам отечественным. Даже государственные мужи начали понимать, что нужно развивать производство отечественное, российское.

У нас, например, прекрасные от-

ношения с московским правительством. Только благодаря его усилиям в Москве уцелела и продолжает существовать пищевая промышленность. Мы не платим налоги в местный бюджет, выполняем государственный заказ на молоко и молочные продукты. Поэтому у нас есть деньги не развитие производства, на своевременную выдачу зарплаты.

...Походил я по цехам — впечатляет. Теперь понятно, почему столь вкусную и «долгоиграющую» продукцию выпускает Лианозовский молочный — при таком оборудовании, которым управляют компьютеры, при такой стерильности качество не может быть иным. Жаль только, что молочко здесь не могут пока отведают только москвичи. Правда, и в колхозе «Россия», только уже не Тульской, а Московской области, откуда идет молоко столичным производителям, марку «Wimm-Bill-Dann» видели не только по телевизору.

7

А много ль корова дает молока?

Председателя колхоза «Россия» Артеменкова пришлось ждать почти два часа. Это время я провел, наблюдая за курами, которые жадно клевали цветочную клумбу с засохшими тюльпанами перед зданием колхозного правления. Наконец бежевый «уазик» подкатил к крыльцу, и Михаил Алексеевич устало пригласил меня в кабинет, где и поведал о своих (читай — колхозных) проблемах и неурядицах.

Колхоз, как оказалось, существует с 1930 года, но свое громкое название получил лишь в 1951-м. Миллионером никогда не был, но и в нищих тоже не числился. Обычное среднее хозяйство. Только чудом

не развалившееся в наши дни...

— Я не тоскую по застойным временам, но тогда были какие-никакие возможности для развития. Мы в те годы целый поселок отстроили, а сейчас ни рубля на строительство потратить не можем. Держимся за счет старых запасов, когда колхоз был еще экономически сильным, — говорит председатель. — Последние полгода, правда, ничего живем, есть деньги в банке, и мы работаем даже рентабельно, потому что цены на молоко несколько стабилизировались. Но таких колхозов в Московской области единицы. У нас есть земля, и это главное, что позволяет вот уже пять лет держать поголовье на одном уровне и даже увеличивать. Сейчас у нас 1150 коров. Их не прокормить, если не будет земли...

Мы понимаем, москвичам хочется иметь садовые участки и дачи в пределах области. Но разве им не хочется пить и есть? А земли у сельских хозяйств отбирают все больше. Полтора года назад и у нас изъяли 25 гектаров пашни. Продали ее какой-то организации. Так ведь это земля до сих пор пустует, заросла сорняками. А мы за нее не получили ни копейки.

Колхоз всегда работал на 2400 гектарах земли, теперь у него в собственности только 1625 гектаров, остальные сданы нам в аренду на десять лет. Так что эти площади в любой момент могут отнять, и мы сомневаемся, стоит ли их обрабатывать. Сейчас вот грозятся изъять еще 200 гектаров. Эта земля находится под кормовыми культурами, и если ее не станет, нам придется пустить под нож как минимум сто коров — их просто нечем будет кормить. Пока же кормов, слава Богу, достаточно и даже есть запасы. Я так много говорю о земле, потому что с нее все начинается — и корма, и стадо, и молоко.

Наш разговор продолжился на ферме. Над головами у нас по специальному трубопроводу бежало молоко из вымени прямо в холодильник. А председатель продолжал рассказывать:

— Корова дает в день около четырнадцати литров молока. Со всем неплохо! Но как, кому продать это молоко? Летом его девать некуда, и предприятия на этом играют, снижая закупочную цену. Назвать себестоимость литра сейчас невозможно из-за постоянных скачков цен, но отпускаем молоко-заводам по 1057 рублей за литр... Опять же не все вовремя расплачиваются: например, Истринский молзавод должен к середине июля 600 миллионов рублей, но мы все равно поставляем ему молоко — не выливать же! Вот лианозовцы платят аккуратно.

Сотрудничаем мы и с молочно-консервными комбинатами, которые изготавливают детские молочные смеси. А, надо заметить, плохое молоко эти предприятия просто не берут. Есть у нас техника, оборудование, мощные средства для поддержания его в чистоте. Да и люди заинтересованы в хороших надоях и качестве молока, держатся за место. Зарплата доярки — от 600 до 800 тысяч рублей.

Правительство обещает селу триллионы. Но, во-первых, где они, а во-вторых, как это ни парадоксально прозвучит, не нужны нам эти триллионы вообще. Нам нужно внимание. А то недавно наши специалисты приехали на прием к главе районной администрации, а он сделал удивленные глаза: «Вы разве еще существуете?» Еще нам нужно нормальное налогообложение, нужен паритет цен, при котором литр молока не стоил бы меньше литра бензина. При этих условиях мы сможем нормально работать.

В ответ на вопрос о развитии

фермерства в районе Михаил Александрович рассмеялся:

— Есть у нас печальный пример совхоза «Истринский». Там все раздали, землю чуть ли не всю продали, теперь сидят у разбитого корыта и лапу сосут. Не может сейчас фермер выжить в одиночку, не создано для него таких условий. У нас ни один человек пока не хочет из колхоза выходить — он тогда не только Москву, себя прокормить не сможет. Вот такие дела сейчас с фермерством.

Об одном не сказал мне председатель, зато пожаловалась одна из колхозниц. Пьют здешние мужики по-черному. От тоски, от безысходности.

— Где же это видано, чтобы водка стоила как пять батончиков хлеба? — с горечью спрашивала эта немолодая женщина.

Что я мог ей ответить...

Товарищи ученые, доценты с кандидатами

Погрузившись в молочные потоки, я не мог не причалить к Всероссийскому НИИ молочной промышленности. Начальник одного из отделов института Вадим Грановский рассказал немало интересного, но, к сожалению, печального:

— Мы близки к трагедии. Производство молока упало до уровня 60-х годов и продолжает падать. Все разговоры о какой-то стабилизации не более чем очередная сказка, рассказанная на очередную программу «Время»... Несколько лет назад многие колхозы стали резать скот на мясо, продавать которое было очень выгодно. поголовье сильно сократилось. Заводы уменьшили мощности, незадействованное оборудование постепенно вышло из строя, ушли кадровые работники, упала зарплата. Во Владимирской области несколько

директоров молочных предприятий уволились, не видя впереди абсолютно никаких перспектив. У заводов нет денег, чтобы рассчитываться с поставщиками, а поднять цены нельзя — не будет сбыта. Сейчас самая большая проблема со сбытом масла. У нас оно стоит 3—4 доллара за килограмм, а импортное, включая все расходы на доставку, — 1,5 доллара. Что выгоднее?

Недавно я ездил в Польшу. Скажем, если там молочный завод берет деньги на реконструкцию, ему дают льготный кредит — 7 процентов. У нас — 200 процентов. Даже если наше предприятие не побоится взять такой кредит, оно очень скоро начнет работать только на банк, пока совсем не разорится.

Кое-кто удивляется — зачем нам так много западных продуктов, если свои не хуже? Да дело в том, что стоимость нашего сырья вышла почти на мировой уровень, а эффективность производства по сравнению с западной осталась как при царе Горохе. Наши цены зачастую неконкурентоспособны, и потому отечественные продукты по всем законам рынка из торговли вытесняются.

Но кто думает о развитии промышленности, о внедрении современных технологий? Мы, например, почти не востребованы как институт молока. Денег на исследования выделяется катастрофически мало. Да они нам были бы и вовсе не нужны, если бы мы работали по заказам предприятий. Но у них-то денег тоже нет.

— Простой пример, — продолжил Грановский. — Наш НИИ разработал гомогенизатор нового поколения, аналогов которого пока нет даже за рубежом. Для непосвященных: гомогенизатор — это такой прибор, который равномерно распределяет жир в молоке, не позволяя ему всплывать наверх или

оседать на стенке. Но что-то не видно покупателей на этот агрегат. То же и с технологиями. Сейчас идет повальное увлечение йогуртами. Хотя йогурт чисто вкусовой продукт, в нем убиты все живые субстанции. Тогда как кефир — живой организм с очень полезной микрофлорой. Технологию его изготовления в свое время у нас купили и Германия, и Япония, и Канада.

Чтобы получить качественное молоко, нужно иметь хороший скот, сочную траву и чистоту. Чистоту во всем. У нас же в некоторых хозяйствах коровы стоят по колено в навозе. Откуда там хорошему молоку взяться? Я когда отдыхал в деревне, покупал молоко на ферме. Так доярки сразу мне сказали, чтобы брал молоко у той и у этой коровы, потому что у других мастит. А мастит — значит гной. И вот все это молоко, от больных коров и от двух здоровых, перемешивается и отправляется на комбинат. И еще одна особенность: этим несчастным животным колют антибиотики в лошадиных дозах. Потом их молоко не сквашивается и из него нельзя получить кефир или ряженку.

А продуктивность... Наши коровы-рекордистки по американским стандартам вообще должны выбраковываться. У нас ведь если корова дает три с половиной тонны молока в год, это считается очень хорошо, в то время как в Европе норма — 7—9 тонн.

Между прочим, уровень потребления белка — один из показателей развитости общества. А до 40 процентов суточной нормы белка человек получает именно из молочных продуктов. Мы могли бы вести исследования по всем перечисленным проблемам и решить их в конце концов для нашей страны, но...

Небезызвестный «Римский

клуб», где собираются светила науки, экономики и бизнеса, лет двадцать назад просчитал, что нормально и эффективно будет развиваться лишь то государство, которое начинает вкладывать средства не в танки и автоматы, а в пищевые технологии. Если же весь мир будет питаться как в тех же Штатах, то при нынешних технологиях на это просто не хватит земли и энергоресурсов.

...Вы полагаете, на этом наше путешествие закончилось?

Вот тебе, бабушка, и... Лига

Итак, выберемся на берег — отнюдь не кисельный — и подведем итоги.

Может быть, я что-то упустил из виду, не побывал в передовом производстве, где коров распирает от молока (честно говоря, о таких я даже не слышал...), но общая картина более или менее ясна.

Во-первых, практически во всех столичных магазинах молоко сейчас купить можно, а в специализированных — даже в приличном ассортименте. Во-вторых, это изобилие достигается как бы за счет тех, кому молочная продукция наиболее необходима, — стариков и детей, поскольку рост цен за пределами понимания. (Это ж надо так хозяйствовать, что сливочное масло дешевле завозить из Новой Зеландии, чем производить на месте!) В-третьих, комбинаты «крутятся», колхозы еле держатся, а наука вообще погибает.

По официальным данным, за четыре года аграрной реформы валовое производство сельхозпродукции в России уменьшилось на 25 процентов, а производство продуктов питания упало в два с полови-

«Млечный путь» — не молочные реки

ной раза. На треть за это время передело коровье стадо страны и на 30—35 процентов снизилась его продуктивность. Она теперь ниже, чем 25—30 лет назад!

Но при всех трудностях, как выяснилось, можно и не утонуть в «молочных проблемах», а сбить под собой масло и выпрыгнуть на свет Божий, как сделала это энергичная лягушка, в отличие от своей ленивой и слабой духом подруги.

Конечно, не все молочные заводы России (а их тысячи: в каждом районе один, а то и два завода...), даже столичные, могут тягаться с Лианозовским комбинатом. И колхозы с большим стадом и развалахами вместо коровников, конечно же, не в состоянии угнаться за «Россией». Но ведь факт существования Лианозовского и «России» говорит сам за себя: дело можно делать. А можно и другим путем идти — по-русски, «на особинку»...

В феврале нынешнего года была создана Народная Молочная Лига. Среди учредителей — депутаты Федерального Собрания, должностные лица, известные политики (например, Аркадий Вольский...). Лига пропагандирует здоровый образ жизни и занимается благотворительностью.

Она уже провела бесплатную раздачу молока «за вредность» инспекторам ГАИ, которые по долгу службы вынуждены дышать выхлопными газами.

Но самое интересное, что каждый член НМЛ раз в месяц получает литр молока и кефира и полкило творога абсолютно «безвозмездно», то есть даром. А не вступить ли в таком случае всем россиянам в эту Лигу, обеспечив себя пожизненно молочными продуктами? Ты же не халявщик — партнер...

Одно печалит — лиг все больше, а молока все меньше.

«Что думают дети о молочном шоколаде «Milky way»? Эта фраза из телерекламы вкупе с ответами на нее заставляет погрузиться. Если уже сейчас мысли симпатичных деток о молоке сводятся к нечленораздельному мычанию, не забудут ли они завтра вообще, что такое молоко? И не ограничится ли ребячье знакомство с ним заморской шоколадкой в глянцево-фантике, название которой переводится как «Млечный путь»? Путь, что оказался таким туманным. Мы на нем заблудились и, похоже, не скоро выберемся.

Того и гляди сами замычим. Му-у-у!

КОРНИ

*Там, где кроты рыли
темные норы в земле,
корни деревьев жили
в глине сырой и мгле.*

*Подземные слушая токи
и гул холодной земли,
шум величавой осоки
расслышать они не могли.*

*Там, где кроты рыли
норы свои у дорог,
гибкие корни жили,
но я их слышать не мог.*

*Над ними радуга висла.
Птичий носился гам.
И было великого смысла
им столько дано — сколько нам.*

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

*Тополя прикарманили ночью
электрический свет.
Еще ни воров на свете,
ни журналистов нет.*

*Все еще недействительно,
нету отсчета веков,
и где-то приблизительно
пять или шесть часов.*

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

*Ночь — доказательство дня, это ты знаешь,
суть звезд в том, что в вышине они.
Вытесненное пространство вещь вытесняет
пространство другое. Лежи и думай и в небо смотри.
Бурундук прибежит на пенек еловый,
вскочит он на него и смотрит — что же там в стороне?
Все — доказательство зари новой,
даже кувшин, у которого суть в пустоте.
Хватит на всех хлеба, солярки и песен,
прямой наводкой бьет по лесу заря.
Лежи и думай, что мир так нелен и тесен,
ибо спать на закате нельзя, говорят не зря.*

ПТИЧИЙ ГАМ

Тело разделено на три отдела: голова, грудь, брюхо;
и ты проживешь, если имеешь немного ноха,
но это плохое ученье,
поэтому будь почтителен к деревьям, к судьбе,
как малый круг кровообращения
крутится и почтителен сам к себе.
И люби больше непреклонный космос и птичий гам;
жизнь, она, к сожаленью, не кукла.
А захочешь подарить книгу, прочитай ее вначале сам,
чтоб наслочлась целебная сила на буквы.

ЛИШЬ БЫ НЕ СБИТЬСЯ

Осиновый лес и страх всегда заодно,
к тому же противное ночью дно.
Идешь и идешь с тусочком дотемна,
лишь бы не сбиться, и лишь бы труба ГРЭС была видна.
Но это всего лишь жизнь. Это птицы крик в лебеде.
Ее голос летит далеко,
это, как в детстве, в Сибири игра, когда говорили тебе:
— Хочешь увидеть Москву?
И поднимали за уши высоко-высоко.

ТЕРРИТОРИЯ

вот она эта ограда
вот он конец пути
дальше идти не надо
не надо дальше идти

ходят гуськом кастелянши
и в уголке небес
скидывают наволочки
с облаков на лес

ЭКСКАВАТОР

Экскаватор в карьере копает,
и колодец идет в глубину.
Мерно капли по стенам стекают,
ударяют по мерзлому дну.
И чем глуше колодец — тем тоньше
на стене слой холодной воды.
И чем глубже колодец — тем больше
по краям и на дне темноты.
Экскаватор копает в карьере,
разбивая ковшом тишину,
машинисту не слышно капели,
и свой голос не слышит ему.
Рвется воздух от силы железной,
манит тайна немой глубины.
Там, в объятьях разбуженной бездны,
тьма и свет безысходно равны.

ГАНС ГЕЙНЦ ЗВЕРС

паук

14

Студент медицинского факультета Ришар Бракмон переехал в комнату под номером семь маленькой гостиницы «Стивенс» сразу же после того, как в ней на перекладине окна повесились подряд три человека.

Первым из повесившихся был швейцарский коммивояжер. Тело обнаружили только в субботу вечером. Врач же установил, что смерть наступила между пятью и шестью часами вечера в пятницу. Коммивояжер висел на большом крюке, вбитом в раму окна в том месте, где она образует крест. Крюк предназначался, вероятно, для того, чтобы вешать одежду. Самоубийца повесился на пнурке от занавески, окно было закрыто. Оно располагалось очень низко над полом, поэтому самоубийце пришлось проявить невероятную силу воли, чтобы осуществить свое намерение. Установили также, что коммивояжер был женат, имел четверых детей, материально обеспечен, отличался веселым и беззаботным нравом.

Второй случай мало чем отличался от первого. Артист Карл Краузе, работавший в близлежащем цирке Медрано эквилибристом на велосипеде, поселился в комнате номер семь два дня спустя. Так как в следующую пятницу он не явился в цирк на представление, директор послал за ним в гостиницу капельди-нера.

Тот обнаружил артиста в незапертой комнате висящим на том же крюке, что и первый жилец. Самоубийство Краузе выглядело не менее загадочным, чем первое, так как популярный и любимый публикой артист получал очень большое жалованье, к тому

же, ему было всего двадцать пять лет, и он умел предаваться радостям жизни.

Краузе также не оставил никакого письменного объяснения.

Для содержательницы маленькой гостиницы, госпожи Дюбоннэ, клиенты которой исключительно были служащими окрестных монмартрских варьете, это второе загадочное самоубийство имело очень неприятные последствия. Некоторые постоянные жильцы выехали, а другие перестали у нее останавливаться.

Тогда она обратилась за советом к своему личному другу, комиссару Девятого участка, и тот обещал сделать все от него зависящее. И действительно, он не только самым усердным образом занялся расследованием самоубийств, но и подыскал нового жильца для таинственной комнаты.

Шарль Шомье, служивший в полицейском управлении, добровольно согласился поселиться в комнате номер семь. Он был старым морским волком, одиннадцать лет прослужившим во флоте. Сержантом ему не раз приходилось где-нибудь в Тонкине или Аннаме оставаться по ночам одному на вахте и угощать зарядом лебелевского ружья желтолицых пиратов, неслышно подливавших к нему во мрак.

Именно поэтому казалось, что Шомье просто создан для того, чтобы во всеоружии встретить «привидения», которыми прославилась гостиница. Он переселился в комнату в воскресенье вечером и спокойно улегся спать, мысленно благодаря госпожу Дюбоннэ за вкусный ужин.

Каждый день Шомье заходил к комиссару для короткого доклада. В первые дни все было спокойно. А в среду вечером Шомье доложил, что напал на какие-то следы. На просьбу комиссара высказаться яснее он ответил отказом и прибавил, что еще не уверен, имеет ли его открытие какую-либо связь с самоубийствами. Затем добавил, что боится показаться смешным и расскажет все подробнее, когда будет уверен в себе. В четверг бывший моряк вел себя менее уверенно и в то же время более серьезно, но ничего нового не сообщил. В пятницу утром он был сильно возбужден и сказал полуплутя-полусерьезно, что, как бы там ни было, окно действительно имеет странную притягательную силу, однако настаивал, что это отнюдь не связано с самоубийствами.

Вечером того же дня Шомье не пришел в полицейский участок: его нашли повесившимся на перекладине окна.

И в этот раз детали самоубийства оказались до мельчайших подробностей такими же: ноги самоубийцы касались пола, а вместо веревки употреблен шнурок от занавески. Окно было закрыто, дверь не заперта; смерть наступила в шестом часу вечера.

В тот же вечер все жильцы выехали из гостиницы. Скромным утешением для госпожи Дюбоннэ послужило то обстоятельство, что на следующий день звезда «Опера Комик» Мэри Гарден приехала к ней в великолепном экипаже и купила за двести франков красный шнурок, на котором вешались самоубийцы. Во-первых, это приносит счастье, а кроме того, об этом обязательно напишут в газетах.

Однако был разгар сезона, когда сенсационного материала для

газет более чем достаточно, поэтому происшествие обратило на себя гораздо меньше внимания, чем того заслуживало. В полиции составили протокол, и дело закрыли.

Протокол прочитал только студент медицинского факультета Ришар Бракмон, когда решил снять комнату, но он не знал об одной маленькой подробности. Факт показался комиссару и свидетелям до такой степени незначительным, что они не сочли нужным сообщать о нем репортерам. Только позже, после приключения со студентом, о нем вспомнили. Когда из петли вынимали тело сержанта Шомье, из его рта выполз большой черный паук. Коридорный щелкнул паука пальцем и воскликнул:

— Черт побери, опять эта поганая тварь!

Позже, во время следствия по делу Бракмона, коридорный сообщил, что такой же паук сполз с плеча коммивояжера, когда его вынимали из петли. Студент ничего об этом не знал. Он поселился в комнате номер семь две недели спустя после третьего самоубийства, в воскресенье, и ежедневно записывал в дневник свои впечатления.

Дневник Ришара Бракмона, студента медицинского факультета

Понедельник, 28 февраля. Я поселился в этой комнате вчера. Распаковал две корзины, разложил вещи, потом улегся спать. Пробило девять часов, когда меня разбудил стук в дверь. Хозяйка очень внимательна ко мне, что видно по ветчине, яичнице и превосходному кофе, которые она принесла собственноручно на завтрак.

Итак, я водворился здесь. Отдаю себе отчет, что затеял опасную игру, однако знаю, как много выиграю, если удастся напасть на верный след. Некогда Париж стоил мессы, теперь же его так дешево не приобретешь. Я, во всяком случае, могу поставить на карту свою недолгую жизнь.

Впрочем, и другие хотели попытать счастья, такие же бедняки, как и я. Человек двадцать приходили — одни в полицию, другие прямо к хозяйке. Но «получил место» я. Почему?..

Я сказал комиссару, что у меня есть план, и понес невероятную чепуху, о которой за секунду перед этим не имел ни малейшего представления. Сам не знаю, как это могло прийти мне в голову. Я сказал, что есть час, который имеет на людей странное, таинственное влияние, шестой вечерний час последнего дня еврейской недели, и напомнил, что именно тогда, в пятницу, между пятью и шестью, совершились все три самоубийства. Еще я попросил комиссара обратить внимание на Откровение Святого Иоанна.

Комиссар серьезно кивнул, словно что-нибудь понял, поблагодарил меня и попросил зайти вечером. Когда я явился к нему в назначенное время, на столе перед ним лежал Новый Завет. Я тоже не терял времени даром — прочел все Откровение и ни слова в нем не понял. Наверное, комиссар умнее меня — во всяком случае, он весьма любезно заявил, что, несмотря на столь неясный намек, догадывается о моем плане, готов пойти навстречу и оказать возможное содействие.



Комиссар действительно оказался на высоте — заключил с хозяйкой договор, в силу которого она обязалась содержать меня даром в своей гостинице, снабдил великолепным револьвером и полицейским свистком. Но важнее всего то, что он поставил в мою комнату телефон, чтобы я имел постоянную связь с полицейским участком, находившимся всего в четырех минутах ходьбы отсюда. Принимая все это во внимание, не могу себе представить, чего мне бояться.

Вторник, 1 марта. Ничего не случилось ни вчера, ни сегодня. Госпожа Дюбоннэ принесла новый шнурок к занавеске.

Я еще раз попросил рассказать со всеми подробностями о том, что произошло в этой комнате, но не узнал ничего нового. У нее свое мнение относительно причин самоубийств. Артист повесился из-за несчастной любви: когда он за год перед этим останавливался здесь, к нему часто приходила молодая дама, а на этот раз ее совсем не было видно. Самоубийство швейцарца хозяйка отказалась комментировать — разве залезешь человеку в душу? Ну, а сержант лишил себя жизни, несомненно, только ради того, чтобы досадить ей.

Должен сказать, что объяснения госпожи Дюбоннэ отличаются некоторой необоснованностью, но я с удовольствием выслушал ее: как бы то ни было, она развлекает меня.

Четверг, 3 марта. Опять ничего нового. Я достал свои медицинские книги и начал заниматься — мое добровольное заключение, таким образом, принесет хоть какую-нибудь пользу.

Пятница, 4 марта, два часа пополудни. Пообедал я с аппетитом — хозяйка подала полбутылки шампанского. Настоящая трапеза приговоренного к смерти. Госпожа Дюбоннэ смотрела на меня так, словно я уже на три четверти мертв. Видимо, боялась, что я тоже повешусь, «чтобы досадить ей».

Я тщательно осмотрел новый шнурок для занавески. Значит, на нем я должен повеситься? Шнурок был жестким и шершавым — петлю как следует не сделать. Нужно обладать громадным желанием, чтобы последовать примеру других.

Сейчас я сижу за столом, слева стоит телефон, справа лежит револьвер. Не испытываю страха, одно любопытство.

Пятница, 4 марта, шесть часов вечера. Решительно ничего не случилось (я чуть не сказал «к сожалению!»). Роковой час прошел, и был абсолютно такой же, как и все остальные. Не буду отрицать, временами я ощущал непреодолимое желание подойти к окну — но совсем, совсем из других побуждений! Комиссар звонил раз десять между пятью и шестью, он был так же нетерпелив, как и я. А госпожа Дюбоннэ, вероятно, осталась очень довольна: постоялец прожил в комнате номер семь целую неделю и не повесился. Невероятно!

Понедельник, 7 марта. Постепенно начинаю убеждаться в том, что обнаружить мне ничего не удастся. Видимо, самоубий-

ства моих предшественников были вызваны простой случайностью. Париж, таким образом, не упадет к моим ногам, но зато я живу здесь бесплатно и превосходно откармливаюсь. К тому же много и упорно занимаюсь. Но есть, однако, и еще одна причина, которая удерживает меня в этой комнате...

Среда, 9 марта. Кажется, со мной что-то происходит. Кларимонда...

Ах, да! Я еще ничего не написал о Кларимонде. Это и есть моя «тайная причина», из-за которой я стремился к окну в тот «роковой» час, а вовсе не из-за желаний повеситься. Кларимонда... Почему же я назвал ее этим именем?

Не знаю, но готов держать пари, что именно так ее зовут на самом деле.

Я заметил Кларимонду в первый же день. Она живет на другой стороне улицы — ее окно находится как раз напротив моего. Улица очень узкая, и я прекрасно вижу, как она сидит у окна за занавеской. Должен отметить, что она начала смотреть на меня раньше, чем я на нее, — видимо, интересуется мной. В том нет ничего удивительного, так как вся улица знает, почему я здесь живу, — об этом позаботилась госпожа Дюбоннэ.

Уверяю вас, что не принадлежу к числу влюбчивых натур, и мое отношение к женщинам иначе, чем очень сдержанным, не назовешь. Если приезжаешь в Париж из провинции изучать медицину и у тебя нет денег, чтобы хоть раз в три дня наесться досыта, тут уж не до любви. Поэтому я отнюдь не отличаюсь опытом и, возможно, веду себя довольно глупо. Но, как бы то ни было, Кларимонда мне нравится такой, какая она есть.

Кларимонда одна занимает маленькую квартиру. У нее три окна, но она всегда сидит у того, что находится напротив моего. Сидит и прядет за маленькой старинной прялкой. Такую прялку я видел у своей бабушки, но она ее никогда не использовала, а хранила как воспоминание о какой-то дальней родственнице. Я и не знал, что в наше время эти прялки еще употребляются. Впрочем, прялка Кларимонды маленькая и изящная, вся белая, вероятно, сделана из слоновой кости — должно быть, она прядет на ней очень тонкие нити. Сидит целый день за занавеской и работает, не переставая, дотемна. В туманные дни на нашей узкой улочке темнеет очень рано, и в пять часов уже наступают настоящие сумерки. Однако я никогда не видел в комнате Кларимонды света.

Я даже не знаю, как в точности она выглядит. Ее черные волосы вьются волнами, а лицо очень бледное. Нос маленький и узкий, с подвижными ноздрями, губы тоже бледные, изящные зубки заострены, как у хищных животных. На самом деле все это я больше чувствую, нежели действительно знаю. Ведь рассмотреть что-нибудь за занавеской довольно трудно.

Хочу сказать еще об одной подробности: Кларимонда всегда одета в черное с большими лиловыми крапинками платье с высоким воротом, на руках длинные черные перчатки — наверно, она боится, что руки испортятся от работы. Странное впечатление производят узкие черные пальчики, быстро-быстро перебираю-

щие и вытягивающие нитки — совсем как у насекомого с длинными лапками.

Должен сознаться, что наши отношения очень поверхностны, но мне кажется, что на самом деле они гораздо глубже. Она смотрит на меня, а я на нее. Однажды она улыбнулась, и я, конечно, улыбнулся в ответ. Так продолжалось дня два, и мы улыбались друг другу все чаще. Чуть ли не каждый час я принимал решение поклониться ей, но какое-то безотчетное чувство удерживало меня.

Наконец я решился на это сегодня после обеда. И Кларимонда ответила на мой поклон. Правда, кивнула чуть заметно, но я все-таки заметил.

Четверг, 10 марта. Вчера долго просидел над книгами. Но нельзя сказать, что усердно занимался — я строил воздушные замки и мечтал о Кларимонде. Спал очень беспокойно, однако проспал допоздна. Когда подошел к окну, сразу увидел Кларимонду. Поздоровался с ней, и она кивнула в ответ. Потом улыбнулась и долго не отрывала от меня взгляда.

Хотел позаниматься, но не мог успокоиться. Сел у окна и стал на нее смотреть. Не сразу заметил, что она сложила руки на коленях. Тогда я отдернул занавеску, потянув за шнурок. Она сделала то же самое. Мы улыбнулись и уставились друг на друга. Кажется, просидели так целый час. Потом она снова принялась за свою пряжу.

20

Суббота, 12 марта. Как быстро все-таки летит время! Поев, я сажусь за письменный стол и, раскурив трубку, склоняюсь над книгами, но не могу разобрать ни единой строчки. Стараюсь сосредоточиться, хотя заранее знаю, что все мои усилия тщетны. Потом подхожу к окну и киваю Кларимонде, она отвечает тем же. Мы улыбаемся и в течение нескольких часов смотрим друг на друга.

Вчера в шестом часу меня охватило некое беспокойство и сделалось немного жутко. Сидя за письменным столом, я почувствовал, что какая-то неведомая сила влечет меня к окну. Естественно, вешаться я не собирался, просто захотелось взглянуть на Кларимонду. Я вскочил и спрятался за занавеской. Кларимонда прятала, но глаза ее были устремлены на меня. Я ощутил непередаваемое блаженство, к которому, однако, примешивался смутный страх.

Внезапно зазвонил телефон. Опять невыносимый комиссар отвлекал меня своими дурацкими вопросами от сладостных грез! Сегодня утром он приходил сюда. Я несколько раз с таинственным видом намекнул ему, что наконец-то попал на очень странный след — и этот осел поверил! Как бы то ни было, мне разрешено жить здесь неопределенно долго, а это и есть мое единственное желание. И отнюдь не ради кухни госпожи Дюбоннэ — Боже, как быстро становишься равнодушным к ежедневной сытной пище, — а только ради этого окна, которое хозяйка ненавидит и боится. А я уже не могу без него жить...

Воскресенье, 13 марта. Сегодня утром наблюдал маленькое представление. Пока коридорный убирал мою комнату, я прогуливался взад и вперед по коридору. На маленьком окне, выходящем во двор, висит паутина, а в центре ее сидит толстый паук-крестовик. Госпожа Дюбоннэ не позволяет убрать паука — они приносят счастье, которого так не хватает в ее печальном доме.

Тут я заметил еще одного паука, поменьше, осторожно бродившего вокруг сети. Это был самец. Он неуверенно пополз по колышающейся нити к центру, но только лишь самка пошевелилась, паук сразу же испуганно отпрянул. Потом повторил свою попытку. Наконец самка вняла его мольбам и больше не двигалась. Самец слегка дернул за нить. Паутина дрогнула, однако его возлюбленная была спокойна. Тогда он с величайшей осторожностью приблизился. Самка спокойно отдалась его нежным объятиям; несколько минут два паука висели неподвижно среди паутины.

Потом самец стал медленно освобождать одну ножку за другой, вдруг разом освободился и быстро побежал прочь. Самка сразу же выказала сильнейшее беспокойство и бросилась за ним вдогонку. Ослабевший самец спустился по нити, подруга тотчас же последовала его примеру. Они одновременно упали на подоконник, самец всеми силами пытался убежать от преследования. Однако было уже поздно — возлюбленная схватила его своими сильными лапками и потащила назад к центру паутины. Место, служившее только что брачным ложем, сделалось местом казни. Сперва самец боролся, судорожно вытягивая слабые ножки в отчаянной попытке освободиться из ужасных объятий, но подруга в несколько минут обволокла его паутиной, вонзила острые клещи и принялась с жадностью высасывать кровь из его тела...

Такова любовь у этих насекомых. Что ж, остается только радоваться, что я не молодой паук.

Понедельник, 14 марта. Совсем перестал заглядывать в свои книги. Целые дни провожу у окна. Даже когда темнеет, так и продолжаю сидеть. Хотя и не вижу Кларимонду, но ее образ стоит перед глазами.

Да, мой дневник получается совсем не таким, как я его себе представлял. Пишу почему-то только о госпоже Дюбоннэ, комиссаре, пауках и Кларимонде. И ни одного слова об открытиях, которые должен был сделать.

Вторник, 15 марта. Мы с Кларимондой придумали довольно странную игру и играем почти целый день. Я киваю ей, и она отвечает мне тем же. Потом барабаню пальцами по стеклу — как только она это замечает, то начинает делать то же самое. Подаю знак рукой и шевелю губами, как бы говоря с нею, — все мои действия в точности повторяются. Откидываю волосы назад, и она тут же подносит руку к своему лбу. Получается нечто вроде детской забавы, и мы оба смеемся над этим. Вообще-то она не смеется, а только тихо и нежно улыбается мне.

Все это не так уж и глупо, как могло бы показаться на первый взгляд, сходство мышления играет свою определенную роль. Кла-

римонда мгновенно повторяет самые малейшие мои движения, что приводит меня в полный восторг. Я пытаюсь сделать что-нибудь новое, необычное, и просто поражаюсь, как быстро она схватывает. Иногда появляется желание заставить ее врасплох, и я делаю множество движений, одно за другим, потом повторяю их несколько раз, но в другом порядке, или пропускаю какое-нибудь движение, заменяю его новым. Невероятно, Кларимонда никогда не ошибается!

Вот так я и провожу свои дни. И у меня не возникает ощущения, что зря трачу время, — напротив, кажется, что более важного дела у меня никогда раньше не было.

Среда, 16 марта. Почему же мне не приходит в голову перенести отношения с Кларимондой на более реальную почву, а не ограничиваться игрой?

Прошлую ночь я много думал над этим. Ведь ничего не стоит надеть пальто и шляпу и спуститься со второго этажа... затем пройти пять шагов через улицу и снова подняться на второй этаж. Конечно же, на дверях я увижу табличку: «Кларимонда». А что дальше? Не знаю...

Временами мне кажется, что существует только та Кларимонда, которая играет со мной в окне. Я часто спрашиваю себя, люблю ли ее, однако не могу ответить на этот вопрос, потому что никогда не любил. Конечно, меня влечет к Кларимонде. Но к этому влечению примешивается и другое чувство — некий страх. Страх? Нет, все-таки скорее застенчивость или ожидание чего-то, мне не ведомого. Хотя именно страх поработает меня, вызывая сладостное ощущение, не позволяющее приближаться к ней и вместе с тем так неопределенно влекущее. Кажется, будто я бегаю вокруг нее по широкому кругу, то приближаясь, то снова удаляясь. Пока наконец не приближусь окончательно и бесповоротно.

Кларимонда сидит у окна и прядет необыкновенно тонкие длинные нити. Мне не видно, что именно она прядет. Но я чувствую. Чувствую, что это большая сеть со множеством странных фигур и лиц.

Четверг, 17 марта. Состояние очень странное. Не разговариваю почти ни с кем, даже с госпожой Дюбоннэ и коридорным только здороваюсь. Есть стараюсь как можно быстрее, чтобы бежать к окну и снова играть с Кларимондой. Да, эта игра возбуждает меня, причем весьма сильно. И постоянно преследует ощущение, что завтра произойдет что-то необычное, таинственное и... страшное.

Пятница, 18 марта. Да, да, сегодня что-то случится. Я громко повторяю это, чтобы слышать свой голос, говорю себе, что только ради этого я здесь. Однако хуже всего чувство страха. Страх, что я разделю участь своих предшественников, смешивается со страхом перед Кларимондой. И я не в состоянии отделить одно от другого.

Мне хочется кричать.

Пятница, 18 марта, 6 часов вечера. Скорее записать, потом одеться и бежать отсюда!

В пять часов силы мои окончательно иссякли. О, сейчас я уже не смеюсь над шуткой, которую проделал с комиссаром, — я точно знаю, что в шестом часу предпоследнего дня недели есть нечто непостижимое.

Я сидел в кресле и изо всех сил старался не поддаваться охватившему меня желанию броситься к окну — хотелось во что бы то ни стало поиграть с Кларимондой. Но останавливал жуткий страх перед окном.

Я ясно видел, как на нем висит швейцарец с толстой шеей и седоватой бородой. Видел стройного артиста цирка и плотного, могучего сержанта. Видел всех троих на том же крюке, с раскрытыми ртами и высунутыми языками.

И среди них — самого себя!

О, этот невыносимый ужас! Ужас от окна с отвратительным крюком и ужас перед Кларимондой... Кларимонда, прости меня, если можешь, но твой образ неразрывно связывается у меня в голове с теми троими, которые висели на этой перекладине, спустив ноги на пол. У меня, однако, ни на мгновение не возникала мысль о самоубийстве. Нет, тут присутствует что-то другое...

Мною овладело непреодолимое желание встать и, несмотря ни на что, подойти к окну. Я уже хотел это сделать, но внезапно зазвонил телефон. Я схватил трубку и, не слушая того, что мне говорили, закричал: «Приходите! Сейчас же приходите!».

Мой громкий крик в одно мгновение разогнал страшные тени, и я сразу же успокоился. Вытер пот со лба и выпил стакан воды, затем стал мучительно соображать, что же сказать комиссару, когда он придет. Машинально подошел к окну и улыбнулся. Кларимонда ответила улыбкой.

Минут через пять пришел комиссар. Я сообщил ему, что наконец обнаружил важную зацепку, однако сегодня он должен избавить меня от расспросов, поскольку через некоторое время я изложу все самым подробнейшим образом. Комиссар обратил внимание на мое странное душевное состояние, особенно когда я не смог дать разумное объяснение своему отчаянному крику по телефону. Он мягко напомнил, что находится в полном моем распоряжении, и пригласил на вечеринку. Я принял его приглашение, правда, с большой неохотой, так как с трудом расстаюсь со своей комнатой.

Суббота, 19 марта. Комиссар оказался прав: было очень полезно выйти и немного отвлечься. Вначале меня терзало неприятное чувство — будто я дезертир, бежавший от своего знамени. Но потом оно притупилось и исчезло. Мы прекрасно отдохнули: много пили, смеялись и болтали.

Когда сегодня утром я подошел к окну и увидел Кларимонду, мне почудилось, что в ее взгляде сквозит укор. Скорее всего виновато мое воображение — как она могла догадаться, что я вчера вечером выходил из дому?

Мы снова играли весь день.

Воскресенье, 20 марта. Сегодня мы играли весь день.

Понедельник, 21 марта. Мы весь день играли.

Вторник, 22 марта. Сегодня мы делали то же самое. Абсолютно то же самое. Иногда у меня возникает вопрос — к чему это приведет, или чего же я, собственно говоря, добиваюсь? Ответить мне нечего, поскольку ничего другого я не хочу.

Мы начали разговаривать друг с другом, не произнося, естественно, ни слова вслух, только шевеля губами. Однако очень хорошо понимали друг друга.

Я оказался прав: Кларимонда упрекнула меня за то, что я убежал в прошлую пятницу. Я попросил у нее прощения и сказал, что это было глупо с моей стороны и даже отвратительно. Она простила меня, и я обещал ей не уходить в следующую пятницу. Мы даже поцеловались, долго прижимаясь губами к стеклу.

Среда, 23 марта. Теперь я знаю, что люблю ее. Пусть для кого-то любовь представляет из себя нечто иное. Но разве существует хоть одна голова, или ухо, или рука, которые бы походили на тысячи подобных им? Все они различны, так же, как и любовь. Правда, моя любовь совсем особенная, но разве от этого она менее прекрасна?

Если бы только исчез страх! Иногда он утихает на некоторое время, но потом снова просыпается во мне жалкой мышью, которая борется с огромной и прекрасной змеей, тщетно пытаясь вырваться из ее мощных объятий. Подожди, глупый, маленький страх, скоро великая любовь поглотит тебя!

24

Четверг, 24 марта. Я сделал одно открытие: не я играю с Кларимондой, а она играет со мной. Вот как это случилось.

Вчера вечером я, как всегда, думал о нашей игре. Записал на бумаге пять серий новых различных движений, которыми собирался удивить Кларимонду на следующий день, причем каждое из движений имело свой порядковый номер. Я упражнялся, чтобы научиться быстро воспроизводить их в прямом и обратном порядке. Это было достаточно трудное занятие, но оно приносило огромное удовольствие, потому что сближало меня с Кларимондой даже тогда, когда я ее не видел. Я тренировался несколько часов, пока не довел свое умение до совершенства.

И вот сегодня утром подошел к окну. Мы поздоровались, и игра началась. Невероятно, но Кларимонда очень быстро поняла меня и стала повторять все мои движения. Внезапно в дверь постучал коридорный, который принес мои сапоги. Возвращаясь к окну, я случайно взглянул на листок с записями и обнаружил, что не сделал ни одного из заученных мною накануне движений.

Я зашатался, ухватился за спинку кресла и упал на него. Не веря своим глазам, еще раз просмотрел запись на листке. Именно так и произошло — я проделал у окна ряд движений, но ни одного своего.

И тут передо мной предстало видение: широко раскрывается дверь, ее дверь. Я стою на пороге и смотрю — ничего, одна тем-

нота. Я чувствую, что если немедленно выйду, то буду спасен. Но не ухожу, так как понимаю — в моих руках страшная тайна.

Париж... Я могу завоевать Париж! На один миг Париж оказался сильнее Кларимонды. Но только на один миг...

Я снова просмотрел первую серию записанных мною движений и постарался запомнить их. Потом подошел к окну и отчетливо осознал, что не сделал ни одного движения из тех, что намеревался.

Тогда я решил потереть нос указательным пальцем, но вместо этого поцеловал стекло. Хотел постучать по стеклу, однако провел рукой по волосам. Мне стало ясно — не Кларимонда подражает мне, а я ей. И с такой необычайной скоростью, что создавалось впечатление, будто инициатива исходит от меня.

Я попытался произвести еще один опыт — засунул руки в карманы и решил не двигаться. Просто стоял и смотрел на Кларимонду. Она подняла руку, засмеялась и погрозила мне пальцем. Я почувствовал, как моя правая рука рвется из кармана, и вцепился в подкладку. Через несколько минут пальцы мои разжались, и я поднял руку. Улыбнулся и погрозил Кларимонде.

Господи! Ведь я здесь для того, чтобы выполнять волю Кларимонды, которую отчаянно люблю и боюсь.

Пятница, 25 марта. Сегодня перерезал телефонный провод. Не желаю, чтобы меня каждую минуту беспокоил глупый комиссар, и именно тогда, когда наступит этот странный час.

Зачем я все это пишу? Ведь в дневнике нет ни слова правды. Чувствую, что кто-то водит моим пером, но отчаянно хочу записать то, что со мной происходит. И это стоит колоссального напряжения воли. Хотя бы один раз записать... то, что хочу.

Я перерезал провод... Ах! Так, как должен был сделать! Вот! Отлично! Должен был, должен был...

Сегодня мы опять играли, стоя напротив друг друга у своих окон. Но со вчерашнего дня наша игра изменилась. Кларимонда совершает какое-либо движение, а я сопротивляюсь до тех пор, пока это в моих силах, пока безвольно не уступаю тому, чего она от меня добивается. Какое счастье бессильно отдаваться ее воле!

Мы все играли, потом Кларимонда встала и отошла в глубь комнаты. Было так темно, что я не видел ее — она словно растаяла во мраке. Затем она появилась снова, держа в руках телефонный аппарат. С улыбкой поставив его на подоконник, Кларимонда взяла нож, перерезала провод и отнесла аппарат обратно.

Добрых четверть часа я сопротивлялся. Страх во мне усилился, но как сладостно ощущать свою все более возрастающую зависимость от кого-то! Наконец я взял телефон, поставил его на подоконник и перерезал провод...

Именно так это и случилось.

Напившись чаю, я сидел за письменным столом. Коридорный только что унес посуду. Я спросил его, который час, так как мои часы отстают. Четверть шестого, четверть шестого...

Я знаю — стоит мне только поднять голову, как она сделает что-нибудь такое, что и я должен буду сделать.

Голову я все же поднял. Кларимонда стояла у окна и смеялась. И вот — о, если бы я только мог отвести от нее взгляд! — она подошла к занавеске. Сняла красный шнурок... Такой же, как у меня. Сделала петлю. Привязала шнурок к крюку на перекладине. И, улыбаясь, села на прежнее место у прядки.

Нет! То, что я почувствовал, было уже не страхом, а холодным, леденящим душу ужасом, который, однако, я не согласился бы променять на все сокровища мира. Немыслимое, ужасное порабощение, неотделимое от всепоглощающего, сладострастного наслаждения.

Во мне происходила борьба, и я ощущал, как с каждой минутой сила моего сопротивления слабеет...

Я снова сижу за столом. Да, да, я выполнил то, что она просила, — взял шнурок, сделал петлю и повесил ее на крюк.

Но я уже больше не встану — буду смотреть лишь на эту бумагу. Прекрасно знаю, что она сделает, если осмелюсь посмотреть на нее в шестой час предпоследнего дня недели. Мне придется выполнить то, что она хочет...

Не буду смотреть на нее... Но знаю, что должен это сделать. Должен посмотреть на нее, должен... А потом и остальное...

Я жду только для того, чтобы продлить эти муки... Да, да, страдания, от которых захватывает дыхание, именно они доставляют мне величайшее наслаждение, увеличивают счастье моей любви... Еще, еще чуть-чуть...

Опять накатил страх! Я знаю, что обязательно посмотрю на нее, встану и повешусь — но боюсь вовсе не этого. О, нет... Все так чудесно, так дивно.

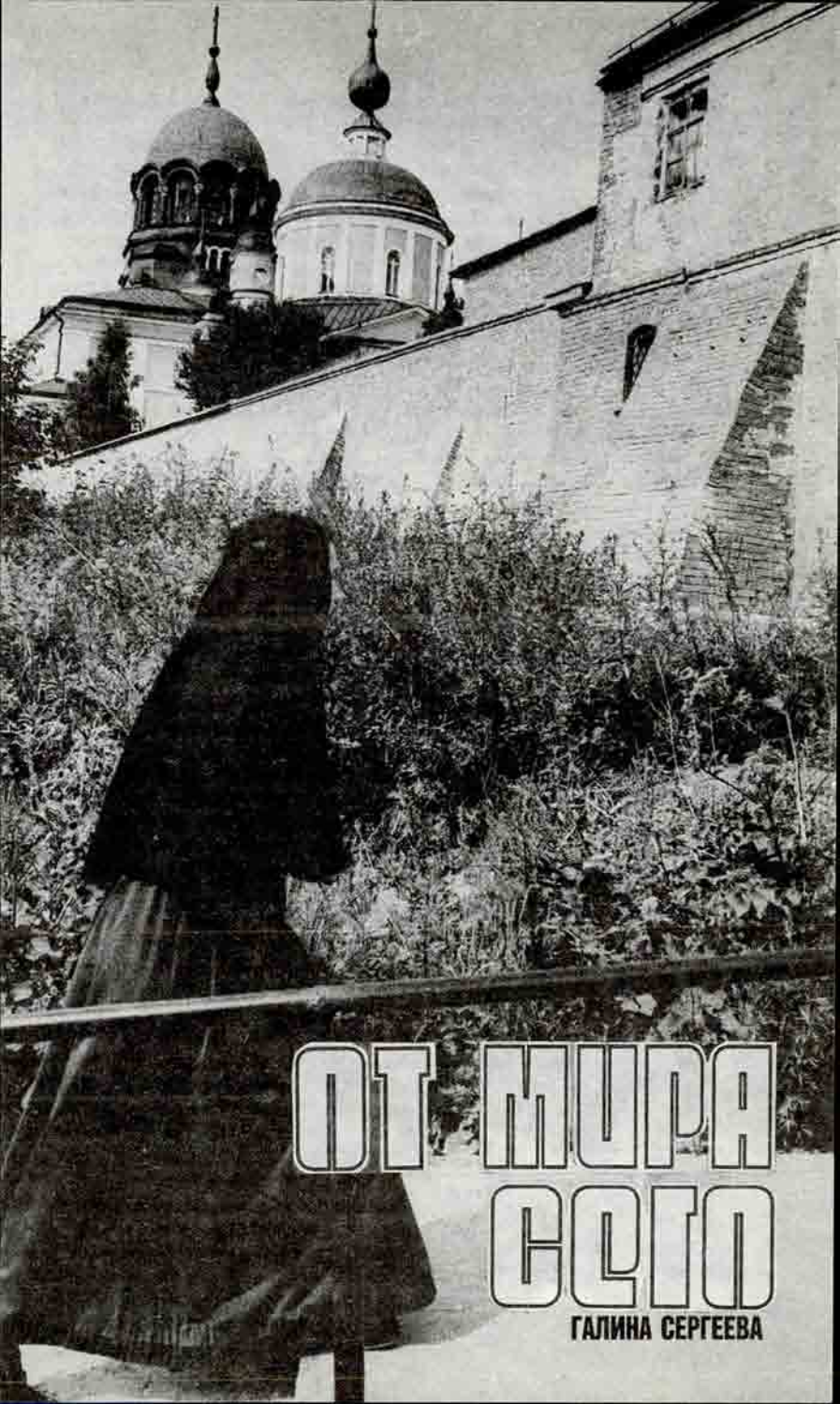
Но есть нечто, нечто другое... Оно случится потом. Я не знаю, что это, но оно случится наверняка, ведь счастье моих страданий так огромно... О, я чувствую, свершится нечто ужасное...

Только бы не думать... Писать что-нибудь, неважно что... только скорее, не раздумывая...

Меня зовут Ришар Бракмон, Ришар Бракмон, Ришар... О, я больше не могу... Ришар Бракмон... Ришар Бракмон... сейчас... вот сейчас... я должен посмотреть на нее... Ришар Бракмон... я должен... я должен... Ришар... Ришар Брак...

Комиссар Девятого участка не смог добиться ответа на свои звонки и вошел в гостиницу «Стивенс» в пять минут седьмого. В комнате номер семь он обнаружил повесившегося на перекладине окна Ришара Бракмона, точно так же, как три его предшественника. Лицо студента было искажено ужасом, глаза широко открыты, губы раздвинуты, но зубы крепко стиснуты. Между зубами лежал раздавленный большой черный паук со странными лиловыми крапинками.

На письменном столе комиссар нашел раскрытый дневник студента. Он прочел его, и сразу же пошел в дом напротив, где установил, что весь второй этаж уже несколько месяцев стоит пустой, без жильцов...



ОТ МУРА
СЕГО

ГАЛИНА СЕРГЕЕВА

Я ехала в неведомый мир. Географически мир этот находится под боком у Москвы: станция Хотьково, Покровский женский монастырь... Ехала к людям, чей жизненный выбор, выбор судьбы, кажется необъяснимым. Станным до противоестественности. Во всяком случае, на взгляд обычного человека конца XX столетия. Отказаться от этого шумного, яркого, бурлящего мира со всеми его противоречиями, страстями, занятиями, любовями, горестями, заботами и радостями?.. Можно ли? Станные люди. Не от мира сего. Иные. Инокнии. (По-русски монашество называется иночество — значит, иной, удаленный от соблазнов мира образ жизни...) Смогу ли я, хоть в первом приближении, понять их — моих соотечественниц и современниц? Допустят ли они меня в этот свой иной мир?

Дочки-матери

Сегодня в России триста тридцать три действующих монастыря, сказали мне в Московской Патриархии. Большая часть монастырей — женские. Хотьковский Святопокровский был вновь открыт в августе 1992 года после 75 лет вынужденного недействия.

До последнего гадала: да кто ж они, современные монашенки? Неудачливые в женской доле не-красавицы, так и не сыскавшие счастья в супружестве и материнстве? Грешницы, которым вдруг почему-то наскучило грешить? Женщины, испытывавшие какое-то огромное, непереживаемое горе? Богомольные старушки, оставшиеся одинешеньки на этом белом свете? В любом случае рисовался образ не слишком молодой, пожившей и познавшей почем фунт лиха в этой жизни женщины.

Дорога от станции к Покровско-

му монастырю недолга — каких-то десять минут неспешного шага. И, как на Руси положено, дорога эта приводит прямо к храму. Даже сразу к двум. На крохотной площади, весьма условно отделенной от всего остального грешного мира сеткой-забором (где они, могучие каменные стены — еще один стереотип представлений о монастырской жизни?), смотрят друг на друга восстановленный и ныне действующий Покровский храм и дожидаящая своего часа красавица Никольская церковь.

Здесь, на храмовой площади, я впервые и встретилась с монахинями наших дней и послушницами, теми, кто пока еще испытывает себя, готовясь принять постриг.

Сестры-послушницы, матери-монахини — все они были сосредоточенно заняты хозяйственными делами, называемыми здесь послушаниями. Кто-то сантиметр за сантиметром отчищал скребком каменные ступени церкви, кто-то мел пол в храмовой пристройке, кто-то занимался клумбами. И все были потрясающе молоды! С виду — двадцать, девятнадцать, семнадцать лет... Чистые хорошие лица, тонкие черты — с каждой портрет впору писать в стиле Рафаэлевской школы. Ничего от воображаемого мною (да только ли мною?) монашеского образа. Эти «матери-монахини» уже по одному своему юному возрасту вполне годились мне в дочери.

Да как же они-то тут оказались?! Как такое случилось и где были их родители?! Господи, Твоя воля! — как в сердцах приговаривает моя соседка в минуты сильной озадаченности...

Господи, Твоя воля!..

В дни, проведенные в Хотьково, не раз замечала: многие машиналь-

но произносимые нами в быту и практически ставшие уже идиомами фразы здесь обретают свой изначальный многозначимый смысл и произносятся с особыми, непривычными для мирского слуха интонациями.

И если слышишь: «Господи, Твоя воля!» — в этих словах, в этом утверждении вам уже дается, по сути, ответ: почему молоденькие девушки (про каких говорят «все при них») оставляют любящих и любимых родителей, подружек, первые свои девичьи влюбленности и уходят из благоустроенных городских квартир в монастырь.

Где вода — из колонки.

Где сегодня ты прислуживаешь в трапезной паломникам и заходим людям, а завтра — пасешь монастырских коров.

Где вставать надо в половине шестого утра, день за днем. Год за годом. Всегда.

И — ни возразить, ни усомниться, ни надуть — даже мысленно — губы. Впрочем, к непривычному, тяжелому физическому труду, к отсутствию бытовых удобств, к постным дням, которых три на неделе, не говоря уж о постах многодневных, — довольно скоро привыкаешь. Да и не это все составляет смысл иночества. Но вот без полного, безоговорочного, абсолютно послушания игуменье монастыря или ею назначенной духовнице (здесь принято говорить именно так — с непривычным для мирского слуха ударением: духовник, духовница) — послушания *душой*, а не только словом и делом — не стать инокиней.

Я спрашивала: «А сколько времени — месяцев, лет — положено быть в послушницах?» Мне отвечали: «Все решает не срок, а *готовность* желающей принять постриг. Готовность же наступает, когда достигается *смирение*... Нет, невозможно указать его «признаки». Но

оно всегда безошибочно угадывается в человеке».

Почитаемый в христианском мире святой Иоанн Лествичник говорил: «Невозможно в самом начале приобрести смирение живущему не в подчинении, ибо всякий научившийся чему-нибудь сам собою много о себе мечтает».

Смирение — это когда «На все, Господи, Твоя воля!» и никогда — «Моя на то воля!». Чем большей высоты смирение, тем истинней вера в Бога. Тем меньше терзают душу все присущие роду человеческому и вводящие его «во грех» страсти — злоба, гордыня, зависть, сребролюбие, лживость... Тем больше для верующего человека оснований надеяться на Спасение своей души — на вечную и прекрасную ее жизнь в Царствии Небесном после смерти телесной. А ведь это и составляет главный смысл и цель иночества.

Послушание — путь к смирению. И путь этот с древнейших времен назван Православной Церковью подвигом послушания.

Матушка

— Матушка, благословите! — попросила я, попав наконец в конце третьего дня пребывания в монастыре в покои матери-настоятельницы, игуменьи Олимпиады.

Врачи лишь накануне сняли ей гипс со сломанной месяц назад ноги, и — всегда и везде успевающая, энергичная, как говорила о ней единственная моя собеседница этих дней благочинная мать Мария, — игуменья все еще страдала от вынужденной малоподвижности. Я же все три дня все более впадала в тяжкий грех уныния: время шло, а жизнь монастыря и его обитательниц по-прежнему была для меня загадкой. Тайной за семью печатями. Многих послуш-

ниц и инокинь я уже знала в лицо, но дальше очень вежливого быстрого наклона головы в ответ на мое робко-зазывное «здравствуйте...» дело не шло. Испытать же более того, зная, что они не должны вести бесед без благословения на то настоятельницы, я не решилась. (Назвать чуть выше мать благочинную «собеседницей» было, конечно, натяжкой с моей стороны: фразы, сказанные в коротких промежутках между нескончаемыми хлопотами, беседой не назовешь.)

И теперь я просила матушку Олимпиаду благословить кого-то из послушниц или инокинь на разговор со мной. Она уже рассказала, что все они из самых разных семей: из верующих и из стоящих на позициях атеизма, и из таких, что ни то, ни се — семьи, в которых старшие поколения от религии семнадцатым годом отлучены были, а к убежденному атеизму так и не пришли. У некоторых отцы — священнослужители, у других — рабочие, третьи — из среды интеллигенции. У одной из послушниц родители принадлежат к другой вере, нехристианской. Какая же для девушки это трагедия! Как она страдает, что не может поминать их в своих молитвах: каноны Церкви не позволяют молиться в храме о Спасении души некрещеных, иноверцев и самоубийц... Многие девушки успели получить в миру кто среднее специальное, а кто высшее образование. Ну, а пути, что в монастырь приводят?..

— Не вы одна понять не можете, как это молодые женщины мирскую жизнь на монашескую меняют, — улыбнулась в конце концов мать настоятельница, — вон, батюшка знакомый тоже говорит: «Не чудо, мать Олимпиада, что монастыри в России после 1988 года открываться стали — чудо, что девицы в них идут и идут!»

...На следующее утро благочинная по благословению матушки познакомила меня с сестрой Татьяной, послушницей, которая к тому же обучает ребятишек в воскресной монастырской школе.

Неисповедимые пути

— Может, мы на Комякинскую гору пойдём? Это недалеко, за монастырем, где наши огороды и луг. В прошлом году я там коров пасла, так это место люблю, такая красота тихая... Только очень редко теперь прийти туда удастся: нам же нельзя без разрешения, просто так. Да и времени не бывает... Пойдем?

Сестра Татьяна в монастыре третий год. Уже после нашего знакомства совершенно случайно узнала: сестры по послушанию называют ее Говоруха. И порадовалась точно найденному слову, схватывающему, кажется, самую суть Татьянину. «Говоруха» — вовсе не оттого, что она многословна. Просто, когда начинает говорить тихо и как-то торжественно неспешно, ни перебивать никаким вопросом уже не хочется, ни переспрашивать не требуется. Да и чувством юмора, артистизмом Бог не обидел.

Мне не хочется что-то исправлять и редактировать в записи той нашей беседы на крутоватом зеленом склоне Комякинской горы-холма. Пусть все так и останется, как на диктофонной пленке: негромкий голос монастырской послушницы, почти монолог сестры Татьяны...

— Объяснить уход в монастырь невозможно. Это совершенно необъяснимый, таинственный шаг — как Господь призовет. А пути Господни неисповедимы. Не в мирском понимании, когда это произносятся, говоря о неожиданном, странном, нелогичном повороте событий. А —

не изрекаемы, не выражаемы словами. *Неисповедимы.*

Я в детстве — совсем еще маленькой девочкой была — как-то сказала: «Вырасту — пойду в монастырь». Зачем я это сказала? Почему? А Кто-то услышал. Слово не произносится просто так — ни плохое, ни хорошее. И не исчезает бесследно. Господь все слышит...

В детстве меня в храм водили — и довольно часто — бабушки. Маму еле-еле иной раз уговорить пойти с нами удавалось. Она не была атеисткой, но и вера ее была... в духе времени. Папа любил ходить в храм, но от Церкви он тоже был далеко. Ему просто нравилось: свечи, горящие в полумраке, красота, пение... Папа страстным был человеком, лошадиником — все оставил, с работы ушел, лишь бы быть с лошадьми. Работал на ипподроме.

Против того, что я росла верующей, крестик никогда не снимала, родители ничего не имели. А вот в школе проблемы, конечно, были, я же в конце семидесятых школу заканчивала. Высматривали, кто крестики носит, под предлогом поиска вшей. Маму вызывали, она меня ругала. И в старших классах вызывали, жаловались, что в комсомол не вступаю. Но потом как-то все тихо обошлось. Я им сказала: что вы ко мне пристали, я же макулатуру вместе со всеми собираю — комсомолка я или не комсомолка!

А вот уже в Пермском педучилище — родом я из Перми — в студенческой столовой ужасно стеснялась во время поста. Казалось, все видят, что постные блюда собираю. Это потом, время прошло, и я поняла: никто-то ничегошеньки не замечал.

Закончила художественно-графическое отделение, направили в деревню, где школу должны были открыть, да так за год и не открыли. И оказалась я у своей тети в Ярославле учительницей воскрес-

ной школы приходской церкви, что была неподалеку от ее дома. Приходский батюшка, мой духовник, меня благословил, дал рекомендацию — с тем и приехала в Хотьково. Сами видите, как все просто и обыденно, и мало что объясняет. Да и у других — похоже...

— А может, все-таки бывает и так: жизнь тяжелая, проблем, которые кажутся неразрешимыми, становится слишком много, силы кончаются, и...

— Это только в романах так: несчастная женщина заламывает руки и трагическим голосом объявляет: «Все, жизнь тяжела и бессмысленна, больше так не могу — ухожу в монастырь!» В монастырь сбежать не-воз-можно. Слабому духом, не уверенному в себе человеку *здесь не будет легче, чем было там.* Здесь же начнутся такие скорби — не описать! Переход в монашество — он очень болезнен, очень. Ложишься спать — как в гроб, ты умер, тебя нет. Что-то тебе показалось обидным, несправедливым — хочется восстать, рассердиться хотя бы в душе... Нелзя! Но ведь хочется? Значит, опять поражение, снова гордость верх взяла. И такая борьба с собой — беспрестанно. Душа страдает невыносимо: раз смирение никак не дается, тогда зачем все это?..

Есть у нас одна послушница. Она пожилая женщина и к вере поздно пришла, когда почти уже была в прелести (это болезнь такая духовная, когда человек себя во всем совершенным считает и надо всеми себя видит). Как же ей тяжело! Это — невозможная, невыносимая даже тяжесть. У нее же все внутри кипит от постоянного раздражения! Вот она в кухне работает... А под окнами бегают чьи-то дети. Душа ее возмущена: что это они тут, в монастыре, бегают, кто позволил?! Видели бы вы, какой во-

лей она себя сдерживает, какая в ней борьба идет! (И я «вижу». Татьяна вмиг сделалась и не Татьяной вовсе: улыбочное, с веснушками лицо ее напряглось, синие глаза тяжело прикрылись веками, пухлые губы вдруг затвердели и сделались тонкими, когда она снова заговорила. — Г. С.) Такие силы требуется ей собрать, чтобы себя переломить, чтобы просто произнести, не повышая голоса: «Дет-точки мои, дет-точки, прошу вас, ступайте, пожалуйста, к маме...»

Я не знаю, какой она была до монастыря. Наверное, такой и была — нетерпимой ко всем и всему; знаете, есть такая порода женская — вреднющие тетки. И вот эта «вреднующая тетка» решила покаяться, послужить Богу. Стала бороться со всеми своими страстями и недостатками. Живет в одной келье с молоденькими сестрами. Они, бывает, хохочут, молиться мешают — не осердись, не прикрикни, вежливо ответь, послужи. Ты — последняя. Смиренная раба Божия.

Треск стоит от костей: человек себя ломает...

— Таня, человек уходит в монастырь, несет подвиг послушания только для спасения своей собственной души?

— ...В аду увидали улыбающегося грешника. Спросили: «Отчего же ты улыбаешься?» «Сегодня в моем роду монах родился!» — ответил грешник... Вы знаете, наверное, что грехи отцов на потомство ложатся — до седьмого колена? Вот, бывает, человек добрый, порядочный, творящий лишь благо своим ближним — а словно рок его преследует, несчастье за несчастьем... Монах, спасающий свою душу, спасает семь поколений. Это очень серьезная причина, которая подвигает человека на монашеский подвиг. Ведь спасатель лишь тот, кто сам умеет плавать. Спасешься — и спасешь многих, сказа-

но в Священном Писании. Во всех монастырях молитва о том — о спасении мира — творится ежедневно, ежечасно, в каждую минуту. Кроме ежедневных служб в храме, каждая послушница, каждая инокиня прочитывает за день молитвы несколько сотен, а то и тысяч раз — как матушка положит...

Сей мир

Святитель Феофан Затворник говорил: «Иноки — это жертва Богу от общества, которое, предавая их Богу, из них составляет себе ограду». У русского народа такая ограда есть уже вторую тысячу лет. Потому что иночество на Руси началось почти одновременно с принятием ею христианства, и история монашества есть история государства Российского.

В Покровском соборе, даже после всех его многочисленных реконструкций и постройки в конце прошлого века нового — нынешнего — храма на месте древнего, вот уже шесть с половиной веков хранится святыня Русской Православной Церкви: мощи схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Родителей самого, пожалуй, почитаемого русского святого, преподобного Сергия Радонежского. Вдохновителя победы русского народа на поле Куликовом, решившей судьбу России, человека, много сделавшего для объединения раздираемых враждой удельных князей, и, как называл его Василий Ключевский, «благодатного воспитателя русского народного духа».

Паломники, направляющиеся в основанную им Свято-Троицкую лавру, идут сначала в Покровский монастырь, что в трех верстах от Сергиева Посада. Даже если для этого им приходится пройти мимо лавры: преподобный Сергий завещал приходить к нему, поклонившись прежде его родителям.



Она и сегодня снова в Покровском храме — рака со святыми мощами преподобных Кирилла и Марии. И сегодня снова идут сюда паломники. И сегодня, как и всегда, рядом с ракой, день и ночь сменяя друг друга за маленьким пюпитром перед образом Спасителя, послушницы и монахини монастыря читают Неусыпающий Псалтирь. Отмаливают наши с вами грехи. Души наших семи поколений спасают.

И верят, что спасут.

А мы не знаем и не подозреваем про то. На вопрос же, верим ли, чаще всего затрудняемся ответить определенно и без колебаний. Даже сами себе. И то сказать: дедов-то наших после октября семнадцатого от веры увели, но за семьдесят лет в до конца убежденных, несомневающих атеистов обратить все же не успели. Так несколько поколений русских людей и жили — с душой на перепутье.

Нынче же — с точностью до наоборот: от атеизма уже как будто бы открестились, а к вере не вернулись. Смотрим прямые телетрансляции из храмов, видим протокольные свечи, зажженные в бестрепетных руках властей предержавших. И не заражаемся, мягко говоря, таким примером религиозного рвения. Духовное перепутье продолжается.

Но «ограда», о которой сказал Феофан Затворник, уже снова восстанавливается. Врач из Хотьково, что лечит обитательниц монастыря, как-то раз, полушутя-полусерьезно, призналась игуменье Олимпиаде: «Пока не узнала всех вас поближе, думала: что за ненормальные, не от мира сего какие-то? А теперь мне кажется — это мы ненормальные и не от мира сего, а не ваши монашенки».

Пожалуй, и впрямь они принадлежат этому «нашему» миру — неспокойному, противоречивому, в





котором перемешались добро и зло, — больше, чем мы с вами. Потому что, уйдя из мира, живут уже не своими, а его проблемами, его скорбями, его надеждами на спасение. И послушнический подвиг несут ради него.

За Пасху уплачено было Голгофой.

День за днем

Вполне земных, материальных забот и проблем и у самого монастыря немерено. Например, для такого беспросветно-насущенного для миллионов россиян «квартирного вопроса» и монастырские стены, как выяснилось, не преграда. Тем более когда их и нет вовсе, этих стен. На юру, на семи ветрах, в полном смысле этого выражения, проходит иноческая жизнь Покровской обители (слово-то какое: тихое, несуетное, беззащитное).

Когда в девяносто втором году было принято решение о возрождении Святопокровского женского монастыря, государство вернуло Церкви принадлежавшую ему территорию вместе с теми монастырскими строениями, что уцелели. Но... Куда девать граждан, что не один десяток лет мирно проживали здесь, привычно именуя бывшие монашеские кельи квартирами? Куда переводить аграрный колледж, разместившийся в Филаретовских палатах и отстроивший рядышком собственные учебно-административные здания и общежитие?

Какие уж тут каменные стены, надежно уберегающие сокровенную монастырскую жизнь от досужего мирского взгляда, когда боязливо-почтительного, а когда — насмешливо-любопытствующего!..

Матушка игуменья рассказывала, что с администрацией Сергиево-вопосадского района отношения

действительно добрые: власти понимают всю, мягко говоря, ненормальность такого положения, помогают, чем могут. Да только много ли по нынешним временам они могут? Матушка Олимпиада, несмотря на духовное звание, по земной своей природе крепкий реалист.

Несколько семей удалось отселить из монастырских зданий, оставшиеся пребывают в нетерпеливой надежде на свою «депортацию»; со временем переедет отсюда и колледж (вот бы знать — когда). Ну, а пока «жилищный вопрос» стоит здесь так же остро, как и по всей России. Кельи, говоря мирским языком, «переуплотнены». (Хоть и не так еще многочислен монастырь: восемь монахинь, принявших постриг, послушницы и воспитанницы — младшие родные сестренки и тех, и других, что живут здесь же, в обители. Всего около шестидесяти человек.) Порой и на полу поспать приходится, когда, например, в летний сезон специальных гостевых келий, бывает, не хватает для всех паломников и приезжающих навестить дочерей мам и пап.

А пока — пьянчужка дядя Петя, чья квартира дверь в дверь с монашеской кельей, с замечательной регулярностью требует от «соседа» подсобить: поднять его, горемычного, со ступенек и доставить домой в целости. И, громко ругаясь, сильно сердится, когда они бочком пытаются протиснуться на узкой лестнице мимо.

А пока — через крохотный коридорчик от класса воскресной школы и монастырской библиотеки живет большая и, как видно, не слишком дружная семья, в которой либо шумные, распевные застолья, либо горячие разборки происходят, ясное дело, по воскресным дням.

А пока — ровно по центру монастырской территории пролегает дорога. Кратчайшая от железнодо-



рожной станции до городских домов, а потому самая хотьковцами любимая и оживленная. Эдакий маленький бродвей.

На котором к девушке в черном подрыснике и темном, глухо повязанном платочке может обратиться старушка: «Матушка, благослови!» И тогда приходится объяснять, что благословлять может лишь матушка игуменя — даже не инокини. У которых, кстати, не платок на голове, а апостольник — четырехугольный плат с овальным вырезом для лица и схваченный на затылке тонкой ленточкой. Платочки же у послушниц.

Может на той дороге повстречаться и подвыпивший хам: в привокзальных районах их бывает особенно много. Такому покуражиться — в удовольствие. А они — всего-то хрупкие женщины, девчонки, которые в случае чего и постоять за себя не в силах.

Пока была в монастыре, все поглядывала невольно на аккуратно сложенную подле ступеней Никольской церкви большую пирамиду светлого дорогого кирпича. И боялась из суеверия задать вопрос: не опасаются ли, что такой дефицит растащат? Картошку-то монастырскую, что на Комякинской горе, подворовывают, и то, что послушницы на огородах караул каждый день несут, не спасает.

Хотя, признаться, и момента, подходящего для такого вопроса, не случилось: и матушка игуменя, и мать Мария, благочинная, рассказывая о бытовой, хозяйственной стороне жизни монастыря, меньше всего на проблемы сетовали. А когда речь заходила о взаимоотношениях с мирским миром, говорили о хорошем и добром. (Нам бы так в этом своем «мирском мире» научиться!)

О том, как хотьковская администрация выделила девять гектаров

под огороды, а в прошлом году районные власти Сергиева Посада отдали монастырю тридцать четыре гектара земли в урочище Горошково; как местный совхоз помогает с пахотой; как пришла женщина из недалекого поселка Правдино и, толком не назвавшись даже, передала им свою корову-любимицу, а другая семья привезла морозильную камеру — вещь в хозяйстве очень нужную.

Рассказали мне и о немцах-багодетелях (слово «шефы» — больше все же из нашей светской лексики). Случайно увидев по телевизору сюжет о возрождающемся монастыре, в Хотьково приехала группа немецких репортеров. С тех пор Ассоциация журналистов из Франкфурта-на-Майне — в числе верных друзей Покровской обители. Журналисты — хитрый народ — сумели заинтересовать монастырем в безвестном для Германии Хотьково могущественного президента концерна «Даймлер-Бенц». Представитель руководства концерна прибыл в Хотьково под Пасху девяносто третьего, привез микроавтобус и трактор с набором комплектующих знаменитой марки «Мерседес», а также заверил, что в московском автосервисном отделении фирмы обслуживать их будут всегда бесплатно. То данное слово фирма держит.

Не ведаю, что сердцу инокинь дороже: та коровка из Правдино или мерседесовские машины? Должно быть, одинаково. Хотя...

— Мать Мария, ну хорошо: прошли те, самые первые, времена, когда в монастыре один только хлеб с картошкой оставался. Теперь хозяйством обзавелись: овощи разнообразные, молоко, масло, корма для стада коров и овец — все свое. И в таком количестве, что и на заезжих людей, и на благотворительные обеды для местных, и на стариков из дома пре-

старелых, и на сирот из интерната — на все хватает. Чем-то прихожане Покровского храма помогают... На парадные рясы, вон, немцы замечательную шерсть подарили... Но как вы Никольскую церковь поднимать станете? Ведь это такие деньжищи сегодня — и ремонт строительный, и реставрация...

— Не знаю. Как Бог даст. — И, помолчав, мать благочинная добавила, усмехнувшись с едва заметным — или мне это только показалось? — вызовом. — Спонсора искать будем!

И было в этой усмешке совсем не свойственной для ее негромкой, деликатной манеры речи, в этом словце, стопроцентно «нездешнем», что-то такое, что и меня заставило подумать: «Дай-то Бог, чтоб не заморские, а свои, отечественные, нашлись для Никольской церкви благодетели. А то... неловко как-то...»

Неусыпающий Псалтирь

Уже совсем собравшись в тот августовский день уезжать из Покровского монастыря в Москву, вернулась, что называется, с порога. Из-за Покровского храма, где рядом с местом первого захоронения родителей Сергия Радонежского стоит звонница, зазвучали колокола, созывая к вечерней службе. И таким радостным, сильным и светлым был их голос, что не удержалась, пошла на него.

В храмовой звоннице, похожей на ажурную деревянную беседку с высоким сводом, три тоненькие фигурки в черных рясах слаженно и, казалось, легко тянули за веревки колокольных языков. Тут же, в звоннице, на скамеечке сидела совсем маленькая, лет семи, девочка и, задрвав голову в светлом платочке, сосредоточенно смотрела, как раскачиваются, поют колокола.

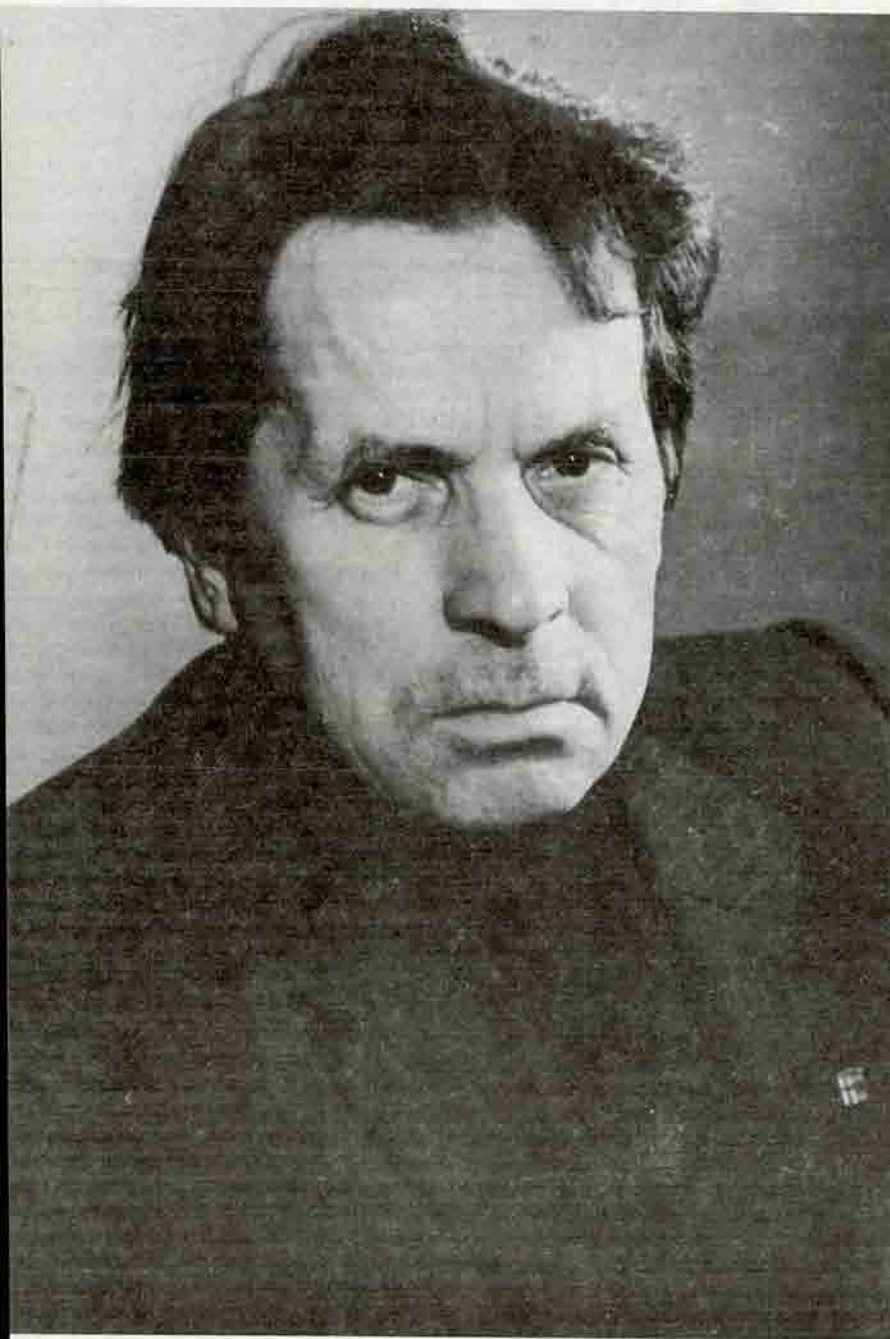
Неусыпающий Псалтирь — Молитва за весь мир, за Россию, за всех живших и живущих в ней людей — звучит день и ночь в Храме и смолкает лишь на время проводимой в нем службы.

Так было многими веками, так — встать.

Так и будет? Дай Бог!

От редакции.

Помочь Свято-Покровскому монастырю может каждый. Деньги на благое дело перечисляйте: КБ «Петрокоммерц-банк», счет № 00107021001 в КБ «Петрокоммерц-банк», к/с 161658 в РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ г. Москва, МФО 201779, уч. №6. Назначение: в пользу Свято-Покровского монастыря в г. Хотьково.



ТРОПА АБРАМОВА

На могиле Федора Абрамова на его родине в Верколе возвышается желтая сосновая пирамидка. Ее венчает вырезанная из жести звезда. Звезда парит в небе, но под ней, посредине пирамидки, видны отходящие в стороны два коротких отростка. Они похожи на крылья только что родившейся птицы. Глядя на эту пирамидку, думаешь, что человек, ставивший ее, хотел соединить два символа — звезду и крест. Но если звезду он гордо вознес вверх, то образ креста неясен, смутен, прорезывается робко, намеком. Но именно этот намек уносишь в сердце, покидая место вечного успокоения Абрамова.

Не хочу посмертно переписывать его биографию: но «евангелие от Абрамова», как он называл свое вероучение, расходилось с моральным кодексом строителя коммунизма. Этот свод лицемерных заповедей, претендовавший одно время на новейшую Нагорную проповедь и висевший на фанерных щитах по всей России, он не признавал.

Всю жизнь Абрамов потратил на то, чтобы оторваться от официальной, государственной литературы, заказчиком которой является неусыпная власть. Вся жизнь инстинкт добра и вера в добро боролись в нем с обязанностью считаться с требованиями «идеологии», ставшей проклятием для печатного слова в XX веке.

Под игом «идеологии» он жил, под ее игом творил, и те свободные страницы, которые читатель найдет в его собрании сочинений, созданы вопреки ее давлению, наперекор ей.

Абрамов похоронен рядом с домом, где жил, приезжая на лето в Верколу. Этот домишко (иначе не назовешь: две комнатки и веранда) он воздвиг недалеко от своего родового гнезда, от кото-

рого сохранились только остатки зимней избы. Дом, сарайчик и банька, обнесенные невысоким штaketником, стоят на угоре на высоком берегу Верколы, откуда идет спуск к лугам, к Пинега.

С угора открывается вид, одно созерцание которого не может не породить поэта. Серебристо блестит вблизи Пинега, делающая изгиб у Верколы, за ней встает стеной лес, лес этот постепенно наливается синью, темнеет и уходит в бесконечность за горизонт.

Среди ближних сосен того берега белеют развалины монастыря. В гражданскую красные выбивали из него белых, потом там располагалась коммуна, потом в школе, помещавшейся в гостинице монастыря, учился Федя Абрамов. Тогда стены и собор были еще целые. Стены растащили по кирпичику, угловые башни снесли, с собора сбили кресты, собор обезобразили. Сейчас на пустой колокольне обитают голуби.

Всякий раз, садясь за письменный стол, видел Абрамов и эту даль, и эти развалины, угадывая среди них крышу монастырской пекарни. На этой пекарне полжизни проработала героиня его повести Пелагея. Каждый вечер переправлялась она через Пинегу и долго шла по луку, неся в одной руке сумку с хлебом, а в другой — ведро для поросенка. Утром — на пекарню, вечером — с пекарни. Так и протоптала за многие годы тропку от работы до дома, которую потом, когда Пелагею не стало, прозвали «паладьной межой».

На этой работе она и надорвалась, эта работа ее и доконала. И когда стали обмывать Пелагею, то увидели, что ее правое плечо, принимавшее на себя тяжесть пекарской лопаты, превратилось в сплошную мозоль.

Судьба самого Абрамова напоминает судьбу героини его повести. Он так же надорвал за писанием свое сердце. И он так же протоптал в поле русской литературы свою тропу.

«Огромное раненое сердце» — сказала о нем Ксения Петровна Гемп, старожил Севера, женщина, перед которой преклонялся Абрамов. Раненое сердце болит, раненое сердце ноет, но огромность его — не только огромность боли, но и огромность любви. Нам не понять этих чувств Абрамова, если мы не поймем эпохи, в которую жил Абрамов.

Эпоха эта описана в повести «Поездка в прошлое». Повесть появилась в печати в 1989 году. Пятнадцать лет пролежала она в столе писателя, как бы храня тайну внутреннего освобождения Абрамова.

А через что мог освобождаться Абрамов, как не через понимание судьбы крестьянства, на чью долю пришлось страшные беды и пытки?

Именно об этих бедах и пытках идет речь в повести «Поездка в прошлое». В середине семидесятых годов Федор Абрамов совершил эту воображаемую поездку и так же, как его герой, понял: прошлое окрашено неискупимой кровью. Герой повести, вызвав из памяти людей этого прошлого, образы своего доброго отца и крутых дядьев, которые гнали деревню к коммунизму, поймет, что прав был отец, защищавший крестьян, а не дядья, любившие не людей, а идею.

Эпоха круто распорядилась судьбой семей, судьбой родов. Отдельная человеческая жизнь для нее ничего не значила. Человек вовсе даже был не человек, а классовая единица.

Когда родился Федор Абрамов (а он явился на свет 29 февраля

1920 года), казалось, что все будет новым: и человек новый, и земля новая, и вера новая, не та, что у отцов и дедов, покоящихся на веркольском кладбище под скромными крестами. Над всем утверждалась звезда, которая должна была заменить звезду Вифлеема.

Но уже в школе Федя Абрамов почувствовал жестокость ее излучения. Семья Абрамовых была большая: рано овдовевшая Степанида Павловна и пятеро детей. Братья и сестры. Четверо братьев и одна сестра. Все они трудились и в поле, и во дворе. Их стараниями абрамовское хозяйство разрослось. За ним числились два десятка овец, две лошади, бык, две коровы. Все это при переходе Федя Абрамова (лучшего ученика школы) из четвертого в пятый класс было учтено. Его, как выходца из семьи «богатеев», в пятый класс не перевели.

Потом эта несправедливость была исправлена, но зарубка на сердце осталась, и Абрамов вспомнил о ней, выступая в «Останкино» в 1982 году.

«Историю нужно прожить и изжить», — писал в книге «Православие» отец Сергей Булгаков. Но изжить ее можно только ценой собственной жизни. Прозревая, мы платим за это прозрение годами прожитого.

Жизнь юноши Абрамова протекала, кажется, без несчастий. Семья вступила в колхоз, Федя учился в районной школе в Карпогорах. Его крестьянское происхождение и чистая биография открывали ему дорогу и дальше — в университет.

Но случилось событие, которое еще раз напомнило ему, в какое время он живет. Арестовали учителя Абрамова — Алексея Федоровича Калининца. Арестовали человека, которого почитал не только его ученик, но и вся округа, все старые и малые в Карпогорах. Его судили по статье 58 (10) и приговорили к семи годам лишения свободы. И никто ничем не мог помочь ему в эту минуту.

На суд в Карпогоры Алексея Федоровича привели под конвоем из Архангельска. Четыреста верст прошел он пешком. Был он болен, слаб, по пальто его, как рассказывали очевидцы, ползали вши.

И на следствии, и на суде Калининцев виновным себя не признал, обвинения в свой адрес отверг как лживые.

Это была не просто смелость, это был подвиг.

Даже вожди партии, овеянные ореолом мученичества в царских тюрьмах и на каторгах (которые были пансионатами по сравнению с теми тюрьмами, куда их посадил Сталин), признавались, что они шпионы и убийцы. Последний урок, который дал А. Ф. Калининцев своим ученикам, был урок несгибаемости.

Встреча с Учителем, как называл его Абрамов, навсегда привязала душу писателя к интеллигенции, к той образованной части народа, перед которой он, уже будучи сам интеллигентом, всегда готов был снять шапку.

Федор Абрамов пришел в Ленинградский университет до войны, когда там обитали еще недобитые остатки старой русской интеллигенции. И он до последних дней учился у нее, высоко ставил ее.

Когда умер Сталин, Абрамов стал хлопотать о реабилитации Калининцева. Калининцев был реабилитирован. Но места его захоронения — он умер в лагере — так найти и не удалось.

Выступая в «Останкино», Абрамов винил себя: не уберегли мы своего учителя, говорил он, не уберегли. И это звучало так: и я виноват, я не уберег.

Грянула война. Федор Абрамов добровольцем ушел на фронт. Был дважды ранен (один раз тяжело), лежал в госпиталях, через Ладогу переправлялся из осажденного Ленинграда на Большую землю. Потом — отпуск по ранению, поездка на родину, преподавание в родной школе в Карпогорах.

Казалось, судьба выводит Абрамова на прямую дорогу. Но вдруг она делает резкий поворот. С апреля 1943 года он — сотрудник отдела контрразведки СМЕРШ Архангельского, а затем Беломорского военного округа. Демобилизуется Абрамов из этой организации только в октябре 1945 года.

Два с половиной года войны — целая жизнь. Люди, помнящие те времена, знают, как угрожающе звучало тогда слово СМЕРШ (сокращенно от «смерть шпионам»). В жерлах СМЕРША исчезали так же, как в застенках НКВД. Когда я однажды спросил Абрамова, почему он не напишет о СМЕРШе, он сказал: «Я боюсь».

Тем не менее, когда я читаю, как описан в романе «Пути-перепутья» кабинет начальника районного отдела МГБ, куда со страхом входит всемогущий хозяин района секретарь райкома Подрезов, я понимаю, что это — свидетельства личной памяти автора.

В октябре 1945 года Абрамов возвращается в университет. Он студент, аспирант, преподаватель кафедры советской литературы. Защищает диссертацию по творчеству Шолохова. Но на безоблачном небе вновь появляются тучи. Разражается кампания по борьбе с космополитизмом. Коммунист Федор Абрамов клеймит критиков-космополитов. Еще один шрам на сердце, еще одна, не проходящая до конца жизни боль.

Не раз и не два будет вспоминать Абрамов об этих позорных событиях. Не раз и не два станет просить прощения у тех, кого он тогда обидел. Даже в день своего шестидесятилетия, в день юбилея, когда гром хвалы и рукоплесканий будет нестись к нему из зала на сцену, он вспомнит об этом. Тот, кто захочет убедиться в чистоте его покаяния, пусть прочтет рассказ «Слон голубоглазый».

Вообще личный элемент очень силен в прозе Абрамова. Вся она замешана на личных воспоминаниях, на личной страсти. Не было бы, скажем, приезда Абрамова в родную деревню в годы войны, не было бы и главного героя романа «Братья и сестры» — Лукашина. Не будь частых наездов в Верколу, не родился бы очерк-повесть «Вокруг да около».

И в «Братьях и сестрах» (1958), и в романах «Две зимы и три лета» (1968), «Пути-перепутья» (1972), «Дом» (1978) — всюду мы узнаем места рождения и жизни Абрамова, дорогую ему Пинегу и Пинежье. Но Абрамов писатель не географический, не «областной». За географические границы его вынесли страсть, ум, талант, культура, размах. Среди крестьянских писателей его поколения я не знаю личности такого масштаба, такой крупной кройки.

Я уже писал, что Абрамов всю жизнь противился государственному заказу, государственному надзору за литературой. Вступив в партию, он терзался, что вынужден подчиняться партийной дисциплине. Партийная дисциплина — не для писателя. Писа-

тель всегда и по всем вопросам имеет свою точку зрения.

Эту свою точку зрения Абрамов должен был как-то корректировать общей, делая уступки регламентациям, которые висели над каждым из его собратьев. Он вывел в своих романах образ секретаря райкома Подрезова. И как ни «сложен» у Абрамова Подрезов — он и бурбон, и «свой парень» для пекашинцев, может поставить избу, знает плотницкое дело, сам суется на лесозаготовки, — это все-таки не живой человек, а отчасти долг и обуза романиста.

К «секретарям» Абрамов больше не обращался в своей прозе. Во всяком случае, в лучшей ее части — в рассказах и повестях — их нет. Разве только в повести «Вокруг да около» мелькнет тень секретаря райкома, как тень отца Гамлета, но так же и исчезнет: читатели даже не увидят его.

Герои Абрамова — не секретари, а простые люди, старики, бабы, дети, народ. Свой первый роман он назвал «Братья и сестры». Название как бы спорит со строкой из речи Сталина перед народом 3 июля 1941 года. Две недели молчал великий вождь, стуча зубами от страха, не знал, что сказать застигнутой врасплох стране. Этот стук зубов о стакан, из которого он пил воду, когда читал свою речь, я и по сей день помню. Дрожащим голосом он произнес: «Братья и сестры... К вам обращаюсь я, друзья мои».

Голос его опять-таки дрожал не от сострадания, а от страха, от страха перед лицом нависшей над ним лично опасности, и, стараясь отвести ее, он обращался за помощью к «братьям и сестрам».

Для Абрамова слова «братья и сестры» были не пустой звук. Выросши в большой крестьянской семье, где все от мала до велика были равны, спаяны родовой смертной связью, он к каждому земляку относился как к своему брату или сестре. Весь народ был для Абрамова «братья и сестры».

Об его мытарствах в далеком северном тылу он и рассказал в своем романе. Это был роман любви и нежности Абрамова. Все, что в нем накопилось за эти годы, — жалость, обида, боль за выпотрошенную, осиротевшую во время войны деревню — он отдал этой книге.

В своих романах, которые составили тетралогию «Братья и сестры», Абрамов изобразил жизнь русской деревни за тридцать лет, и, думаю, историк, который когда-либо возьмется писать труд о существовании деревни в эти годы, не обойдется без поэтических показаний Абрамова: они точнее иных цифр и фактов скажут будущему летописцу о том, что произошло на русских равнинах с 1942-го по 1972 год.

Деревня опустошена, разграблена, она генетически почти сведена на нет, но, сломленная физически, она не согнулась духом, хотя и на дух ее пал тлетворный свет. Дух этот прежде всего жив в женщинах, в бабах, которых Федор Абрамов так до конца своей жизни и называл «бабы», впрочем, всегда с какой-то особой дрожью в голосе.

Этим бабам, героям «второго фронта», который, по убеждению Абрамова, был открыт гораздо раньше, чем открыли его наши западные союзники, и открыт именно русской крестьянкой, он и посвятил, по существу, все свои писания. Нет у Абрамова почти ни одной миниатюры, ни одной новеллы и повести, где героиней не была бы женщина — не важно, старуха она или молодая, девочка или мать семейства, гулящая или верная, красивая или

обезображенная мужской работой. Впрочем, некрасивых женщин у Абрамова нет. И старая Милентьевна из повести «Деревянные кони», уже завершающая свою жизнь, красива: синие молнии бьют из ее глаз.

По моему мнению, после Н. А. Некрасова не было в нашей литературе писателя, который бы так воспел женщину, крестьянку, в XX веке заменившую в упряжке истории мужчину, мужика. Деревня, обезлюдевшая после коллективизации, после голода и войн, опиралась на женщину и на ее потомство, которое та — вопреки всему — старалась сберечь. Деревню загоняли в Сибирь, в лагеря и резервации, ее морили и истребляли, но она выжила. После войны ее выталкивали на стройки коммунизма. В романах Абрамова описан один такой строитель коммунизма, Егорша Ставров — деревенский летун, перекачи-поле, который в своих странствиях растерял не только золотой чуб, но и душу.

Душа деревни оставалась в деревне, береглась и спасалась бабьим терпением, бабьей каторжной работой, бабьей закалкой, с какой — к концу войны — не могла уже равняться и закалка мужика.

Несть числа героиням Абрамова. Это и старухи из рассказа «Старухи», и Филиппьевна, дошедшая пешком в Питер, чтоб раздобыть себе сарафан, и Саломея из рассказа «Из колена Аввакумова» — та, про которую Некрасов сказал: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И в яму сажали Саломею, как Аввакума, и голодом и холодом хотели убить, но она спаслась — через веру свою, как Аввакум, спаслась. А рядом — Марфа Репишная, неуклюжая, костистая, с руками-клевнями, короткая молодость которой была съедена потом, трудом, и спившаяся Поля Открой Глаза, с четырнадцати лет вставшая к «нию» (то есть угнанная на лесозаготовки), и нежная Анфиса Минина, Любовь Лукашина, и отчаянная белотелая красавица Варвара Иняхина, эта Аксинья абрамовской тетралогии.

А посреди этого полотна, как главные лица на картине, — два образа: образ Лизы Пряслиной, духа семьи Пряслиных, девочки-подростка, так и не узнавшей бабьего счастья, и образ Евдокии-великомученицы из романа «Дом»: та всю эпоху протащила на своем горбу, как крест.

Ни с чем не сравнишь эту фреску, эту гигантскую роспись Абрамова. Как на древних фресках, есть здесь грешники и святые, только грешники не отделены от святых, не помещены в особое место. Грешник и святой являются у Абрамова в одном лице, в одном образе. Оттого и свет и мука исходят одновременно от его картины.

Что бы ни писала об Абрамове спустя годы критика — а оценка его наследия впереди, — она всегда в благоговении остановится перед этим апофеозом русской женщины. Пройдут годы, многое сотрется, уйдет в прошлое (уйдет в прошлое и немало страниц Абрамова), а эти лики останутся, может быть, засияют еще ярче, как случается это с ликами на стенах храмов, расписанных мастерами, работавшими не за страх, а за совесть.

Но мы несколько отделились от хронологии писательской судьбы. Началась она довольно благополучно (та самая диссертация о Шолохове), потом вдруг дала резкое отклонение в сторону: вполне верующий социалистический реалист Абрамов внезапно

превратился в еретика. Он не восстал против соцреализма, нет, он просто опубликовал честную статью о той же деревне, точнее, о литературе, пишущей о деревне, и этого оказалось достаточно, чтоб отлучить его не только от соцреализма, но и чуть ли не от советской власти.

Я имею в виду статью Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Появилась она в «Новом мире», редактируемом А. Твардовским, и появилась в тот момент, когда общество, еще не очнувшееся после смерти Сталина, как голодный, набрасывающийся на хлеб, набрасывалось на всякое слово правды.

В четвертом номере «Нового мира» за 1954 год Федор Абрамов, цитируя Салтыкова-Щедрина, заявил, что вся сталинская литература о деревне — это «балет».

Где балет — там танцуют, пляшут, там румяна на лицах, пудра, трико. Там все — сказка, парфюмерия, порхающие балерины, скачущие танцовщики. Ничего похожего не было в жизни деревни, которую знал Абрамов. Деревня задыхалась от налогов, от пустого трудодня, от займов, от недостатка мужиков.

Конечно, скажет читатель, легко было Абрамову все это писать, когда «отца родного» уже не было на свете и он не мог встать и наказать смельчака. Поступок Абрамова был шагом отваги и вместе с тем риска, потому что верные опричники Сталина, его подручные и идеологички не просто были живы, но и правили страной. И у них, как у боксеров, был еще хорошо поставлен удар.

Этот удар Абрамов получил, и он его перенес стойчески, хотя с той поры больше не писал критику: у сердца его уже лежал роман.

«Братья и сестры», напечатанные во времена «оттепели», принесли автору известность и деньги. Обиды, нанесенные Абрамовым «самому передовому методу», были забыты, их ему простили. Простили, конечно, в надежде, что молодой писатель «исправится», пойдет по правильному пути.

Но начальство предполагает, а Бог располагает. Чернышевский как-то сказал о Гоголе: с ним нельзя было шутить идеями. Не сравнивая Абрамова с Гоголем, хочу все же обнаружить сходство — с Федором Абрамовым тоже нельзя было шутить идеями. Если он избирал себе какую-то новую веру, то старался в этой вере дойти до конца. То есть и речи не могло быть, чтоб Абрамов вернулся, одумался, предал свою веру. С такими вещами, как идея и вера, он играть не привык.

Свидетельством этого стала его повесть «Вокруг да около», напечатанная как очерк в 1963 году в журнале «Нева» и наделавшая в свое время не меньше шума, чем его статья в «Новом мире». Историк не даст соврать, что время уже было темное. Хрущевскую оттепель стало затягивать ледком. Система, не изменившись ни на йоту и лишь поменяв фигуры на шахматной доске, брала свое. Повесть Абрамова была воспринята как вызов колхозному строю.

По аналогии с одним днем Ивана Денисовича (как мы помним, зэк из повести А. Солженицына), Федор Абрамов изобразил один день председателя колхоза — человека, не сидящего за колючей проволокой, но имевшего не больше прав, чем зэк. И когда этот председатель, рискуя собой, решил выдать колхозникам 30 процентов от скопленного ими сена, ему, как на Страшном суде, пришлось держать ответ перед секретарем райкома.

Такую дерзость не могли простить ни ему, ни его создателю. Редактор журнала, напечатавший эту вещь, был отстранен от работы. Повесть заклеили. Но, не веря верноподданнической критике, решили организовать «мнение народа». Срочно редакциям было дано указание организовать «голоса снизу».

И они стали поступать. Наш добрый народ всегда добр в отношении своих гонителей и почему-то особенно суров по отношению к своим защитникам.

Так случилось и с Абрамовым. Гонцы из обкома прибыли сначала в Карпогоры, а оттуда послали гонцов в Верколу. Требовался голос земляков Абрамова. Тем более они должны были узнать в героях повести себя. А о многих из этих героев писатель отзывается не лестно.

Земляки не долго думая подписали письмо. Повесть они не читали, но начальству поверили. Письмо за двадцатью с лишним подписями было опубликовано в областной партийной газете «Правда Севера». И называлось оно «Куда зовешь нас, земляк?».

Получалось по этому письму, что Абрамов зовет деревню назад, к кулаку.

Еще резче высказалась газета «Советская Россия»: она сравнила Абрамова с «заморским туристом». С тем самым, что приезжает в нашу страну и, гуляя по ее задворкам с палочкой, роется в кучах мусора. Мобилизованный «снизу» агроном В. Колесов писал: «Как это ни горько, но некоторые наши писатели, посвящающие свое перо аграрной тематике, авторы всех этих «Матрениных дворов» и «Вологодских свадеб», стали за последнее время разительно напоминать заморских любителей нашего мусора». Абрамов так же, как они, по словам автора статьи, «выискивает в колхозной семье самых паршивых овец». «Где же ты, инженер человеческих душ, — спрашивал В. Колесов, — на каких задворках выискивал такое село, в жизни которого, как в нарисованном тобой пейзаже, нет ни единого просвета?» И сам отвечал себе: «Нетрудно догадаться, что в эти тридцать процентов автор намеревается уложить общественное сознание колхозника, обречь его на кулацкую третейщину».

Подсюсюкнула общему хору и «Ленинградская правда»: «Разве не издевательством по отношению к огромному труду партии и народа по подъему сельского хозяйства звучит сам заголовок очерка?» «Вокруг да около» была названа «оскорблением тысяч коммунистов».

Мы могли бы привести еще десятки цитат, но не стоит. То работала машина пропаганды, всегда имеющая в своем распоряжении штат плакальчиков, льющих слезы по поводу оскорбления советского строя. Таких людей всегда можно найти на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, это золотой фонд нашей «идеологии», ее поддержка и опора.

Сейчас этот резерв поубавился, но и сейчас, мне кажется, в любую минуту можно сыскать этих наемников, этих опытных подпевал власти, которые кого угодно отлучат от «высшей правды». А что такое «высшая правда»? Это теория, абстракция, это то, как должно быть, а не то, что есть.

Чтоб закончить эту тему, хочу сказать, что Абрамову еще раз в своей жизни пришлось столкнуться с «осуждением народа». В 1979 году, спустя много лет после истории с повестью «Вокруг да

около», он напечатал в «Пинежской правде» письмо землякам. Письмо касалось неприглядных сторон жизни Верколы, разоренная деревня, потери совести в крестьянине и любви к труду. Письмо было горькое, но земляки приняли его. Обиды на писателя не было — он говорил правду.

И даже столичная «Правда» перепечатала это письмо, впрочем, сделав несколько купюр. Например, убрала слова о пьянстве как национальном бедствии, о том, сколько дает молока корова в Финляндии и у нас. А главное, она выбросила из текста одно существенное «не», придав письму Абрамова запоздало-покаянный смысл. В письме землякам Абрамов поминал то давнее, 1963 года, письмо земляков к нему. Он писал: «Немало было в том письме запальчивости и несправедливых упреков». «Правда» усекла «не» и получилось: «Немало было в том письме... справедливых упреков». Выходило, что Абрамов признавал ту критику правильной.

Так умеют у нас в редакциях работать ножницами. Несмотря на протесты Абрамова, полный текст письма в газете не был восстановлен. «Правда» не привыкла признаваться в том, что она печатает неправду.

Но этого оказалось мало. Наверху появился страх, что абрамовское письмо взбудоражит народ. Что «активность», к которой он призывал народ в своем письме, пойдет не в ту сторону. И тут же, через короткий промежуток времени, в «Правде» появились отклики «снизу», которые говорили, что писатель неправ, что он зря затеял эту кампанию. А ведь на дворе стоял не 1963, а 1979 год.

Абрамов еще более укоренился в мысли, что не зря написал это письмо, что если он и мог что-то сделать в эти минуты молчания, то он сделал.

В дневниках Абрамова вы найдете сомнения на этот счет. «Кто я такой, чтоб учить народ?» — задавал он себе вопрос. Он сомневался и в том, будет ли этот поступок иметь должные последствия. Проснется ли народ от его призывов, от тех упреков, которые он ему бросил в лицо.

Но если народ проснулся (а мы видим сегодня, что это так), то в этом отчасти повинен и Федор Абрамов. В этом повинна и его публицистика, и его проза, и сам он как человек, как личность.

Как истый *государственник* — а он им оставался до самой смерти, — писатель от всего сердца хотел помочь государству, подсобить ему в трудном деле сближения с народом, в понимании нужд тех, для кого оно существует. Он вовсе не покушался на строй, на систему, не желал ни бунта, ни революции, а хотел добра.

Такой помощью были его очерки о Нечерноземье, о северных реках и лесах, о папине живой и мертвой. Такой помощью были его выступления по радио, по телевидению, в газетах, на встречах с читателями, которые он любил, от которых никогда не отказывался. Его кабинет на Васильевском острове был темен, сурово обставлен и напоминал келью отшельника. Но сам Абрамов не был монахом-летописцем. Это была фигура вече, митинга, публичной схватки, публичной исповеди и проповеди. В этом смысле он продолжал традицию великой русской литературы, которая всегда вырывалась из кабинетов на стогны, на площадь, на народное торжище.

Тот, кто видел Федора Абрамова перед народом, может засвидетельствовать, что в эти мгновения он был в своей стихии. Живое море людей его возбуждало. И тогда из его маленького тела (а он был невысок ростом) исторгалась такая сила, которая могла подчинить тысячи.

При этом он никогда не становился на колени перед народом, не падал ниц перед ним. «Каденные народу,— записывал он в своем дневнике,— непрерывное славословие в его адрес — важнейшее зло. Оно усыпляет народ, разлагает его... Культ, какую бы форму он ни принял, всегда опасен для народа».

То, что Абрамов имел право сказать эти слова, я убедился в дни прощания с ним. Никогда я не видел такого стечения людей, как на его похоронах. Темной стеной, похожей на стену тайги, стоял народ в Карпогорском аэропорту, ожидая самолета с телом Абрамова. И потом эта народная река двинулась за гробом Абрамова и прошла все Карпогоры от околицы до околицы. И потом в Верколе она так же текла от клуба, из которого вынесли гроб, к могиле.

Старики, старухи, мужики, дети, малыши в колясках, не ведающие, что происходит на свете,— всё тянулось за этой процессией. И над могилой стоял плач, который не организуешь ни по какому заказу.

В обиходе абрамовской прозы часто встречается слово «последний». Оно мелькает и в названиях рассказов: «Последняя охота», «Последняя сграда», «Последний старик деревни». Сам Абрамов тоже был одним из последних писателей деревни. Он это сознавал и нередко говорил, что Россия прощается с деревней, как с матерью.

Он тоже прощался с нею, но, делая это, хотел все же ее спасти. Вот почему *воскрешение* — одна из заветных тем Абрамова. Выступая в «Останкино», он признавался: «Я переживаю как величайшее горе смерть каждого старого человека в моей деревне. Для любителя рощи — не все равно, когда вырубают ее и исчезает дерево за деревом. И в моей деревне на моей памяти один за другим падают кряжи. Великолепные люди, которых по настоящему-то только сегодня и понимаешь. Я жизнелюб, но бывают минуты, когда я иду по деревне и на меня дует пустотой».

Эту пустоту, эти зияющие провалы, которые выгрызла жизнь в народе, Абрамов старался восполнить созданным его фантазией. Он как бы заново сажал деревья в погибшей роще, вытягивал к небу корабельные сосны, засевал луга травой, наполнял реки рыбой, а землю заставлял рожать, как она когда-то рожала. И в поэтическом, переносном смысле это удавалось ему. Книги Абрамова полны голосами, смехом, плачем, северной русской заливистой речью, они овеяны запахом сосновых боров, в них в рост человека колышутся травы. Проза Федора Абрамова — это спасенная деревня, но спасенная в воображении, в печали благодарной памяти. Это крестьянская Атлантида, теперь уже погруженная на дно океана.

В жизни Абрамов видел, как гибнет лес, как топчет и вырывает его с корнем какой-нибудь Геха-Маз (герой повести «Мамониха»), как исчезает рыба в реке, а сама река делается коричнево-темной от затонувшего в ней топляка. Он видел, как крестьянские дети не хотят идти по пути своих родителей («Алька», «Дом»), как

заглядываются они на город и привычки города, как на неполную глубину падают землю трактора и как холод из Арктики уже подбирается через обезлесевшую северную сторону к сердцу России.

В романе «Пути-перепутья» Евсей Мошкин хочет помирить Михаила Пряслина и Егоршу (работника и беглеца), хочет соединить то, что несоединимо, заклиная деревню через веру в Христа возвратиться к утерянному единству. Но и этот старик, последний христианин деревни, отбывший свое в тюрьмах и ссылках, умирает от пьянки, по пьянке же провалившись в сидосную яму.

Страшный образ ямы возникает в романе, куда должно провалиться все старое, все дедовское и отцовское, все святое.

Последний, последняя, последнее... Последняя чистая вода из колодца, последняя брусника на буторках вдоль дорог, последний зарод на лугу, последняя рыба в реке, последний деревянный конь над козырьком крестьянского дома. Когда бродишь по лесам вблизи Верколы, когда пьешь настоящий в чистом кислороде, охлаждающий легкие воздух, а навстречу тебе, маскируясь на фоне белого мшаника, прямо на дороге вырастает нерушимо крепкий (и совершенно чистый внутри!) гриб-боровик, то кажется, что еще не все потеряно, не все погибло, что жизнь до конца не разграблена, не убита. Конечно, это поэтическая иллюзия. Это минута обольщения, внушенного тебе прекрасной природой, но расставаться с этим обольщением не хочется.

Так не хотел расставаться с образом старой деревни Федор Абрамов. Она была уже не старая, а новая, и он видел это — видел, и как трамбуется своим трактором тайгу Геха-Маз, и как «машина», «немец» Виктор Нетесов (роман «Дом») по часам, от «сих и до сих», собирается отбывать на совхозной земле. Спасут ли они деревню, преобразуют ли ее? Ведь Геха-Маз со своим цветущим участком, на котором растет все, что не росло никогда под северным небом, — это прообраз будущего мужика-арендатора. Он силен, в нем мощи хоть отбавляй, хотя это сила физическая, неразумная, но к ней приложен интерес: дай Гехе-Мазу заработать, он, может быть, и эту запущенную Мамонику поставит на ноги.

Но и над Гехой-Мазом, и над Виктором Нетесовым есть еще секретарь, есть райком, обком, есть система, которую даже они — один с недюжинной силой, другой с лукавым умом — победить не способны. Тем более не способен на это Михаил Пряслин, который хот и отец семейства, не молодой мужик, а дитя.

Но в Михаиле есть свет (как есть он и в Лизе Пряслиной) — в Гехе-Мазе и Викторе Нетесове его нет. Как соединить свет с расчетом? Что такое новая Россия — «новая Америка», как писал Блок, или все же Россия?

Вот один из ответов Абрамова: «Первое решение — деревня кончается, деревня исчезает с лица земли и уходит в небытие, и чем это скорее произойдет, тем лучше. А что взамен? Взамен агрогорода, агрокомплексы. Короче говоря, промышленное сельскохозйственное производство, полная, полная механизация, без всяких сантиментов... А второй путь... заключается в том, чтоб деревню сохранить. Конечно, на другой основе, с введением всех, так сказать, благ цивилизации... Но деревню сохранить. Почему это важно? Дело не только в материальной стороне дела. Деревня русская — это ландшафты, наша Родина, мать и прародина всего. Дело в том, что исчезновение связей, утрата связей

человека с животным, с землей, с природой, она может обернуться очень серьезными последствиями... Потому что земля, животные, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность, строится человечность в человеке. Исчезнут эти отношения любви, доброты к животным, к земле — повторяю, не известно, чем это кончится. Не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не поведет ли к каким-то очень серьезным и непредвиденным изменениям национального характера?»

Абрамов первым заговорил о «раскрестьянивании русского человека». Он увидел в этом угрозу всему русскому Дому, семье, которая, не сохранив доверия и любви внутри себя, погибнет. В публицистике и прозе Абрамова есть пророческое предвидение распада, который ждет общество, если оно даст возобладать над собою вражде и сведению счетов.

Неславна биография Калины Дунаева, комиссара в красных штанах, который с револьвером устанавливал в деревне Советскую власть, но и его на старости лет, немощного, впавшего почти что в слабоумие, Абрамов пожалел. Он и братьев Пряслиных в романе «Дом» заставил почитать этого фанатика «сицилизма».

Но ничего не могли уже братья Пряслины взять от этого старика, кроме его революционных песен. Им пример подал не он, а подала его жена — Евдокия-великомученица, у которой этот «сицилизм» потушил огонь в глазах.

Много стариков в романах, повестях и рассказах Абрамова. Но завет молодежи они дают другой — не завет Калины Дунаева. Это завет труда, завет верности земле и дому, завет естественности, который так противоречит всяким катаклизмам и переворотам. Пожалуй, это завет и самого Абрамова. В конце жизни он стал переоценивать «теорию малых дел», которая когда-то была не в чести у русской демократии. Над нею посмеивался даже А. П. Чехов. Хотя сам, кстати, только и делал, что занимался этими «малыми делами». Ими занимался и Толстой, создавая свои школы для крестьянских детей, оказывая помощь бедным, выезжая на голод. О них мечтал Гоголь, говоря в «Выбранных местах из переписки с друзьями», что каждый человек на своем месте должен делать свое дело честно.

В конце жизни Абрамов стал собирать материалы к роману «Чистая книга», где он хотел изобразить предреволюционное время, русского промышленника и купца, русского интеллигента, идущего в народ и предпочитающего революциям просвещение. Все эти «малые дела» — просвещение, торговлю, развитие промышленности — он ставил рядом, считая, что это был тот путь, который напрасно отвергли противники «малых дел». Им хотелось сразу большего, хотелось всемирных преобразований и великих дел, но что из этого получилось? В конце семидесятых годов Абрамов уже мог без натяжки поставить этот вопрос.

Он, во всяком случае, приближался к нему, близился час его полного освобождения, но тут и ударил гром судьбы: 14 мая 1983 года Федор Абрамов скончался.

В сентябре 1978 года Абрамов записал в дневнике клятву о правде. Он клялся отныне писать и говорить одну только правду и ничего, кроме правды. Факт этот может показаться странным. Разве не является правда непременным условием писательства,

разве не с правды *начинается* писатель? А ведь запись в дневнике сделана за пять лет до смерти.

Значит, чувствовал Абрамов неполную правду им сказанного. Значит, и эта мука честного человека наших дней ему была дана. Гоголь как-то клялся перед своим гением, что он окажется достойным этого гения. Клятву на Воробьевых горах давали Герцен и Огарев, но то была клятва политическая. Ни Толстой, ни Достоевский и помыслить не могли, что нужно клясться себе писать правду.

Но Федор Абрамов жил в другое время. Свободу из него выбивали в школе, в комсомоле, в СМЕРШе, в партии, на службе. Вновь обрести свободу в этих условиях — освободиться хотя бы внутренне — для человека его поколения было равновелико подвигу. Понятие «подвиг» обычно связывается с каким-то минутным поступком, приступом храбрости, граничащей с отчаянием, но есть подвиг жизни, подвиг каждодневного сопротивления с собой, не видимый глазу, но не менее высокий, чем военный подвиг. Я думаю, что такой подвиг писатель Абрамов совершил.

Когда ему в декабре 1979 года позвонили с телевидения и попросили положительно отозваться на вторжение наших войск в Афганистан, он отказался. Он сказал: я радости по поводу этого события не разделяю.

Всякое насилие, всякая попытка силой переделать жизнь вызывали в Абрамове отвращение. Писатель не может поощрять насилие, приветствовать насилие, иначе он не писатель. В прекрасной сказке Абрамова «Жила-была семужка» есть два образа: образ труженицы-рыбы, стремящейся возвратиться в родную реку, чтоб оставить после себя потомство, и образ браконьера, который убивает эту рыбу. Его не интересуют ни семга, ни ее мальки. Ему нужна икра, а тело самой рыбы он выбрасывает за борт.

Браконьерству, убийству, насилию Абрамов в этой сказке указывает на его законное место — место вечного позора и проклятия. Он рассматривает браконьерство гораздо шире, он понимает, что идея насилия породила людей насилия, а не наоборот.

Федор Абрамов чувствовал, что душа народа в результате пережитого склоняется к ожесточению. Он видел, что семена зла, посеянные в XX веке, дали отталкивающие всходы. Это пугало его. Это заставляло его наперекор голосам, взывающим к мести, говорить о мире, о том, что народ един — он не делится на крестьян и интеллигентов. И то, что он пережил в эпоху насилия, он пережил как один народ.

Не бросать соль на раны, а лечить раны — вот что он хотел. Именно поэтому его так не хватает сейчас.



УРОЖАЙ ЗОЛОТОЙ ДА СЕРЕБРЯНЫЙ

ИГОРЬ ЯКОВЛЕВ

Фото автора

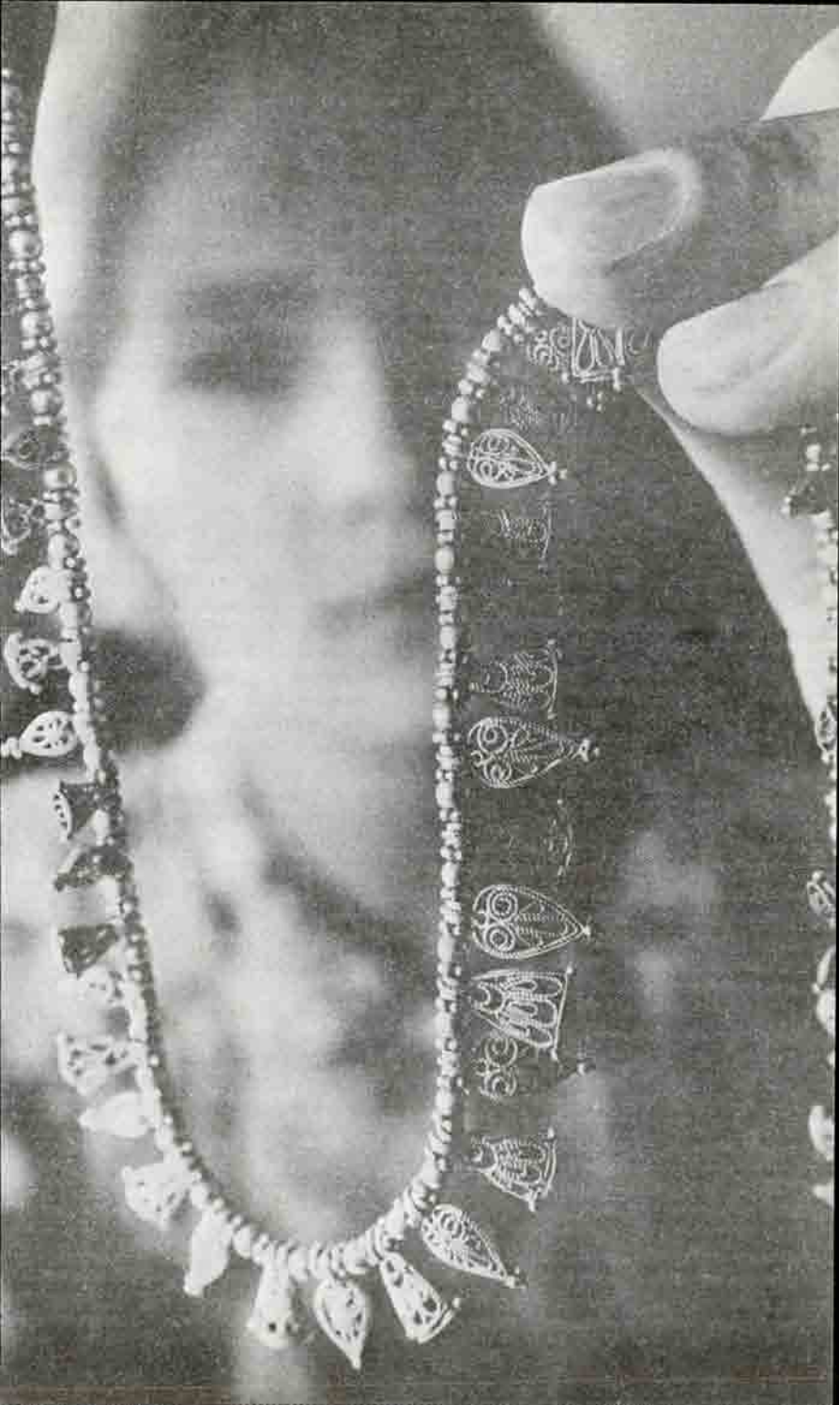
Мастерская

Село Красное особого рода. Те, кто живут здесь, кормятся не с земли, не крестьянским трудом, а рукоеслом: издавна славится Красное золотых и серебряных дел мастерами. Край костромской из века в век одаривал нас не только льном, хлебом да молоком густым, сладким, но и красотой — неброской, узорчатой, словно кроны здешних роц и дубрав. И красота эта плелась серебряной и золотой нитью, разнося славу о костром-

ских умельцах далеко за российские пределы.

...Село над Волгой — на высоком, красивом красном берегу своим промыслом ювелирным известно с XVI века. Было оно «дворцовым селом» — принадлежало боярам Годуновым, а после призвания на русский престол Михаила Романова поставляло украшения царскому дому...

И все же красносельские серьги, кольца, броши, перстни и запонки



носили не только бояре да царские придворные. Были они в чести и у «крепких» крестьян: ремесленников, торгового люда... Позже, спустя два века, открываются в Москве, в Санкт-Петербурге, других крупных российских городах лавки с товаром, что прямиком доставлялся туда с «красного» волжского берега.

В тридцатых годах нашего столетия к традиционным «калачам», «змейкам», «шарикам», «дулькам», «двойчаткам» (так назывались украшения из серебра) добавляется знаменитая красносельская серебряная скань. Началось с простого: стали делать подстаканники, розетки, кольца для салфеток. Но уже в 1937 году изделия красносельцев получают престижные премии на Всемирной выставке в Париже.

История костромского села, ставшего как бы Меккой российского серебряного скано-филигранного промысла, яркая, захватывающая и... поучительная. При всех «встрясках» и переустройствах промысел этот оставался для селян не только хлебом насущным, но и душой, нравственным смыслом их жизни. И так — из поколения в поколение...

Сегодня бывшая артель «Красный кустарь», преобразованная в 50-е годы в безымянную ювелирную фабрику, зовется АО «Красносельский Ювелирпром». Работает здесь две тысячи человек — каждый четвертый житель Красного. Директор Владимир Тютюкин оценивает нынешнее положение АО коротко: держимся...

Экономическая свобода, как он говорит, стоит дорого. И если раньше Москва диктовала ассортимент, цены, объемы выпуска, то она же, Москва, обеспечивала и поставки, и сбыт. Теперь это забота правления АО.

Поэтому «крутиться» директору Тютюкину приходится изрядно. Впрочем, на это он не жалуется. Хуже, говорит, другое. Тяжкая и не всегда разумная «государственная длань» по-прежнему нет-нет да и надавит на поднимающий голову промысел.

— Налоги замучили... В этом году вынуждены сократить объем производства на 40 процентов — не хватает оборотных средств на закупку золота, серебра, оборудования...

Золота перерабатывается нынче двадцать килограммов в месяц. А могут красносельские ювелиры «раскрутить» все сто пятьдесят. Золото и серебро продают фабрике по мировой цене, что устанавливает Лондонская биржа. Вроде бы терпимо... Но акциз, налог (федеральный, местный, спецналог на сырье, НДС...) — и в итоге рентабельность «Красносельского Ювелирпрома» всего 8 процентов. (На Западе, если рентабельность аналогичного предприятия ниже 25 процентов — его попросту закрывают.) Цена изделий в полтора раза дороже импортных...

— Ювелиры мирового класса зарабатывают у нас 150—170 тысяч. Стыдоба! — говорит директор. — Ну, доплачиваем на питание тысяч сто, все одно — крохи, только за квартиру надо полсотни тысяч отдать...

Но вот что удивило меня и, честно говоря, обрадовало: не бегут из села Красного мастера, и молодежь здешняя (кто на фабрике, кто в домашней мастерской) работает по серебру и золоту, как и деда их, душу вкладывая, с выдумкой и фантазией.

Здешнее училище художественной обработки металлов в будущем году будет праздновать столетие. Одно из старейших в России, выросло оно из рисовальных классов,

где мастера-художники отработывали образцы будущих мировых «призеров».

Сейчас в училище — 240 парней и девчат. Из Костромы, Алма-Аты, Калининграда, Таллинна... Но большинство, конечно, местные — красносельские. Выпускники училища высоко ценятся и на мировом «рынке» художников по металлу: Гарик Розенфельд работает в Германии, Юра Голуб — в Австрии, в собственной мастерской свое дело открыл в Америке Гарик Зумерград, в Югославии — Сперанский Толя...

Говорю об этом, называю имена художников, потому что мастеров красносельских, столь ценных в иных странах, в России знают мало, плохо. Впрочем, это, увы, касается не только села Красное, но и Жостово, Хохломы, Скопино, Гусь-Хрустального... А кто назовет (кроме специалистов, понятно) хоть одного художника по каслинскому литью, не имеющему аналогов в мире? Промыслы наши, российские, что не только славу, но и огромные деньги несли Отечеству, нынче переживают трудные, можно сказать, отчаянные времена. Проще простого кивать на «переходный период», на сложности экономической реформы... Но ведь иногда достаточно обычного человеческого внимания, государственной заинтересованности, хозяйского пригляда, чтобы и в теперешних условиях полуразрухи не дать погибнуть уникальным вековым русским ремеслам.

Красное, как верно определил Владимир Тютюкин, держится! И не просто держится, но и развивается — созданы совместные предприятия в Калининграде, Петрозаводске, Тюмени, Новосибирске... В Ярославле открыли офис и магазин.

Я разговаривал в селе со многи-

ми. И с руководителями, и с мастерами, и с их домочадцами. Жалоб хватает, но чтобы кто-либо всерьез подумал о «закате» Красного — такого нет!

Владимир Иванович Ситников почти полвека работал на фабрике. Знатный мастер. Сыновья его — Александр да Иван — в отца: отменные ювелиры.

В подвале своего дома оборудовали мастерскую, купили патент. И сегодня семейные изделия с личным клеймом мастеров Ситниковых ценятся и на рынке, и среди оценщиков-специалистов весьма высоко.

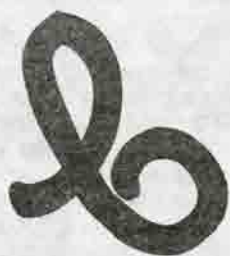
— Что мы без Красного, — говорит старый мастер, — так, перекапти-поле. А здесь — и работа, и уважение, и жизнь вся...

Я бы добавил: а что Красное без мастеров-ювелиров? Просто село на берегу Волги.

Хотя чего-чего, а «простых» сел в России вряд ли сыщешь — в каждом своя «особинка»...

КОЗА

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ



«НАЙДЕНА РУКОПИСЬ» (предисловие издателя)

Эта рукопись попала ко мне совершенно случайно. Как-то раз, возвращаясь из Дома литераторов, я заинтересовался пепелищем, оставшимся от знаменитого ресторана «У застоя», где до пожара собирался весь столичный бомонд. Я и прежде с любопытством хаживал мимо этого шумного заведения. Поговаривали, будто за одну ночь там запросто можно прокутить или просадить в игорном зале целое состояние. Располагался ресторан в отлично отреставрированном двухэтажном особняке на Поварской улице. По фронтому дома тянулся кумачовый транспарант «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Возле ресторана неизменно теснилась вереница новеньких иномарок, у входа по обеим сторонам выстеленного на тротуар министерского ковра стояли гипсовые барабанчики и трубки, привезенные, должно быть, из какого-нибудь подмосковного пионерского лагеря. Вместо швейцаров при дверях обретались люди, одетые в парадную форму войск КГБ. С веселыми шутками они обыскивали улыбающихся гостей — ставили мужчин лицом к

КОЛОКО

стене, а дамам заглядывали под норковые шубки. Это у них юмор такой...

Однажды я подобрал брошенный кем-то ресторанный проспектик, оформленный в виде ордера на обыск, и выяснил, что внутри у них тоже все, как в лучшие застойные времена: пиво «Ячменный колос» из старинного автомата, фирменное блюдо «Козленок в молоке» после 18.00 и водка «Амораловка» — не более 200 граммов на человека. Игорный зал также предлагал давно забытые удовольствия: пневматический тир и бег в мешках. В концертной программе значились попури на темы советских композиторов и «Краснознаменный танец» (на фотографии была изображена обнаженная женщина, роняющая к ногам кумачовое полотнище с серпом и молотом). Кроме того, проспектик гарантировал «россыпи юмора, эпиграмм и стихотворных экспромтов в течение всего вечера». Образец прилагался:

Жизнь — это золотое

Галерное весло.

И только «У застоя»

Легко и весело!

Разумеется, зайти в ресторан я даже не помышлял — с моими заработками! И вдруг в телевизионных «Новостях» сообщили, что знаменитое заведение сгорело. Сперва случилась заурядная пистолетная стрельба, и ничто не предвещало трагедию, но потом подоспели с огнеметом друзья одной из конфликтующих сторон, а пожарные, как водится, замешкались. Были и человеческие жертвы...

Озирая обугленный хлам, я заметил полуобгоревший кейс, уже вскрытый, поэтому ничего ценного внутри не оказалось, а только красная папка с развязанными тесемками. Видимо, кто-то уже заглядывал в нее, поворошил страницы и бросил. Титульного листа не было, но беглого взгляда хватило, чтобы понять: передо

мною литературное произведение, скорее всего роман. Я принес рукопись домой и прочитал. Прямо скажу, не без интереса. Конечно, первым делом надо было отыскать автора, и я дал объявление в газете: «Найдена рукопись!» Ждал, но тщетно. Тогда я решил вычислить создателя этого произведения самостоятельно, тем более что роман посвящен нашей литературной среде и в нем действуют под своими настоящими именами многие видные писатели, даже ваш покорный слуга! Но — сколько я ни ломал голову, сколько ни советовался с коллегами — безрезультатно. По крайней мере десятков, а то и два десятка известных мне литераторов могли бы написать это сочинение. Однако никто не сознавался.

В конце концов я решился опубликовать роман под своим именем, рассчитывая, что, обнаружив это, автор, если с ним все в порядке, возмутится и объявится. Но, не желая ссориться со всей литературной Москвой, я заменил подлинные фамилии на вымышленные. Еще, поскольку титульного листа в папке не было, я придумал название и определил жанр — «роман-эпиграмма». Вот, собственно, и все. Теперь остается только ждать результатов этой публикации...

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ. Переделкино. 1995.

«Многоуважаемый ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

«Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает: «перо писателя нечувствительно переходит в сатиру...» Н. ГОГОЛЬ».

(Из письма М. А. Булгакова И. В. Сталину. 30 мая 1931 г.)

1. ПРОЛОГ НА НЕБЕСАХ

Самолет набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, тяжело волокущий по воздуху свое мохнатое тело к скрытой в разнотравье заветной норке... «Разнотравье» — плохо. В траве... Да, просто в траве! Иногда проще избавиться от избыточного веса, чем от избыточного слова...

Стюардесса подкатила к моему креслу уставленную бутылками тележку и великодушно предложила на выбор: лимонад даром, алкоголь за валюту. От нее прямо-таки разило парфюмерней, помимо этого девушка тщательно демонстрировала мне свою вызубренную в школе стюардесс улыбку, которую, очевидно, перед сном она вынимает изо рта и кладет в стакан с водой, как пенсионер вставную челюсть. Профессия литератора очень напоминает первобытное собирательство. Вырвал корешок, надкусил: горько — сплюнул и выбросил; вкусно — сунул в торбочку и дальше побрел.

Вот о каких пустяках я думал, даже не подозревая, что он уже рядом и собирается меня убить или в лучшем случае изуевчить...

Я взял сто «смирновской» и порцию маслинчиков, фаршированных анчоусами, на закуску. Долгое время я полагал, что анчоусы — это нечто вызывающе растительное, но оказалось — просто рыбки наподобие килек. Я заплатил пять долларов, получив вместо сдачи все ту же вставную улыбку. Ерунда! Такой пустяк я теперь мог себе позволить, потому что возвращался из Катаньи с гонораром, которого мне должно хватить на полгода скромной жизни.

Собственно говоря, эти полгода я собирался провести за письменным столом, чтобы наконец закончить мою повесть о партийном функционере, оказавшемся жутким вампиром и по ночам пробиравшимся в сектор учета своего райкома, чтобы, контактируя с фотографиями, наклеенными на учетные карточки, пить биоэнергию из ничего не подозревавших рядовых коммунистов. Улетая на Сицилию, я остановился на том, что, лакомясь одной привлекательной большевичкой, он — по фотографии — влюбился в нее без памяти и, чтобы познакомиться поближе, пришел ей персональное дело... Что случится дальше, я представлял себе очень смутно, а заканчивать вещь нужно срочно, иначе будет совсем поздно: все издательства просто завалены беллетризованными поношениями предшествующего режима, ибо это единственное, чем сегодня может прокормиться честный, но не упорствующий в своих принципах писатель. Время, когда можно было заработать на пионерских приветствиях, безвозвратно ушло, а написать нечто стоящее или, как я выражаюсь, «главненькое», мне не удалось и уже никогда не удастся, но жить-то надо!

Впрочем, повесть у меня застопорилась задолго до того, как я улетел в Катанью на этот дурацкий день рождения, вылившийся в конференцию по обмену опытом между отечественными и сицилианскими мафиози. Просто однажды, проснувшись утром, я почувствовал, что ненавижу все: сюжет, героев, пишущую машинку, себя... Я ненавижу эту мерзкую, задышливую жизненную борьбу, не оставляющую ни сил, ни желаний для борьбы за мечту. В этом, кстати, и заключается главное, базисное свинство бытия: осуществить мечту можно только за счет тех сил, какие обычно тратятся на борьбу за жизнь. Замкнутый круг. И разорвать его невозможно. Почти... Тех, кому это удалось, можно считать по пальцам. Костожогов, к примеру... Впрочем, пример неудачный: жизнь его в конце концов все-таки сожрала, схарчила, схрумкала. И не подавилась, скотина! Нет, мир стоит не на слонах, не на китах и даже не на быках, мир стоит на трех огромных свиньях, грязных, смердящих и прожорливых...

Я целыми днями маялся на диване, иногда вставал, подходил к пишущей машинке, постыдно износившейся от многолетней моей литературной халтуры, тыкал в какую-нибудь букву и испытывал отчетливое желание расколотить эту клавишную шмару о стену моего кабинета, служившего одновременно спальней, столовой и гостиной. Муки творческого бесплодия дополнялись еще и тем, что денег — а я держу их в прикроватной тумбочке — становилось все меньше и меньше.





Наступил день, когда, пошарив рукой в тумбочке, я обнаружил там полное отсутствие надежд на ужин. Тогда я подошел к столу, ткнул пальцем в клавишу и, не совладав с собой, метнул машинку в стену, оставив там самый глубокий след за все годы моего пребывания в этой квартире. Интересно, что удар пришелся точно в коричневое пятно на обоях, похожее по форме на Апеннинский полуостров с Сицилией и появившееся на стене давно, очень давно, еще до моего бегства в Семиюртинск. Удар пришелся, между прочим, как раз в то место, где по всем географическим приметам должен находиться город Катанья, откуда я сейчас возвращаюсь. Теряя металлические и пластмассовые фрагменты, машинка рухнула на пол, и тут же по батарейным трубам донесся возмущенный стук нижнего соседа, парализованного старичка. У него действует только правая рука, и он энергично пользуется ею, чтобы выразить свое негодование, если в моей квартире раздается какой-то шум.

Интересно, что когда у меня бывала Ужасная Дама, кричавшая во время предварительных ласк так, словно ей без наркоза удаляли аппендикс, лукавый паралитик никогда не стучал по трубам отопления.

64

Таким вот образом я остался не только без денег, но и без средств производства. Конечно, эпиграммушечки можно было сочинять и без машинки, на память, но спрос на них после прокатившихся по Москве террористических разборок упал до нуля — и я снова оказался в такой же безвыходной ситуации, как после моего жалкого возвращения из Семиюртинска. Лежа на диване без жратвы и работы, я, как это и водится меж людьми интеллигентных профессий, начал предаваться суицидальным размышлениям, т. е. воображал, как, не успев повиснуть в петле, буду вызволен оттуда почтальоном, который вдруг принесет мне солидный денежный перевод за переиздание какой-нибудь давней моей халтуры, например, «Истории Шинного завода».

Но в конце концов я решил остановиться на пищевом спирте «Royal». От него, как писали в газетах, ежедневно в городе помирало несколько человек. Это было заманчиво: если из трех миллионов активно пьющих москвичей в день погибает всего несколько бедолаг, то я получал гораздо больше шансов выжить, нежели при повешенье. Но, чтобы осуществить этот мягко-суицидальный план, нужно было купить бутылку спирта. А денег-то как раз не было!

И тут я вспомнил про акции АО ДДЦ! Я вложил в них почти все мои сбережения сразу после возвращения из теплоходного круиза Москва — Астрахань, устроенного горячим поклонником моих эпиграммушечек — торговцем квартирами по кличке Недвижимец. Он придумал замечательную вещь: находил одинокого нуждающегося пенсионера или пенсионерку, обещал солидное ежемесячное вспомоществование, а те в знак ответной признательности должны были завещать ему свою жилплощадь. В общем, ничего особенного фантастически доходного, но бизнес тем не менее процветал, потому что благодетельствованные старички после заключения контракта помирали с какой-то несвойственной даже их преклонному возрасту расторопностью — и квартиры посту-

пали в полное распоряжение Недвижимца. Как ему удавалось регулировать смертность своих клиентов — загадка, но, думаю, дело связано с тем, что, помимо квартир, он еще приторговывал просроченными американскими пиллюлями от головной боли, каковыми бесплатно снабжал своих пенсионеров. А как известно, самые головкружительные открытия происходят на стыке наук!

И вот однажды, почувствовав себя необратимо богатым, Недвижимец закупил целый теплоход, приглашал знаменитых певцов, артистов, телезвезд. Меня же, грешного, выписали для того, чтобы в перерывах между эстрадными номерами я читал мои эпиграммушечки:

*Налоги несущественны,
Политика — блье,
Когда срываешь с женщины,
Французское бельё!*

Там, на теплоходе, я познакомился с одним хмырем, который умел имитировать голоса разных знаменитостей, но его взяли только для того, чтобы он говорил голосом недвижимцевой тещи одну лишь фразу: «Дура я коломенская...» Голосом тещи он овладел настолько, что Недвижимец начал на него даже по-родственному покрикивать, а потом и поколачивать. В результате парень не выдержал и сошел на берег в Нижнем Новгороде. Но перед тем как сбежать, он посоветовал мне вложить деньги в акции АО ДДД. «Деньги должны работать, а не мы...» — молвил он на прощанье, прикрывая здоровенный чернильный синяк под глазом — награду за подражательство. И я послушался этого идиота, чтоб ему всю оставшуюся жизнь подражать реву довоенного унитаз!

«ДДД» это АО называлось не случайно: его создателя, физикатеоретика, звали Дима, жену Дина, а любимую собачку Дуня. Решив продать акции, я направился к ближайшему пункту и обнаружил там гигантскую толпу, скандирующую: «Свободу Диме!» Над толпой реяли портреты самого Димы, его жены Дины и их любимой собаки Дуни, вызывающе беспорядной и оттого особенно любимой простыми акционерами.

Случилось же вот что. Наш президент, как общеизвестно, человек употребляющий — за что, собственно, его и выбрали. А расслабившись, он может снять последнюю рубашку как с себя, так и с рядового российского налогоплательщика. Президент как раз воротился в Москву из Пакистана, где здорово загулял на самом высшем уровне и даже, как рассказывали западные средства информации, во время циркового представления высочил на арену и стал отбирать у обалдевшего факира дрессированного питона. Так вот, воротившись, он давал пресс-конференцию в таком усталом состоянии, что не мог говорить, а только вяло кивал. Этим-то и воспользовались конкуренты АО ДДД, подкупив одного журналиста, до сих пор слышного неподкупным, ибо заламывал он уж очень высокие цены. Этот журналист спросил у уставшего президента, правда ли, что Дима, возглавляющий знаменитое ДДД, — жулик и негодяй. Президент, разумеется, кивнул. Наутро все газеты вышли с шапками «ДДД — деньги для дураков!» «Афера века», «Подлый бизнес» и т. д. По телевидению выступил знаменитый финансовый эксперт и сказал: крах ДДД

неизбежен, и если он еще вчера говорил совершенно противоположное, то это только потому, что сегодня он говорит правду.

Началась паника. ОМОН оцепил пункты продажи акций и никого туда не пускал, чтобы сами омовцы успели обменять собственные ценные бумаги. Сдав свои, они за хорошую плату стали пускать вовнутрь других запаниковавших акционеров. Через два дня деньги у Димы кончились, и он не нашел ничего лучшего, как призвать народ к восстанию против кивающего президента, за что был арестован и препровожден в «Матросскую тишину», где, наверное, ему и в самом деле было спокойнее. Его жена Дина успела вылететь в Америку и замкнулась в своем небольшом замке на окраине Санта-Барбары. А оставшаяся в опустевшей московской квартире беспорядная Дуня ничем не могла помочь вкладчикам...

Так меня лишили последнего. И вот, когда я совсем уже отчаялся и стал поглядывать на многочисленных столичных нищих с полупрофессиональным интересом, вдруг после многомесячного перерыва позвонил Недвижимец. У него были серьезные неприятности со здоровьем: он по ошибке выпил с похмелья тех самых американских пилюль от головной боли, но, к счастью, только одну — это его и спасло. Недвижимец выкарабкался и даже решил отметить свой день рождения на Сицилии, куда и звал меня, обещая хороший гонорар. Замирая от счастья, я выдержал приличествующую паузу и тут же согласился...

В Катанье я практически ничего не делал, шатался по городу,пил дешевое итальянское винишко. Выступать мне пришлось один только раз во время прощального обеда, накрытого персон на сто в роскошном загородном ресторане под старинным акведуком. Наши мафиози, слетевшиеся отовсюду, чтобы поздравить новорожденного, громко ржали над моими эпиграммушечками. Но итальянские коллеги только улыбались для приличия, хотя переводил им доктор филологических наук из МГУ, лучший знаток Габриэле Д'Аннунцио, специально привезенный по такому случаю. Причем за перевод дюжины моих эпиграммушечек — признался он, пьяно плача на моем плече, — ему заплатили в несколько раз больше, чем за всего Д'Аннунцио, которого он переводил двадцать пять лет! Из итальянцев оценил мое творчество только директор библиотеки Катаньского университета. Он подошел ко мне и через с трудом сдерживающего рыдания переводчика сообщил, что как раз готовит антологию современной российской поэзии и обязательно включит меня в нее, поставив между Приговым и Пушкиным. После такого заявления каждый итальянский мафиози почел своим долгом пожать мне руку, ибо директор библиотеки и был, как оказалось, их крестным отцом. Растроганный таким признанием со стороны местной элиты, Недвижимец заплатил мне в полтора раза больше, чем обещал, а сам остался еще на недельку, чтобы ознакомиться с тонкостями решения жилищного вопроса на Сицилии. Его знаменитые гости разлетелись кто в Штаты, а кто на Канары. Переводчик Д'Аннунцио, протрезвев, устроился ложкомоем в тот самый ресторан под акведуком. Вот почему в Москву я возвращался один.

Я снова поглядел в иллюминатор и принялся старательно

думать, с чем можно сравнить видневшуюся далеко внизу землю. Такая у нас, литераторов, профессиональная болезнь... Я, наверное, чуть-чуть вздремнул: в голове воцарилась нежная многозначительная невнятица. Очнулся я оттого, что кто-то грубо взял меня за плечо. Я открыл глаза и увидел его. В нацеленном на меня взгляде было столько ненависти, что ее вполне могло хватить на геноцид какого-нибудь малого народа...

— Здравствуй, сволочь! — произнес он. — Вот мы и встретились. Теперь тебе точно конец!

Он стоял около моего кресла и смотрел на меня так, как, наверное, мясник с ярко выраженными садистскими наклонностями смотрит на юного, еще ничего не знающего о бараньих отбивных ягненка. Он почти не изменился: у него было все то же усеянное веснушками круглое лицо, румянец во всю щеку, рыжие завивающиеся на лбу колечками волосы и большие голубые глаза. Только смотрели они на меня не с прежней простодушной доверчивостью, а с холодной враждебностью. И одет он был тоже не как прежде: вместо экзотического, некогда придуманного мной наряда гения, выпешдшего из таежной деревни Щимыти, на нем был отличный двубортный костюм, переливающийся, как нефтяное пятно на воде, а также очень дорогой галстук цвета кивкального удара.

— Не узнал, что ли? — спросил он, скривив губы в беспощадной улыбке.

— Узнал, — прошептал я. — Чего ты хочешь?

— Хочу набить тебе морду!

— И только?

— Только для начала: потом я тебя просто убью!

— А за что?

— Сам знаешь! Я теперь все понял... Котяра! Франкельштерн стоптанный!

Пассажиры заинтересованно вскинулись на нас.

— Франкенштейн, — автоматически поправил я.

— Хватит меня учить! Научил уже один раз... На весь мир чуть не опозорил!

— Я хотел как лучше! — Мне удалось придать своему голосу неправдоподобную искренность.

— Не вари козла! Я для тебя всю жизнь был кроликом Павлова...

— Собакой... — снова поправил я и похолодел.

— Вот-вот — собакой! Я всегда это чувствовал! Пойдем выйдем! Ментально...

Пассажиры уже перешептывались, вникая в драматургию назревающего мордобоя.

— Это самолет — тут нельзя драться, — возразил я.

— А кто тебе сказал, что мы будем драться? Я просто откручу тебе голову! Очень тихо... Пошли!

— Все равно нельзя: можно нарушить балансировку центрирующей оси крылоподъемной конструкции! — выпалил я первую пришедшую в голову чепуховину.

— Не глупее некоторых. Сам знаю. Я тебя в аэропорту приблю. Готовься!

— Но ты же один раз мне уже отомстил! Я тоже из-за тебя все потерял. Неужели тебе одного раза недостаточно?

— Скорее нет, чем да,— блудливо усмехнулся он и схватил меня за шиворот.

И тут в воздухе снова крепко запахло парфюмерней, а это означало — к нам приблизилась женщина, облеченная властными полномочиями. Я давно заметил: насколько мужчины, носящие униформу, привержены к крепким напиткам, настолько женщины, находящиеся при исполнении, склонны к крепким духам.

— Освободите проход! — потребовала стюардесса, подкрепляя свои слова строгой вставной улыбкой. — Сейчас вам будет предложена горячая пицца.

Он посмотрел на меня с многообещающей ненавистью, повернулся, и его широченная спина двинулась по салону самолета, точно поршень. Перед тем как скрыться, он обернулся и показал мне огромный кулак, суливший по меньшей мере обильное внутреннее кровотечение и множественные переломы. Я бессильно закрыл глаза. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. За все приходится платить. Винить некого: во всем виноват я сам. Рано или поздно придуманная и выпущенная в мир тварь задушит своего Франкенштейна, а Галатея наставит Пигмалиону рога. Собственно, с этих чертовых маральных рогов все и началось...

Стюардесса вынула из металлического ящика на колесиках пластмассовый поднос с сиротской аэрофлотской снедью и поставила передо мной на откидной столик:

— Приятного аппетита! Пива не желаете?

— Что? Нет... Нет-нет! — вздрогнул я всем телом.

2. ВНАЧАЛЕ БЫЛО ПИВО

Нет, не с маральных рогов — все началось с пива!

Я очень хорошо помню тот день. Год тоже легко вспомнить: пили первые месяцы горбачевской перестройки, когда слов было уже много, а пива еще мало, и если в писательский клуб завозили свежее жигулевское, то за столиками было шумно и свободомысленно. Да и время было замечательное: нашему доверчивому народу уже дали в ручонку погремушку гласности, но пока еще не отняли от материнской груди социализма. Впрочем, нет! Началось это чуть раньше, как раз накануне гласности. Ну конечно, как можно перепутать?! Ведь и гласность хренова и вся остальная перестройка начались именно с той моей давней непростительной глупости...

Дело было так. Мы, Стас Жгутевич, Арнольд и я, сидели в Дубовом зале Дома литераторов и пили пиво с раками, которые в ту пору, если говорить о Москве, водились только здесь, да еще иногда в Доме журналистов.

Арнольд все время порывался выставить на стол бутылку настойки из маральных рогов, ибо она, как он, смеясь в бороду, объяснял, — лучшее средство от рогов супружеских. И вообще, у

них в Сибири такую настойку зовут «амораловкой» за ее необоримо возбуждающее воздействие. Недавно даже шведы для укрепления своих «шведских семей» закупили пробную партию. И Арнольд, почуяв выгоду, начал хлопотать об организации производственного кооператива, которые только-только разрешили постановлением ЦК КПСС — было, если помните, такое учреждение...

— Взъерописься, мужики! — предложил Арнольд, заманчиво подмигивая.

Но мы, сосредоточившись на пиве, разрешили ему выставить только литровую банку соленых рыжиков, они идут с жигулевским еще лучше раков. Деморализовав нас рыжиками, он все-таки сделал то, от чего всеми силами мы удерживали его весь вечер, — рассказал нам сюжет своего нового романа. Подробностей я, конечно, уже не помню, но суть такова: один таяжный охотник по имени Альберт выслеживает и убивает самку рыси, чтобы шить шапку любимой женщине. И тут-то начинается самое главное. Лишившийся подруги самец принимается мстить за свою утрату и преследует охотника аж до самого Красноярска, где и загрызает его насмерть возле мехового ателье, куда Альберт пришел, чтобы получить уже готовую шапку. Мстительного самца отстреливает случившийся поблизости милиционер, который вместе с шапкой и приносит страшное известие любимой погибшего промысловика. Вот и все. И остаются на свете две одинокие, лишившиеся своих мужчин самки: одна в виде женщины, другая в виде шапки...

— Ну как? — спросил Арнольд, скромно потупив глаза.

— Говно! — выпалил я, чтобы опередить какую-нибудь чудовищную безтактность со стороны Жгутовича.

— За что ж вы здесь, в Москве, так Сибирь не любите? — задумчиво поинтересовался охотовед.

— Мобидиковщина какая-то, — подтвердил Стас.

Спорить со Стасом он даже и не пытался, потому что Жгутович был человеком угнетающе начитанным да и работал в книжном магазине «Книжная находка», что на Лубянке, рядом с памятником первопечатнику Ивану Федорову. Стаса знала вся литературная Москва, так как он помогал писателям в обстановке жестокого книжного дефицита доставать редкие и идеологически неоднозначные издания. Он бы мог озолотиться на этом деле, но у него была одна пагубная и неизлечимая болезнь, по сравнению с которой наследственный алкоголизм с запоями и галлюцинациями — всего лишь легкое недомогание. Он писал стихи. Отвратительные, как утренний остаток макияжа на лице нелюбимой женщины. По этой печальной, но уважительной причине книги писателям он доставал задаром. А точнее, за то, что они в знак ответной признательности рекомендовали, а чаще только обещали порекомендовать его произведения в какой-нибудь популярный журнал. Но когда Жгутович заводил речь о том, что стихов у него набралось уже на три сборника, а поэт без книги, как Париж без Сены, на него смотрели с таким интересом, с каким обычно смотрят на безьяну, закурившую сигару.

Так бы Стас и мучился до пенсии, но однажды случилось неве-

роятное: какой-то бомжеватого вида мужичок приволок в магазин «Масонскую энциклопедию», редчайшую книгу, изданную перед самой революцией, и, предложив ее Жгутовичу, опасно попросил на бутылку, ибо находился в том специфическом состоянии, когда за стакан портвейна можно продать себя на галеры. Стас сразу понял, что вытащил счастливый лотерейный билет, что наступил его звездный час, и что или теперь, или никогда он станет наконец автором книги стихов, без которой поэт, как Лондон без Темзы.

Слух о «Масонской энциклопедии» разнесся по литературной Москве с эпидемической скоростью. К магазину возле памятника Ивану Федорову потянулись, как волхвы к Христу-младенцу, писатели — всем хотелось завладеть уникальной энциклопедией, чтобы проникнуть в тайну великого закулисья, в тайну, по сравнению с которой марксизм — детская сказка про Шалтай-болтая. Но их ожидало суровое встречное предложение: Стас, как вы уже, наверное, догадались, решительно требовал в качестве вознаграждения издать его собственную книжку! Это теперь, когда хрупкий скелет нации хрустнул в объятиях капитализма, ты можешь прийти, заплатить, и твоя книга, состоящая, допустим, из альковных прозвищ, какими одаривали тебя женщины, будет мгновенно издана. Но тогда... Тогда на каждого, кто приходил в издательство с рукописью, смотрели так, точно это был маньяк, сбежавший из «психушки» вместе со своей историей болезни, какую теперь и просит опубликовать да еще собирается получить за это гонорар. И чтобы последующая история была очевидна вам до конца, я должен сделать еще одно отступление и рассказать, каким образом была издана моя первая и единственная книжка.

Мы с женой решили расстаться. К моменту развода я еще не опубликовал ни одного своего стихотворения. А на жизнь зарабатывал тем, что, во-первых, служил корреспондентом в многотиражке «За образцовый рейс» 4-го Автокомбината, а во-вторых, тем, что писал стихотворные пионерские приветствия и юбилейные истории фабрик и заводов. По сему поводу, уже собирая мои вещи, жена заметила, что это чисто русская традиция: нестреляющая Царь-пушка, незвонящий Царь-колокол и непечатающиеся поэты... Получив после размена в полное свое распоряжение однокомнатную квартиру, я поначалу и не сообразил, что таким образом обеспечил себе литературное будущее. Я просто наслаждался полузабытым счастьем безотчетного одиночества. Девушки у меня, конечно, бывали, но не так уж часто, ибо свобода настраивает мужчину на философский лад и делает гурманом. Измена в браке — это нечто профилактическое. Если б адюльтер входил в ежеквартальную медицинскую диспансеризацию, думаю, большинство мужей бросили б заниматься этой чепухой...

Жизнь моя изменилась внезапно. Однажды я притащил к себе домой критика Закусонского. Притащил в буквальном смысле слова, ибо в этот день он заключил договор на три рецензии и два упоминания в обзорной статье и поэтому был физически не в состоянии добраться до своего спального района. Пробудившись утром, Закусонский обполз мою квартиру оловянными глазами и

полувопросительно простонал, так как на полноценный вопрос сил не было:

— Где я?

— У меня.

— А разве ты один живешь? — удивился он.

Мне показалось, что это эмоциональное усилие будет стоить ему жизни, и я достал из холодильника бутылку пива:

— Теперь вот один...

— Невероятно! — задохнулся он то ли от изумления, то ли от спасительного глотка.

— Что невероятно?

— Ты живешь один и еще ни разу нигде не печатался?

Через несколько дней ко мне подошел толстенный поэт, заведовавший отделом поэзии в молодежном журнале.

— Ну, ты не прав! — укорил он меня, хлопая по плечу, хотя до этого никогда со мной даже не здоровался. — Неси срочно! Штук пять. Одно — за Советскую власть. Остальные можешь за...

И он ввернул расхожее матерное словцо, обозначающее примерно то же, что в его собственных стихах, неплохих, кстати говоря, обозначало словосочетание «мохнатая роза любви». Я отнес. Он принял меня в своем заваленном рукописями кабинете, взял подборку, которую я мучительно составлял несколько дней, и, не глядя, сунул в братскую усыпальницу пыльных манускриптов.

— Жди! — сказал он.

Ждать пришлось недолго. Вскоре он заявился ко мне с длинной юной поэтессой, годившейся ему в дочери. Стоя рядом, они напоминали персонажей сказки «Пузырь и Соломинка». Мы выпили, поговорили немного о поэзии, а потом он стал, по-рачьи вращая глазами яблоками, показывать мне на дверь моей собственной квартиры. На всякий случай я оставил на кухонном столе склянку сердечных капель и ушел в ночь, каковую и провел на лавочке зала ожидания Ярославского вокзала.

Мои стихи он напечатал ровно через год, а критик Закусонский, тоже однажды затащивший ко мне какую-то очкастую лахудру в спущенных чулках, тиснул в «Литературном еженедельнике» теплую рецензию под названием «И половодье чувств...». К тому времени ко мне уже захаживало несколько сотрудников толстых журналов, заместитель заведующего отделом центральной газеты, три радиокорреспондента и звукооператор с телевидения. Пришлось составить жесткий график, подружиться со всеми бомжами и постовыми милиционерами Ярославского вокзала, но зато мои стихи периодически появлялись в печати, звучали по радио и телевидению.

Наконец случилось то, что должно было случиться. Мне позвонил важный человек из солидного издательства и сказал довольно хмуро и как бы нехотя, что хотел бы посмотреть рукопись моих стихотворений, и если она удовлетворяет тем высоким требованиям, которые предъявляет к поэзии взыскательный советский читатель, то, вероятно, можно будет попытаться подумать о перспективе издания книги. Я тогда еще окончательно не избавился от клинической наивности начинающего поэта — и в течение

нескольких недель составлял рукопись с тем благоговейным трепетом, с каким, наверное, юный акушер делает свой первый подпольный аборт. Утром я позвонил ему и, замирая, спросил, когда можно привезти готовую рукопись. «Я сам приеду», — был ответ.

Он приехал в тот же вечер в сопровождении трех совершенно пьяных девиц легкого поведения, которые начали раздевать его, даже не дождавшись моего ухода. Увидев, как я заторопился к двери, он дружески махнул мне волосатой рукой и великодушно пригласил: «Вали к нам до кучи!» Но я, забормотав что-то про внезапно заболевшую бабушку, отклонил приглашение, ибо барахтаться голышом в куче-мале с незнакомыми девицами и пузатым полузнакомым дядей — это никакой не групповой секс, а самый настоящий разврат!

С появившейся перспективой издания книги график посещения моей несчастной квартиры стал настолько плотным, что мне пришлось снять койку у старушки в доме напротив, потому что спать на вокзальных лавках жестко, и к тому же я стал простужаться от сквозняков, а тут еще вышло какое-то постановление о борьбе с бомжами и прогульщиками, в результате меня даже однажды забрали в милицию, но отпустили после того, как я объяснил начальнику отделения, что являюсь поэтом, а в доказательство спел песню Высоцкого.

И вот вышла моя книжка. Я вдохнул свежий запах типографской краски. Прочитал ее от начала до конца сперва очень быстро, а потом еще раз очень медленно — и понял, что стихи мои не то чтобы плохи, нет, они даже по-своему хороши, но устраивать из квартиры общегородской бордель, снимать койку у старушки только ради того, чтобы увидеть их набранными и сброшюрованными в тонкую книжицу, не стоит. Конечно, искусство всегда требует жертв, но только гении и кретины приносят ему человеческие жертвы. Не будучи первым и не желая стать вторым, я объявил всем своим посетителям, что лавочка закрывается, и перевез пожитки от старушки назад в мою квартиру, которая за эти два года настолько пропахла потом сладострастия и прочими сопутствующими ароматами, что срочно пришлось делать ремонт, на что и ушел почти весь гонорар за книжку.

Кстати, мне всегда казалось, что если у меня выйдет книжка, моя жизнь совершенно изменится — я даже по улицам начну ходить по-другому, а прохожие станут смотреть на меня совсем иначе... Никто даже не заметил.

И только Костожогов позвонил мне:

— Поздравляю!

— Спасибо! — ответил я рассеянно.

Как раз в это время из ванной вышла Анка. Она всегда превращала свой выход из ванной в маленькое эротическое представление. Сегодня она изображала как будто бы японку и, плотно обернувшись большим полотенцем, шла ко мне, по-восточному семеня ножками.

На середине комнаты тяжелое махровое «кимоно» вдруг распалось и обрушилось на пол...

— Нет, в самом деле, в книге есть несколько вполне профессиональных стихотворений, — продолжал Костожогов, — но профес-

сионизм в литературе — то же самое, что хорошее пищеварение. Весь вопрос — для чего!

— Простите, что вы сказали? — переспросил я.

Анка уже забралась под одеяло и отвлекала меня от разговора самым изощренным образом.

— Вы заняты? — смутился Костождогов.

— Чуть-чуть, — ответил я, изнывая. — Я вам перезвоню...

— Мне некуда перезванивать. Лучше приезжайте ко мне как-нибудь в Цаплино. Поговорим. Почитаете стихи моим ученикам. Дети — замечательные критики! Адрес вы мой не потеряли?

— Нет, — соврал я.

— Приезжайте! Буду ждать.

И Костождогов повесил трубку. А Анка вдруг выбралась из-под одеяла и стала молча одеваться.

— Ты куда?

— Надоело, — ответила она.

Но я ее умолил, и Анка осталась. Окончательно мы поссорились месяца через два.

Больше по поводу книжки мне никто не звонил, хотя телефон не умолкал: мои благодетели, оставшись без квартиры, требовали, убеждали, даже угрожали...

Тогда я дозвонился на АТС и попросил отключить телефон.

— Не положено! — ответили мне. — Вот если б вы не оплатили междугородный разговор — тогда другое дело.

— Девушка, я вас прошу!

— И не просите!

— А вам кто-нибудь говорил, что у вас голос, как у Софи Лорен?

— Не-ет! — потеплела она.

Вообще-то я слукавил: голос у нее был не как у Софи Лорен, а как у нашей отечественной актрисы, всегда дублирующей эту кинозвезду. Но телефон она мне, подобрев, отключила. Тогда издатели, страстно желая меня опубликовать, стали звонить мне в дверь, даже присылали телеграммы, но в конце концов все-таки успокоились, а следом за ними потерял ко мне интерес и взыскательный советский читатель. Наступила эра покоя и забвения. Но пора вернуться в ресторан Дома литераторов к пиву и рыжикам...

3. СПОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

Мы тихо допивали пиво и доедали рыжики. Официантка уже четыре раза уносила с нашего стола пустые бутылки и приносила наполненные. Дело шло к вечеру. Зал ресторана постепенно наполнялся. Пришел и, как часовщик-починщик в ожидании клиентов, занял свое место в уголке критик Закусонский. После того как я прикрыл общественный бордель на моей квартире, он вместе с ответственными работниками издательства и взыскательным советским читателем тоже потерял ко мне всякий интерес. И если прежде, увидав меня, он подбегал, обвивался руками вокруг моей шеи и, ласково боднув лбом в плечо, говорил: «Ну, здорово, старый!» — то теперь Закусонский приветствовал меня усталым полужакрытием глаз.

Следом появился мой приятель поэт Одуев. Сегодня он был не со своей обычной подружкой телевизионщицей Стеллой, а с какой-то длинноногой малолеткой. Пристально оглядев зал и дружески кивнув мне, он заказал ей мороженое и стал читать, громко завывая, стихи, а она смотрела на него с тем слепым обожанием, с которым смотрела бы, наверное, меломанка на свинью, запевшую голосом Паваротти.

В окружении стайки западных журналистов явился поужинать прозаик Чурменев, автор знаменитого романа «Женщина в кресле», где он описывает, как женщина, раскоряченная в гинекологическом кресле, пытается найти в себе Бога. Этот роман он написал лет десять назад, будучи еще сущим юношей. Замысел, как сам автор рассказывал в одном из интервью (я слышал по радио «Свобода»), припел ему в голову, когда он вдруг вообразил себе Настасью Филипповну на приеме у гинеколога. Закончив роман, Чурменев тут же с оказией отправил его в нью-йоркское издательство. Среди интеллектуальной части золотой советской молодежи это называлось тогда «риснуть отцовским партбилетом». Отец его был крупным руководителем среднего звена и к тому же сыном классика советской детской литературы, на стихах которого мы все и выросли. Однако ничего не случилось: благополучно миновав бдительную таможду, сначала в одну, а потом и в обратную сторону, рукопись воротилась назад с кисло-сладкими замечаниями по поводу несомненного таланта автора и еще более несомненной ненужности этого произведения взыскательному американскому читателю. Чурменев озлился, но не отчаялся: пользуясь любой тайной оказией, он рассылал рукопись романа в разные страны. Но обычно бдительные к идеологической контрабанде таможенники как сговорились и не обращали на толстенную папку никакого внимания, а заграничные издательства тоже как сговорились и упорно возвращали рукопись, ссылаясь на непоколебимую взыскательность своих читателей. Но вот как-то раз третий диссидент Пьяношлемов, общеизвестный несколькими грамотно организованными скандалами, посоветовал Чурменеву вложить в папку с рукописью сотню-другую незадекларированных долларов. Это помогло: первый же таможенник зеленые, конечно, конфисковал, а с ними и рукопись.

Начался скандал: Чурменева исключили из Союза писателей, а заодно сняли с должности и его отца, дабы руководители среднего звена серьезнее относились к воспитанию подрастающего поколения...

Так Чурменев-младший однажды проснулся знаменитым и упорительно гонимым. Полосы западных газет пестрели заголовками: «Опять 1937!», «Чурменев против КГБ»... Все издательства, которые когда-то отклонили роман «Женщина в кресле», тут же завалили автора телеграммами с предложениями самых выгодных контрактов. Его книга вышла почти одновременно в 27 странах, а обозреватель влиятельнейшего американского еженедельника «Book magazine» назвал свою рецензию «Чурменев — Достоевский сегодня». Зацеписто, конечно, но других русских писателей он просто не знал. В КГБ сформировали специальную оперативную группу под кодовым названием «Гинеколог» исклю-

чительно для контроля за писателем Чурменьевым. Во главе группы поставили генерал-лейтенанта, хорошо знавшего папашу проштрафившегося литератора по совместной охоте и рыбалке. С тех пор автор знаменитого романа всюду появлялся в окружении западных журналистов, а на почтительном расстоянии от них следовали сотрудники КГБ из «наружки». Генерал-лейтенант и Чурменьев-старший продолжали ездить вместе на охоту и по ночам у костра, наевшись медвежьего шашлыка, обсуждали, как ловчее вернуть блудного сына в лоно советской литературы. Когда благодаря мне началась гласность и слезку за Чурменьевым прекратили, к нему подошел человек в штатском и, представившись заместителем начальника оперативной группы, смущенно попросил для личного состава надписать несколько экземпляров романа, только-только изданного «Посевом». Однако не буду забегать вперед...

Итак, мы допили пиво, и я предложил заказать еще несколько бутылок, но денег у нас со Стасом больше не было.

— М-да... — сказал Арнольд, выгребая из карманов последнюю мелочь. — Сволочи вы тут в Москве-то!

— Почему сволочи? — вяло полюбопытствовал я.

— Все соки из России выжили...

— А что ж, Москва не Россия, по-твоему? — заступился за столицу Стас.

— Нет, не Россия. Москва — желвак на здоровом теле нации, — отозвался Арнольд, тяжело вздохнув. — Москва — джунгли, другое дело тайга! Идешь, бывало, по тропке с ружьишком... Я, мужики, когда белке в глаз попадаю, ощущаю то же самое, когда строчку хорошую нахожу...

Он профессионально помертвел лицом, вспоминая строчку. Стас и я переглянулись и безмолвно договорились не повторять той ошибки, которую давеча допустили с сюжетом Арнольдова романа. Если поэт, неважно — столичный или провинциальный, читает за столом хотя бы одну свою строчку, он уже не остановится, пока не вывалит вам на голову весь накопившийся в его душе стихотворный мусор. Такие поползновения нужно давить в зародыше...

— Ага, вот-вот... — Лицо Арнольда начало угрожающе оживать.

— А вот я, — Стас резко перехватил инициативу, — когда гляжу на пыльные ряды книг в магазине, чувствую себя мальчишкой, вознамерившимся ублажить ненасытное лоно Астарты...

— Кого? — огорченно переспросил Арнольд, еще надеясь, что почитать ему все-таки дадут.

— Та-ак, баба одна... Мы с вами жертвы набитых книжных полок, — вздохнул Стас, видимо, вспомнив о своем не изданном до сих пор сборнике.

— Жертвы, — согласился Арнольд. — У меня об этом стихи есть!

— Вы только подумайте, — не уступал Стас, — что сегодня нужно написать, чтобы тебя услышали?!

— Я вот недавно написал! — не унимался и Арнольд.

— Ничего писать не надо! — помог я Стасу. — Текст не имеет никакого значения.

— Абсолютно никакого, — согласился Арнольд. — Я вам сейчас об этом поэму прочту!

— Что значит — не имеет значения? — не понял Стас.

— А то и значит: можно вообще не написать ни строчки и быть знаменитым писателем! Тебя будут изучать, обсуждать, цитировать... — развил я эту внезапно пришедшую мне в голову мысль.

— Цитировать? — переспросил Стас.

— Да, цитировать! — не отступался я, ибо пиво в больших количествах делает человека удивительно упрямым.

— Нонсенс!

— Чего? — не понял Арнольд.

— Вы, конечно, можете меня спросить, — все более воодушевляясь, продолжал я, — почему у классиков все-таки есть тексты? Отвечаю — потому что они были в плену профессиональных уловностей: портной должен шить, столяр — строгать, писатель — писать! Допустим, ты не читал Шекспира, а это равносильно тому, как если б он ничего не написал, но ты ведь все равно знаешь, что Шекспир — гений. Разве не так?

— Так, — согласился Арнольд.

— Любин-Любченко тоже об этом что-то говорил. Но, по-моему, это софистика! — ухмыльнулся Стас.

— Чего? — не понял Арнольд.

— Нет, не софистика, — настырно возразил я. — Софистика — обман ума, рассыпающийся при первом столкновении с действительностью. А я могу доказать свои слова на практике. Я готов взять первого встречного человека, не имеющего о литературе никакого представления, и за месяц-два превратить его в знаменитого писателя!

— Нонсенс! — замахал руками Стас.

— Чего? — снова переспросил Арнольд.

— Фигня! — уточнил Жгутович.

— Ах, фигня! — возмутился я, и кровь с пивом бросилась мне в голову. — Готов поспорить: первого встречного дебила за два месяца я сделаю знаменитым писателем, его будут узнавать на улицах, критики станут писать о нем статьи, и вы будете гордиться знакомством с ним!

Несмотря на решительную интонацию, все это было сказано мной, конечно же, в риторическом порыве и с оттенком явного алкогольного романтизма. Но Стас рассудил иначе.

— На что спорим? — деловито усмехаясь, спросил он.

— В каком смысле? — не понял я.

— В прямом. Ты предлагаешь спорить. Я готов. На что спорим? Или ты испугался?

— На что угодно! — ответил я заводясь.

— И этот твой дебил не напишет ни строчки? — издевательски уточнил Жгутович.

— Он вообще может быть неграмотным! — небрежно бросил я.

— Нонсенс! — сказал Арнольд.

— Хорошо. Если ты проиграешь, а это неизбежно, то я буду по первому звонку в любое время пользоваться твоей квартирой! Идет? — предложил Жгутович.

Тут я должен снова сделать пояснительное отступление. Дело в том, что Стас по натуре бабник-тихушник, а книжная пыль к тому же, как я где-то прочел, чрезвычайно стимулирует женолюбие. В Италии, например, ослабшим мужчинам врачи даже рекомендуют чаще бывать в библиотеках. Однако Стасу очень не повезло с женой: она у него из кубанских казачек — ревнива до умоисступления, и не только лазает по карманам, но еще ежевечерне тщательнейше осматривает его одежду в поисках приставших дамских волос и даже обнюхивает на предмет внебрачных запахов. Однажды она до полусмерти отходила Стаса чугунной сковородкой за то, что от его майки тянуло «диором». И только потом, отходя и немного отойдя, вспомнила, как сама же и помазалась этими духами, когда заезжала к подружке за выкройками. Кроме всего, жена звонит ему на работу через каждый час — проверяет, на месте ли муж...

Ясное дело, Стас не мог себе позволить даже самые невинные мужские удовольствия, а в тот памятный вечер он оказался в ресторане нашего клуба только потому, что после обеда должен был ехать на курсы повышения квалификации продавцов-букинистов, а семинар отменили из-за болезни лектора, о чем, естественно, он жену в известность не поставил. Но такие подарки судьба подкидывала ему нечасто. Сам он свою жизнь называл добродетелью строгого режима. А ведь как в каждой мужской душе, в его душе тоже кипели страсти: он влюблялся в своих постоянных покупательниц, ужасно страдал от бесперспективности, и постепенно на его лице установилось выражение застоявшейся не востребованности, которое часто путают с признаками пытливого ума. Как любая художественная натура, Стас пытался сублимировать сексуальное неудовлетворение в творчество, но за мелькнувший в его венке сонетов «ласкающий пепельный локоп», абсолютно вымысленный, он был жестоко избит кофеваркой. От более лютой расправы Стаса спасло то, что его жена лет десять назад, сдуру, покрасилась в какой-то пепельно-пегий цвет, о чем и вспомнила, занеся кофеварку для решающего удара... Методом жестоких проб и роковых ошибок Стас нащупал безопасную для жизни тематику. Обычно его стихи и поэмы назывались крайне филологично — «Перечитывая третью главу «Кентерберийских рассказов», или «Модильяни пьет абсент в «Ротонде», или «Смерть Альбера Камю в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года». Вот почему моя однокомнатная квартира, расположенная в пяти минутах бега от букинистического магазина «Книжная находка», была единственным выходом из того кошмара, в котором он влачил свои половозрелые годы.

— Идет, — согласился я и сделал многозначительную паузу. — Но если ты проиграешь, то я буду в любое время пользоваться твоей «Масонской энциклопедией»!

— В каком смысле? — затомился алчный Стас.

— В прямом. Ты мне ее просто отдашь!

На мгновение Жгутович замер, и на лице его живо отобразилась схватка скрытого сладострастия с явным честолюбием, но довольно скоро честолюбие пискнуло и подняло вверх свои крысиные лапки.

— Идет! — кивнул он. — Тем более что ты все равно не выиграешь!

— Подумай! — усмехнулся я и решил его помучить. — Ты теряешь единственный шанс. Если ты отдашь мне энциклопедию, книгу тебе никто не издаст, и взыскательный читатель никогда не сможет насладиться твоей поэмой «Иван Тургенев читает Полине Виардо фрагменты романа «Дым».

— Романа «Новь», — обижено поправил Стас. — Ты всегда был Терситом по натуре...

— А кто такой Терсит? — вмешался Арнольд.

— Так, мужик один, — объяснил Стас и добавил: — Я подумал. Ты никогда не выиграешь! — И он протянул мне руку.

Я протянул свою. Нет, это было не рукопожатие, а притворное объятие двух лукавств.

— Разбей! — приказал я Арнольду.

Тот сначала решительно занес руку, но вдруг заколебался:

— Не-ет, так не пойдет... Подумайте сами: а если первым встречным окажется, допустим, Франсуаза Саган? По телевизору сказали: она как раз сейчас в Москве...

— Хорошо, — согласился я. — Известных людей мы отмечаем как класс!

— А если первым встречным окажется твой приятель, с которым ты все заранее общипал? — спросил Арнольд и глянул на меня с хитрой улыбкой.

— Ваши необоснованные подозрения мне странны! — ответил я, и, хотя у меня не было никаких жульнических планов (у меня вообще не было планов), щеки мои затеплились, как у всякого порядочного человека, заподозренного в свинстве.

— В самом деле, — насутился Стас, — я хотел бы гарантий!

— Мое честное слово для тебя не гарантия? — фальшиво, несмотря на всю чистоту своих намерений, возмутился я.

— Писатель, дающий честное слово, то же самое, что проститутка, которая клянется своей невинностью! — отрезал Жгутувич.

— Как сказал! — воскликнул Арнольд, и его лицо напряглось в запоминающем усилении.

— Что ж, в таком случае наше пари расстраивается, — облегченно констатировал я.

— Вы, мужики, не расстраивайтесь, — успокоил Арнольд, глянув на часы. — Прямо сейчас должен прийти Витек, племян нашнего редакционного шопера. Я ему от дяди привез рыжиков, — он кивнул на пустую банку, — и бутылку «амораловки». — Он показал глазами на свой рюкзачок.

— Кем он работает? — подозрительно поинтересовался Стас.

— Чальщиком.

— А что это? — продолжал допытываться Жгутувич.

— Так, мужик с чалками, — ответил злопамятный охотовед.

— Образование? — не обратив на это внимания, спросил обладатель «Масонской энциклопедии».

— Ну какое образование у чальщика? Незаконченное...

— Конкретнее? — потребовал Жгутувич.

— Из ПТУ за двойки выгнали...

— Очень хорошо!

— Вот вы Витька и заделайте знаменитым писателем. Он дядьке письма присылает с такими ошибками, что вся редакция гочет. Вот вам и чистота эксперимента. А из первого встречного тебе любой дурак гения сбцаает!

— Годится! — Стас буквально схватил мою руку.

Я нехотя сжал его вспотевшую от предчувствия удачи ладонь, а Арнольд, крикнув, разбил наш заклад. Отмечая заключенное пари, мы допили остатки пива и закусили по-братски разделенным последним рыжиком из дядиной банки. И Арнольд пошел к входным дверям — встречать будущую знаменитость: по его прикдам, Витек должен был уже подыхать.

— У тебя диван или кровать? — задумчиво жуя гриб, спросил Стас.

— Диван-кровать, — буркнул я, мысленно ругая себя за это дурацкое пари.

4. ПРОСТОДУШНЫЙ

Через несколько минут он уже сидел за нашим столиком — здоровенный рыжий кудряво-конопатый парень, не знающий, куда деть свои огромные красные ручки. На нем были синие портки, которые спившие их в городе Можайске люди почему-то поименовали «джинсами», и байковая клетчатая рубаша с заломатившимися манжетами. А его башмаки, грубые строительные бахилы, удивляли взгляд бело-серыми разводами, похожими на те, что остаются на черной школьной доске, если стереть написанное мелом с помощью грязной тряпки. Зато лицо его светилось добродушной безмятежностью: вероятно, из всех проклятых вопросов бытия его беспокоил только один — как дотянуть от аванса до получки. И то, видимо, не очень... Я снова пожалел о заключенном пари.

Когда Арнольд подвел его к нашему столику, он, ужасно робел и запинаясь, представился: «Витек». Не «Витя», не «Виктор», не «Витька», а именно «Витек». Чувствовалось, что малый впервые оказался в таком значительном месте и, чтобы не оплошать, контролирует каждое свое движение, мучительно призывая на помощь смутные образцы хороших манер, виденные в каких-нибудь фильмах про благородную жизнь. Когда мы пригласили его присесть за наш столик, он ответил нам коротким поклоном, которым в этих самых киношках обычно заканчивают переговоры о месте поединка, секундантах и прочих дуэльных подробностях.

— Грибки-то мы с ребятами того... — виновато сообщил Арнольд, показывая пустую банку.

— Да ладно уж, — кивнул Витек и улыбнулся.

— Давайте за встречу! — предложил Стас.

— Надюха! — я ухватил за кружевной передничек пробегавшую мимо официантку.

И тут я снова должен сделать отступление. Между прочим, их в моем повествовании будет довольно много, поэтому читатель, предпочитающий прямоезкие сюжеты, может сразу отложить это

сочинение. Итак: Надюха была самой молодой официанткой в ресторане, ей было лет двадцать пять, и она обладала всеми тремя основными признаками женской привлекательности: большими глазами, большой грудью и большим задом. При этом фигура ее оставалась достаточно стройной, а волосы радовали взор аккуратной парикмахерской курчавостью. Судя по тому, что в течение нескольких лет она частенько появлялась на работе с тщательно запудренным синяком под левым глазом, Надюха была девушка замужняя. Правда, в последние несколько месяцев никаких брачных отметин на лице не наблюдалось, и это наводило на мысль, что ее супружество распалось. Более того: в кривых Надюхиных глазах возникло то загадочно-задумчивое выражение, которое всегда выделяет томящуюся в одиночестве женщину. Не путать с насмешливо-призывным взглядом женщины, томящейся в браке! От прочих официанток она отличалась еще и тем, что обслуживала быстро, грубила вполсилы, а обсчетывала очень умеренно.

— Мальчики, — вздохнула она, глядя не на нас, а на кусочек свежего неба, видневшийся сквозь приоткрытое витражное окно, — пиво кончилось. Последний портвейн бутыл Закусонский. Остался коньяк — очень дорогой! Всего одна бутылка...

Человеку, начавшему свою алкогольную биографию после гайдаровских реформ и с малолетства привыкшему к избытку веселящего зелья везде и в любое время суток, эта возникающая у нас проблема может показаться надуманной. Однако в ту пору мы, воспитанные социалистической действительностью в духе жесткой борьбы за каждый децилитр алкоголя, восприняли эту весть спокойно. Коньяк, даже безумно дорогой, в условиях разразившейся антиалкогольной кампании — это просто подарок судьбы. В конце концов расплатиться можно и завтра, оставив в залог на крайний случай часы или писательский билет. И чтобы закрыть тему, выскажу соображение, давно не дающее мне покоя. Перестройка лишила нас главного — жизненной цели. Создавая массу препон и преград перед пьющим человеком на пути к искомой дозе алкоголя, социализм имитировал, пусть неумело, цель, а значит — и смысл жизни. Капитализм с его ломящимися от горячительных напитков витринами оставил нас один на один с ледящей онтологической бессмысленностью бытия. И нет ему за это прощения!

— Будем пить что есть, — бодро сказал я Надюхе.

— Деньги, пожалуйста, вперед! — попросила она, продолжая рассматривать кусочек неба в окне.

— Надежда, ты же меня знаешь! — неуклюже возмутился я.

— Знаю, поэтому деньги, пожалуйста, вперед...

— Вперед так вперед! Будем скидываться, — и я полез в боковой карман с таким видом, будто у меня там филнал госбанка.

Это была известная ресторанный уловка, заставлявшая вновь подсевшего за столик достать кошелёк и заплатить за всех. Делается это просто: ты задерживаешь руку в кармане, а ничего не подозревающий новичок вынимает деньги, после чего можно сообщить, что забыл бумажник в пальто, или просто, почесывая под мышкой, дать ему возможность потратиться. Опытные в секретах застольного мастерства Стас и Арнольд сделали то же

самое. Так мы некоторое время и сидели, точно три мафиози: каждый сунулся в карман за стволом, но начать пальбу первым никто не решается...

— Будем платить-то? — нетерпеливо спросила Надюха.

Мы вопросительно посмотрели на Витька.

— А у меня шуршиков уже неделю нет! — простодушно ответил он, совсем не смутившись тем, что наше знакомство начинается с прямого вымогательства. — Меня же со стройки уволили...

— Ну, мужик пошел! — возмутилась Надюха. — В ресторан без денег идет, к бабе без...

Прозвизно все это, она почему-то глядела именно на Витька, хотя и мы тоже были «без».

— Без гладиолуса! — подсказал Витек ухмыляясь.

Надюха посмотрела на него долгим взглядом женщины, забывшей, когда ей в последний раз дарили цветы.

— Может, часами возьмешь? — поколебавшись предложил я, глянув на свои «командирские». — Завтра принесу деньги...

— Бери, очень хорошие «котлы»! — поддержал меня Витек, уже начавший понемногу осваиваться.

Скажу сразу: отдать эти часы в залог мне было так же непросто, как папуасу оставить в колониальной лавке свой амулет — мумифицированную и ставшую священной погремушкой мошонку любимого дедушки. Почему — объясню позже.

— Ну конечно... Сейчас! Куда их девать-то, часы ваши? Скоро магазин «Тик-так» тут откроем! — ответила она с той чисто бабьей сварливостью, после которой обычно следует согласие.

— А что это вы, собственно, грубите? — влез нечуткий Жгутувич и все испакостил.

— Я грублю? — возмутилась она.

— Ты, Надь, пока иди, — примирительно сказал я. — Мы по-советуемся...

Окатив нас взглядом, исполненным женского презрения, она отошла от столика — и Витек проводил ее жадным взглядом работающего на свежем воздухе мужчины. Некоторое время мы сидели молча, стараясь не смотреть друг на друга, а потом Арнольд, крикнув, полез в рюкзак и выставил на стол литровую бутылку из-под венгерского вермута, наполненную жидкостью, по цвету напоминающую отработанное моторное масло.

— Это та самая «мараловка»? — уточнил я.

— «Амораловка», — поправил Арнольд, разливая по рюкам — себе чуть-чуть, нам со Стасом побольше, а Витьку граммов сто. — Тебе можно. Ты молодой, у тебя еще вся печень впереди!

— Это не опасно? — покосился на рюмку Стас.

— Пока еще никто не умер.

Мы чокнулись и выпили. У настойки был вкус технического спирта, в который уронили кусочек селедки иваси с луком. Витек, опрокинув рюмку, замер, прислушиваясь к тому, как алкоголь теплой мышкой бежит вниз по пищеводу. В тот момент, когда мышка достигла желудка, он согласно кивнул.

— Лекарство? — морщась, спросил Стас.

— Настойка из маральных рогов — лучшее средство от рогов внутрисемейных, — разъяснил Арнольд. — Даже самый плевый

мужик, как выпьет, места себе не находит, пока кого-нибудь не прищемит. У нас ее поэтому «амораловкой» и прозвали. Вы сегодня больше — ни-ни...

— Предупреждать надо! — обиделся Стас.

— Не сердчай. Чуть-чуть полезно. У вас ведь с Витьком разговор, а какой разговор без рюмахи?

— Да, разговор, — вздохнул я. — Значит, говоришь, выгнали тебя с работы?

— Ага.

— Прогулы и дебоши?

— Ага.

— Да ладно, не чинись, расскажи, как ты бригадиром на собрании по трибуне колотил! — подсказал Арнольд.

— М-мотивы? — не очень твердо потребовал Стас.

— Сука он!

— У-уважительные мотивы! — кивнул Жгутувич.

Да я и сам почувствовал, как внутри зарождается и начинает пульсировать горячее беспокойство вполне определенной направленности. А бредовая идея сделать из Витька мировую знаменитость вдруг показалась мне не такой уж глупой, но даже волнующе заманчивой, как первое прикосновение к незнакомой девичьей коже. Я глянул на Стаса: его бледное костистое лицо зарумянилось, зальсины запотели, а в глазах появилась похотливая целеустремленность. У Витька на лбу тоже выступила испарина, и он своими толстыми пальцами пытался слепить из хлебного мякиша нечто женственное. Арнольд же наблюдал за действием «амораловки» с тихой улыбкой юнната.

— Ну и что ты теперь собираешься делать? — спросил я у Витька после некоторой паузы.

— Не знаю, может, грузчиком в универсам устроюсь...

— Сопьешься! — покачал головой Арнольд.

— Сопьюсь... А может, к дядьке к вам в Красноярск подамся...

— Приезжай. Найдем тебе сибирячку! Знаешь, такую, с огоньком в одном месте...

По тому, как это было сказано, стало ясно: те несколько капель, что выпил Арнольд, тоже не прошли для него бесследно. Но с Витьком вообще творилось нечто невообразимое: он вдруг побавровел и покрылся потом, словно минут двадцать пробыл в хорошо протопленной русской парной, нещадно обхлестывая себя дубовым веником с крапивцей. Да и сам я ни с того ни с сего вдруг ярко и остро вспомнил одну мою мимолетную подругу юности, которая в кульминационные моменты почему-то всегда раздражалась хриплым хохотом, по звуку напоминающим тот, что издают «мешочки со смехом». Меня тоже бросило в пот, и я исподлобья глянул на Стаса: он, нервно подергивая щекой, так лихорадочно листал свою записную книжку, словно кругом был огонь, а он забыл телефон пожарной команды.

— О'кей — сказал Патрикей! — кивнул Витек. — Приеду!

Я с укоризной посмотрел на Арнольда, а раздосадованный Стас даже пнул его под столом ногой.

— А с другой стороны, — спохватившись, покачал головой Арнольд, — мать одну бросать нельзя!

— Нельзя, — кивнул Витек.
— А писателем ты стать не хочешь? — напрямки спросил я.
— Не-ет... У меня по русскому в школе три с минусом было.
— Писать ты не будешь! — пообещал я.
— И читать не будешь! — захихикал Стас, оторвав взгляд от незнакомки, одиноко пившей шампанское за соседним столиком.

— Соглашайся! — посоветовал Арнольд.
— А это... Ну, в общем... Насчет этого самого... — замылся Витек. — Мне как бы зарплату положат? У меня пятый разряд!

— Не волнуйся, — успокоил я Витька. — Денег будет столько, что ты даже не будешь знать, куда их девать! Конечно, не сразу... А пока я тебе оплачиваю питание и выдаю на карманные расходы. Договорились?

— Надо покумекать, — тихо ответил Витек и задумчиво обвел глазами наш стол, жалкий, как завтрак мусорщиков.

— Ах, это! — понял я. — Это пусть тебя не смущает. Такова писательская жизнь: сегодня густо — завтра пусто...

— А чаще — что? — спросил Витек.

— Трудный вопрос. У кого как... Но у тебя будет денег много, потому что есть такой закон: чем писатель меньше пишет, тем больше у него денег!

— Значит, будешь миллионером? — хихикнул ядовитый Стас и послал незнакомке страстный взгляд, хотя надо было бы послать бутылку шампанского, ибо свою она уже допивала.

— Из загранок вылезать не будешь! — продолжал живописать я и, покосившись на Стаса, громко добавил: — А женщины! Какие женщины у тебя будут!

— Правда? — зарделся Витек.

— Правда! Соглашайся, — посоветовал Арнольд. — Чего ты теряешь? У них свой интерес, у тебя — свой. Не понравится — пошлешь их на хрен... И к нам — в Красноярск! На медведя пойдем!

— О'кей — сказал Патрикей! — кивнул Витек.

— Тогда по рукам!

Я во второй раз за один вечер, но теперь уже с куражистой уверенностью протянул свою ладонь для скрепления договора. Витек сжал ее крепко, но без членовредительства, а Арнольд накрыл наши руки сверху растопыренной пятерней. Ни руки Жгутовича, ни его самого в этот ответственный момент поблизости не оказалось. Он уже со свойственной советскому облыстелю непосредственностью сидел за столиком незнакомки и хлебал ее шампанское...

— Вот и славненько! — сказал Арнольд, вставая. — Очень хорошо, что все сладилось. А мне пора на паровоз. Вы только с «амораловкой» поосторожнее! Много — вредно. Гляньте: Жгутович — глиста глистой, а как вскобелился-то!

— Сегодня больше ни капли! — пообещал я.

— Ну, тогда счастливо оставаться! — поклонился Арнольд. — Софистика, говорите? Ну-ну...

Лукаво усмехнувшись, он подхватил рюкзачок и направился к выходу. А я, глядя ему вслед, почему-то с будоражащей достовер-

ностью вспомнил давний-предавний свой турпоход и одну крепенькую инструкторшу, научившую меня, школьника, ставить палатку за рекордные две минуты, а потом в этой самой палатке разъяснившую мне: то, что в туризме — абсолютный рекорд, то в любви — абсолютно не рекорд.

Тем временем к нам, чтобы собрать пустую посуду, подошла Надюха. Переплываться и кокетничать с безденежными клиентами не имело смысла, поэтому она хмуро и молчаливо складывала в стопку грязные тарелки, брезгливо косясь на понатыканные в них окурки. Склоняясь над столом, она невольно предьявляла нам свою вполне убедительную грудь. Неожиданно Витек схватил ее за руку и потянул к себе.

— Как зовут-то?

— Отпустите! — ответила она с какой-то томной строгостью.

— Отпусти — упадешь!

— Нахал...

— Пускай нахал — лишь бы пахал! — засмеялся Витек, и я подумал о том, что современная наука явно недооценивает нынешний городской фольклор.

— Я милицию вызову! — неуверенно пообещала Надюха.

— Позвонила я ноль-два — ноги сходятся едва! — поддал Витек.

— Скажите вашему другу! — Она глянула на меня.

— Отпусти ее! — приказал я, заметив, что возня у столика привлекла внимание хмурой метрдотельши, похожей на смотрительницу женской тюрьмы.

Витек неохотно выпустил руку. Надюха потерла покрасневшее запястье, буркнула «дурак» и, подхватив посуду, ушла. Мы проводили ее голодными взглядами. Первым опомнился, конечно, я:

— Давай сразу договоримся: ты ничего не делаешь без моего разрешения!

— Что ж мне теперь, и ляльку без вашего разрешения не зачать? — засопел Витек.

— Без моего разрешения — нет. А то эксперимент сорвется!

— Эксперимент! А я, выходит, кролик?

— Тебя это так смущает?

— В общем, нет... В нашей собачьей жизни кроликом побыть — это даже нешлохо.

Он задумался и снова принялся лепить из хлебного мякиша форму, которую, если ее увеличить раз в сто, можно совершенно спокойно показывать на выставках современной скульптуры, назвав, допустим, «Женщина на изломе луча». Я тоже задумался, а точнее, под влиянием «амораловки» затомился воспоминаниями об Анке, о наших безумных ночах на даче в Перепискино, о смуглом мраморе ее тела, с победной ненасытностью вздымавшегося надо мной, точно торс языческой богини над пьедесталом... К здоровой реальности меня вернул Стас, снова усевшийся за наш столик.

— А где Арнольд? — удивился он.

— Ушел на медведя, — объяснил я.

— Понял... Слушай, — страстно зашептал Жгутович, — у меня к тебе есть просьба. Поскольку ты все равно проиграешь, я бы

хотел сегодня вечером в счет будущих прав использовать твою квартиру. Ты не возражаешь?

Произнеся это, он метнул нежно-обещающий взгляд незнакомке, приканчивавшей уже третью бутылку шампанского. В ответ она показала ему алчущий язык.

— В принципе не возражаю, — ответил я, — хотя это то же самое, как если б мне в счет моего будущего несомненного выигрыша захотелось бы вырвать несколько страниц из твоей «Масонской энциклопедии...».

— Ну, ты сравнил! — возмутился Стас.

— А во что вы играете? — поинтересовался Витек.

— В жизнь, — улыбнулся я нашему простодушному другу и, снова повернувшись к Стасу, добавил: — Но даже если я, учитывая твоё состояние, разрешу тебе воспользоваться моей квартирой, ты все равно не сможешь этого сделать...

— Почему это? — возмутился Стас, уловив в моем ответе недоверие к его потенциалу.

— Оглянись, эротоман ты хренов!

Он обернулся: в дверях стояла его жена, которую я заметил минутой назад.

— Она... она... видела, как я?! — прошептал он, мертвея, и показал глазами на незнакомку, манящую его к себе пустым бокалом.

— Не умирай, — успокоил я. — Она вошла, когда ты вернулся к нам.

— Ф-у-у. — Стас выдохнул, как подсудимый, которому в последний момент расстрел заменили пожизненной каторгой.

— Сам выпутаешься или помочь? — великодушно спросил я.

— Помоги!

Я встал, подхватил Стаса под руку и, широко улыбаясь, повел его к супруге. Она смотрела на нас, как пулеметчик смотрит на наступающие вражеские цепи, подпуская поближе, чтоб бить наверняка. Попутно мне довелось принять на себя пьяные объятия незнакомки, кинувшейся вслед ускользавшему от нее Жгутувичу. Бережно, но не без усилий усадив ее за столик, я догнал Стаса еще до того, как он успел открыть рот. Невинно глядя прямо в свинцовые глаза его супруги, я затараторил про то, что сегодня якобы имело место одно очень серьезное обсуждение моей новой книги, и для меня жизненно важным было выступление ее мужа, славящегося своим безукоризненным вкусом и неописуемым красноречием. Я говорил все это без единой паузы, втискивая слово в слово, фразу в фразу, так, чтобы перебить меня было невозможно, говорил до тех пор, пока не довел супругов до двери и не выпустил на улицу, где обилие пространства позволяло разрешить им свой семейный конфликт в самых адекватных формах...

5. ПОКИНУТЫЙ МУЖЧИНА

Когда я вернулся к нашему столику, там никого не было, а метрдотельша смотрела на меня как-то странно.

— А вот здесь парень сидел? — спросил я.

— Этот маньяк в нечищенных ботинках? — отозвался со своего места наблюдательный Закусонский.

— Почему маньяк? — удивился я. — Очень талантливый молодой писатель.

— Так уж и талантливый? — ухмыльнулся Закусонский.

Он, будучи настоящим литератором, твердо считал талант своей глубоко личной принадлежностью и наличие таланта у кого-либо еще полагал такой же нелепостью, как копыто у болонки.

— Этот твой молодой талант схватил Надюху и уволок...

— Куда?

— В грот любви! — обронил мерзавец Одуев, покидавший ресторан в обнимку со своей школьницей.

— Стишки ей читать будет, — добавил Закусонский с интонацией, в которой заключалась зоологическая ненависть ко всем жанрам литературы без исключения.

— При чем тут стихи? — разозлился я. — Он пишет... Ну, допустим, прозу...

— Ах, бросьте, — засмеялся Закусонский, подмигнув нашему ресторанному обходчику Гере, деликатно шакалившему возле столика, где, уронив голову между пустых бутылок, спала незнакомка.

Тем временем к нам приблизилась строгая метрдотельша:

— Учтите, если Надежда не вернется через полчаса, я переведу ее в посудомойки!

— А если она не виновата, если он насильник! — заступился за Надюху глумливый Закусонский.

— Так не бывает... Писатель, а такой ерунды не знаете! — отрезала метрдотельша.

Они не вернулись. Не вернулись ни через полчаса, ни через час... Они вообще не вернулись. Ресторан начал пустеть. Очнувшись, незнакомка допила шампанское, подкрасила губы и ушла, твердо печатая шаг. Чурменьяев с иностранцами, нализовавшимися совершенно по-русски, уехал догуливать в «Метрополь». Я прождал до самого закрытия ресторана, когда уже полупритушили свет и официанты принялись срывать со столов, будто одежды с пьяных женщин, скатерти и ставить стулья вверх ножками. Перебравших литераторов, выборматывающих что-то о своей неопцененной гениальности и безусловной слабости Достоевского как стилиста, под руки выводили на воздух, где они стояли и, пошатываясь, мучительно вспоминали свой адрес, чтобы сообщить таксисту.

Я взял со стола бутылку «амораловки», покрепче завинтил пробку, сунул напиток в портфель и тоже вышел на улицу: был теплый июньский вечер. В воздухе стоял нежно-металлический запах первой грозы, которую синоптики настойчиво обещали и которая, видимо, все-таки осуществилась, покуда я сидел в ресторане. Впрочем, что там гроза, некоторые умудряются революции в кабаках пересидживать! Опасаясь, что моя нетрезвость может заинтересовать дежурящих в метро милиционеров, я решил отправиться домой пешком. До моей 2-й Вздыбленской, в ту пору

еще носившей имя командарма Тятина, было полчаса ходу.

Я испытывал очень странные чувства. Прошло много лет, а я очень хорошо помню те ощущения. Если принять эзотерическую версию творившегося со мной, то мое плотное тело — иными словами, плоть — спокойным шагом, соблюдая все правила общежития и дорожного движения, двигалось по вечернему городу в направлении Никитских Ворот, правда, чересчур внимательно разглядывая встречаемых женщин и девушек. Но мое эфирное тело желаний рвалось куда-то, точно юный кобелек с поводка. «Проклятая «амораловка»! — подумал я и стал шарить по карманам. Двухкопеечную монету я нашел, а вот найти исправный автомат оказалось значительно труднее: у одних были с мясом вырваны трубки, у других отсутствовали диски, третьи вообще напоминали вскрытые злоумышленниками небольшие настенные сейфы. Но работающий аппарат я все-таки нашел. Сначала он безвозмездно сожрал мою монету. Но при второй попытке соединил меня абсолютно бесплатно.

— Алло? — отозвалась она ровным голосом и почти сразу.

«Значит, одна», — подумал я.

У нее была странная манера: она никогда не отключала телефон и даже в моменты самого захватывающего крещендо, услышав звонок, выскальзывала из моих объятий и брала трубку. Но в такие минуты голос у нее был прерывистым и говорила она очень коротко и сухо: «Да. Скорее. Я занята...» А потом она возвращалась ко мне, смеясь: «Соскучился?»

— Алло?! — еще раз сказала она, и в голосе послышалось раздражение. — Говорите!

А что я мог сказать? Все, что возможно, я уже сказал, и это не помогло.

— Да что же вы молчите, черт подери!

Разумеется, она сказала далеко не «черт подери»... Вообще Анка очень вспыльчивая. У нее даже в наших литературных кругах одно время было прозвище «Верная рука». Это потому, что когда ей вдруг казалось, будто кто-то на обсуждении или просто за пьяным столом говорил нечто подлое или просто несправедливое, она тихонько отзывала его в сторонку и, ничего не объясняя, вкатывала звонкую пощечину. Сдачи ей, разумеется, не давали: во-первых, женщина, во-вторых, красивая женщина, а в-третьих, дочь самого Горынина!

Меня, кстати, она не ударила ни разу! Ни до, ни во время, ни после.

— Если это ты, — уже совершенно другим голосом сказала она, — то повесь трубку первым...

Я повесил трубку. И поехал домой. По дороге мое тело желаний совершенно обезумело: мне с большим трудом удавалось удерживать его на тугом астральном поводке, и таким образом я успешно избавил от самых разнузданных приставаний двух милых студенток и усталую домохозяйку с большой хозяйственной сумкой, из которой уныло свешивался зеленый лук. Наконец, почти у самого подъезда я чудом избегаю от опрометчивого и бесперспективного знакомства с немолодой, но юно намакняженной для вечернего выгула собаки дамой. Натягивая астральный поводок,

мое тело желаний обнюхалось с ее остриженным под ягненка пудельком и вернулось ко мне, разочарованное.

Войдя в квартиру, я, не раздеваясь, присел к столу. В машинку была заправлена страничка с напечатанными неделю назад словам:

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ШИННОГО ЗАВОДА

Глава первая

Шины для диктатуры пролетариата

Проведя пальцем, я обнаружил, что бумага покрылась тонким слоем пыли. За историю шинного завода я уже получил аванс и давно прожил эти деньги. Впрочем, точно так же мной были получены и прожиты авансы за статью для журнала «Пионер» о закаливании холодной водой, чего сам я с детства не выношу, за стихотворное приветствие учащихсЯ ПТУ съезду профсоюзов, за перевод поэмы Эчигельдыева «Весенние ручки созидания», за историю Кировской пионерской организации и еще за что-то. Я никак не мог заставить себя написать эту в общем-то плевую чепуху, ибо во мне уже несколько месяцев клубился, все сгущаясь, роман, настоящий роман, главный, «главненький», прочтя который Анка поймет все и примчится ко мне внезапно, ночью, навсегда! Собственно, для того и существует литература, чтобы женщина, прочтя, плачущая и полуодетая, примчалась к тебе ночью — навсегда. Но и за роман, за «главненькое», сесть я тоже никак не мог, ибо эта оплаченная поденщина не пускала, висела на душе чугунной гирей. Писать настоящую книгу, когда на тебе висит пионерское приветствие съезду профсоюзов, — то же самое, как, не залечив случайный триппер, добиваться благосклонности Прекрасной Дамы, которую искал всю жизнь...

Вот в таком крайне буридановом состоянии я и существовал последнее время, маясь между халтурой и «главненьким». Кстати, о «главненьком». Появление этого словечка тоже связано с Анкой. Был такой популярный в ту пору анекдот. Женщина, родившая тройню, показывает младенцев журналисту в той самой последовательности, в какой они появились на свет. Дети лежат в мокрых пеленках, плачут — просят титьку, а она представляет: «Это — мой старшенький. Это — мой средненький. Это — мой младшенький...» «А это?» — удивляется корреспондент, кивая на мужика, который лежит на полу в мокрых штанах и тоже плачет — просит бутылку. «А это — мой главненький!» Это словечко перешло сначала в наш альковский язык, а потом Анка стала величать «главненьким» и мой будущий роман...

В задумчивости я достал из портфеля бутылку «амораловки», взял маленькую коньячную рюмочку и налил граммов тридцать — не больше. Я был так расстроен, что забыл о предупреждениях Арнольда, забыл о навязчивых эротических видениях, забыл о дурацком споре со Жгутовичем, об исчезновении Витька, забыл обо всем — я налил себе совершенно автоматически, так профессиональный стрелок, даже будучи на пенсии, в задумчивости делает такое движение, точно передергивает затвор винтовки. Да, по вкусу действительно похоже на водку, куда уронили кусочек селедки, скорее всего иваси. Я выпил и несколько секунд

сидел, прислушиваясь к тому, как напиток пускает в меня свои бесчисленные живые, горячие, волнующие корни. Потом я, как сейчас помню, вздохнул и по-йоговски задержал дыхание... Внезапно у меня страшно закружилась голова, а в следующую минуту я увидел всю историю шинного завода с такой отчетливостью, что даже различил капли пота, выступившие на лбу директора этого краснознаменного предприятия, когда, отрапортовав с трибуны съезда победителей об успехах, он услышал медленные слова Сталина: мол, конечно, шинный завод хорошо работает, но было бы интересно узнать, почему же он не работает еще лучше. Я вдруг почувствовал, что мне остается самое малое — просто перенести внезапное озарение на бумагу.

6. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВИТЬКА

Телефонный звонок пробивался к моему сознанию долго и настойчиво, так спасатели пробиваются к погребенному под лавиной человеку. Наконец, не открывая глаз, я нашарил трубку и прижал к уху.

- Спишь? — спросил бодрый Жгутович.
- Сплю...
- Значит, я тебя разбудил?
- Разбудил...
- Ну и хорошо — времени уже второй час...
- Я до шести работал... Чего ты хочешь?
- Ничего. У тебя кухня сколько метров?
- Шесть. А что?
- Так. Спросить, что ли, нельзя?
- Можно...
- Маловато...
- Мне хватает...
- Все равно маловато. Не умеют у нас строить. А ты, кстати, знаешь, что, по некоторым сведениям, мasons, или вольные каменщики, восходят к строителям Иерусалимского храма? Улавливаешь?
- Что? — начиная просыпаться, уточнил я.
- Если б наши дома строили мasons, кухни были бы просторнее. Не говоря уже обо всем остальном!
- Тебя вчера жена тяжелым по голове не била?
- Ты что! Даже наоборот... У тебя, кстати, «амораловка» осталась?
- Нет, — соврал я, косясь на бутылку, где оставалось еще граммов восемьсот.
- Жаль. Между прочим, мasons очень большое значение придавали различным магическим напиткам...
- Стасик, что с тобой случилось?
- Ничего. Я просто вдруг подумал: а если ты выптраешь наше пари? Хотя, конечно, это невозможно, но я на всякий случай теперь решил перед сном читать страничку-другую из энциклопедии. Ты знаешь, безумно интересно. Подожди, я тебе сейчас про Тота Гермеса Трисмегиста прочитаю...

— Не надо мне читать про Тота Гермеса Трисмегиста! У меня нет времени... А про какое пари ты говоришь? — поинтересовался я, осторожно перебирая в памяти обмылки вчерашнего вечера.

— Привет! Это тебя, наверное, тяжелым по голове ударили. Мы же с тобой поспорили...

— О чем?

— Как о чем! О том, что ты сделаешь из Витька знаменитого писателя.

— Я?

— Ты. Если не сделаешь, то твоя квартира поступает в полное мое распоряжение... Забыл?

— Обижаетесь. А если сделаю?

— Тогда я отдаю тебе мою энциклопедию.

— Энциклопедию? А на фига мне твоя энциклопедия?

— Не знаю. Ты же спорил... Или ты передумал?

— Нет, не передумал. Просто уточняю детали, — ответил я, просыпаясь окончательно и вспоминая в подробностях вчерашний спор. — Если обещал, значит, сделаю... А где Витек?

— Это у тебя надо спросить. Он же с тобой оставался!

— Оставался. А потом исчез...

— Как это исчез? Что-то ты крутишь! — молвил Стас с тем презрительным разочарованием, которое я ненавижу больше всего на свете.

— Ничего я не кручу! Я как раз собирался его искать...

— Найдешь — перезвони мне домой.

— Почему домой?

— Жена, пока «амораловка» действует, отгул взяла и меня тоже отпросила. Сейчас за шампанским побежала. А как ты отработал?

— Пять глав, — гордо ответил я.

— У тебя кто-то и сейчас еще есть? — завистливо спросил измученный моногамией Стас.

— Почему ты так решил?

— Ну, выражаешься ты иносказательно: пять глав... Я только три успел, — расстроился Жгутович.

— Не горюй: на своем поле это очень хороший результат!

С трудом поднявшись, я побрел в ванную и долго стоял перед зеркалом, вглядываясь в свое бледное лицо и красные, воспаленные глаза. Вот влип! С таким же успехом я мог пообещать превратить Витьку в генсека. Больше всего в этот момент я был похож на лежавший тут же в мыльнице выдавленный тюбик пасты. Первым делом надо было срочно реанимироваться...

В Доме литераторов, куда я доковылял через час, уже во всю гудела благообразная дневная ресторанный жизнь: на спасительный огонек стягивались злоупотребившие ввечер труженики пера. О, я знаю по себе: пробужденные их было ужасно! Помимо неизбежной головной боли, тошноты, диабетической сухости во рту, их терзало чувство похмельной безысходности и вдобавок — чисто профессиональный ужас собственной бездарности и бесплодности. С самого утра они мучительно осознавали, что жизнь так и пройдет все, в злоупотреблениях, без больших художественных открытий. Но, доехав до ЦДЛ, по пути ошарашивая транспорт-

ную общественность тяжким духом вчерашнего удовольствия, они попали в мир себе подобных — а это уже легче. После нескольких рюмок водки, закушанных рыбной солянкой, где в золотисто-оранжевой лимфе плавают желтый полумесяц лимонной дольки, а с самого дна таращатся иссиня-черные маслины, жизнь постепенно начала наполняться смыслом, мысли обретают ясность и общечеловеческую направленность, а литературные образы теснятся в голове, как гости в лифте. И человек, который всего полчаса назад просто не хотел жить, уверенно теперь сидел за столом, и на лице его играла мудрая улыбка тихого победителя жизни.

Вторым делом я прошел в закуток к официантам, но Надюхи там не было. Мне объяснили, что она сегодня не появлялась, позвонила и сказала: на работу не выходит, потому что выходит замуж.

— За кого? — оторопел я.

— Какая разница, — вздохнула немолодая уже официантка Рита, уставшая от одиночества и чаевых.

— Если она завтра не появится, я ее даже посудомойкой не возьму! — добавила появившаяся в этот момент строгая метрдотельша.

Она-то после долгих уговоров и дала мне адрес Надюхи, жившей, как оказалось, в глухом спальном районе Москвы. Пробегаю через ресторанный зал, я краем глаза заметил вчерашнюю незнакомку, уныло пившую минеральную воду. Лицо ее было абсолютно неподвижно, ибо при малейшем мимическом колебании толстый слой грима мог осыпаться прямо в тарелку с солянкой.

Поколебавшись, я поехал по выясненному адресу. Хорошо, если Витек тоже забыл про вчерашний спор. А если нет? Обдумав по пути ситуацию, я решил так: используя все свое красноречие, убеждаю Витьку в том, что знаменитым писателем становиться ему не стоит. Потом звоню настырному Жгутовичу и сообщаю о нежелании Витьки участвовать в наших нелепых играх. Таким образом, я сохраняю лицо и выпутываюсь из дурацкого спора...

Дверь мне открыла древняя старуха, одетая в застиранную стройотрядовскую форму с нашивкой «ССО «Романтик-77». Переминаясь на пороге, я заглянул в глубь маленькой однокомнатной квартиры и увидел ту привычную бедность, которая копится всю жизнь, чтобы в конце концов прикинуться достатком.

— Здравствуйте! — сказал я.

— А?! — переспросила старуха.

— Здравствуйте!! А где Надя?!

— Уехала, слава Богу!

— А почему «слава Богу»?!

— А?!

— А почему «слава Богу»?!!

— Всю ночь спать не давали — как резаные... — И она показала рукой на комнату, где виднелась постель, истерзанная, точно в ней искали бриллианты.

«М-да», — подумал я.

— Всю ночь на кухне просидела, — жаловалась старушка. — Тоже молодыми были. И пообниматься любили. Но чего ж кри-

ком-то орать? Прошлый-то мужик у Надьки, хоть и пил, не в пример тихий был... А этот сущий варнак прямо-таки!

— А куда они поехали?!!

— К нему. В Мытищи. Замуж, сказала, позвал...

...Мне всегда казалось, что Мытищи — это маленький подмосковный городок с утками в обмелевшем прудике, с кринками на выбеленных временах штакетинах. Оказалось, это здоровенный город с дымящими трубами, эстакадами, колоннами маршрутирующих в баню солдат. Сойдя с электрички и оглядевшись, я понял, что, не зная Витькиного адреса, на худой конец хотя бы фамилии, отыскать его здесь будет невозможно.

Но я все-таки решил попытаться счастья и, выбрав в толпе мужика с шеей полиловее, расспросил его о дислокации мытищинских пивных ларьков. Конечно, в былые времена мне не хватило бы дня объехать все точки, но описываемые мной события происходят в самый разгар антиалкогольной горбачевской кампании, когда большинство ларьков и павильонов были перепрофилированы на торговлю квасом и соками, а те, что продолжали нести янтарный свет пива в массы, были крайне редки и общеизвестны, как синагоги в стране, где так долго и настойчиво боролся с антисемитизмом, что к власти в конце концов пришли юдофобы.

...Третий ларек располагался как раз в новом микрорайоне. Там шло бурное строительство и горизонт был заставлен ажурными силуэтами подъемных кранов. Очередь — человек в тридцать — состояла из строителей, одетых в припорошенные кирпичной пылью робы, пластмассовые шлемы и измазанные цементом бахилы — как раз такие, в каких был вечер Витек. Встав в конец хвоста и высказав задумчивые сомнения в свежести пива, я установил неформальный контакт с соратниками по ожиданию и втянулся в серьезный мужской разговор. Сначала поговорили о сравнительных качествах «Туборга» и «Хайнекен», о которых все участники обсуждения очень много слышали. Потом соскользнули на политику и пришли к единодушному заключению, что Мишка мужик в общем-то неплохой, хотя и с гнидовинкой, а вот его Раиса — очевидная бензопила «Дружба», хотя женщина, конечно, обстоятельная. Отстояв час, я наконец получил свою кружку мыльно вспененного пива.

— Моча-а! — жмурясь от наслаждения, подмигнул мне здоровый малый в красном пластмассовом шлеме.

— Определенно — моча, — согласился я, блаженно отдуваясь.

— А вчера совсем пить нельзя было! — сообщил он радостно.

— Ты местный?

— Угу...

И я спросил про Витьку. Он ответил, что отлично знает Витьку, конопатого чальщика, неделю назад выгнанного с работы за ссору с бригадиром.

— А где он живет? — оживился я.

— А вон в том доме...

На звонок дверь мне открыли, но беседовали со мной через цепочку. Сквозь узкую — сантиметра три — щель я мог разобрать лишь то, что это женщина и на голове у нее бигуди.

— Добрый день! — сказал я.

— Я Витькиных долгов не раздаю! — ответила она.

— Я не за долгом...

— А за чем? — испуганно спросила она, и дверь начала медленно закрываться.

— Подождите! Я из стройуправления. Хотим Виктора на работе восстановить.

— А удостоверение у вас есть?

— Конечно! — Я махнул перед щелью, сократившейся до сантиметра, писательским билетом.

— Восстановите! Он же не виноват! — раздался звон отстегиваемой цепочки, что в этом доме, очевидно, означало высшую степень доверия к гостю.

Дверь распахнулась на сантиметров пятнадцать — как раз на длину второй цепочки. Я увидел, что Витькина мать — еще сравнительно молодая женщина с белым круглым лицом, тонко выщипанными бровями и пышными формами.

— Вы уж восстановите! — снова попросила она. — Парень-то совсем с круга сбился. Дружки портят. Водка проклятая! А сегодня утром вообще какую-то шушундру в дом притащил. Жениться собрался. А где тут жениться на двадцати пяти метрах? У меня у самой хороший человек есть, непьющий, — так я же его в дом не вожу!

— А невесту Надюха звали?

— Зачем мне знать-то? Я, может, сама невеста!

— А куда ж они пошли?

— Мне-то что? Я так и сказала: к себе жить не пуцу. У меня тоже хороший человек есть... Пусть живут, где знают. С милым рай в шалаше... Так они, наверное, в шалаше!

...Возле шалаша сидел, грустно обхватив колени руками, Витек. Кругом валялись несчетные пустые бутылки, грубо испорченные консервные банки, обертки и огрызки, из чего можно было заключить, что в трудовые минуты в этом шалаше отлеживается пол-Мытищ. Витек печально смотрел на по-вечернему сгущавшееся небо.

— А где Надюха? — спросил я.

— Убежала, — грустно ответил он.

— Почему?

— Сказала, что не шалашовка какая-нибудь — по шалашам отираться...

— Правильно сказала. А ты потерпеть, что ли, не мог?

— Не мог! — с вызовом ответил Витек. — «Амораловка» проклятая! У меня внутри как помпа работает... А ты-то чего приперся?

— Прогуливался и решил тебя проведать...

— Меня тоже всегда с похмелья на воздух тянет, — сознался Витек. — Стремность какая-то в организме, а походишь — отпускает... Но ты вчера хорош был! В писатели меня заманивал. Помнишь хоть? Телок мне заграничных наобещал... Передумал?

— И совсем я даже не передумал, — внезапно возразил я. — Наоборот. Сегодня и начнем. Все у тебя будет — и деньги, и

загранка, и женщины в ассортименте. Но про Надюху забудь! Женщина — это не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с глазами. Это образ, стиль и уровень жизни. У тебя появятся такие женщины, что прохожие будут оглядываться и протирать глаза. Потому что есть такие роскошные женщины, на которых смотришь и не веришь, что кто-то их раздевает!

— Ага, а одевать я их буду на какие пиши?

— Не волнуйся. У тебя будет слава, а слава и деньги всегда рядом ходят, как алкоголизм и цирроз...

— Ага, а слава откуда возьмется? От сырости?

— Нет, не от сырости. Я тебе уже говорил: ты будешь знаменитым писателем! Твое имя будет греметь! Кстати, как твоя фамилия?

— Акашин...

— Жаль.

— Почему это?

— Непронзительная у тебя фамилия. Понимаешь, чтоб люди сразу запомнили, нужно или имя иметь необычное, например, Пантелеймон Романов, или фамилию почудней — Иван Чичибин, скажем... А у тебя ни то ни се: Виктор Акашин... Хорошо хоть не «Кашин». Но еще хуже, когда сразу и имя, и фамилия странные. Например: Фридрих Горенштейн. Ужас! С такими данными и в литературу соваться не стоит: читатель из принципа не запомнит. Я бы на твоём месте взял псевдоним...

— Чего?!

— Как твоё отчество?

— Семенович.

— «Семенов». Нет, пошло... А маму как зовут?

— Галина.

— «Галин». Нет, не годится. Не фамилия, а какой-то полиэтиленовый тюльпан... А если попробовать по названию города? Так часто делают. «Виктор Мытищин». Вообще кошмар... Ладно, оставайся Акашиным. Как-нибудь выкрутимся, сделаем из тебя писателя!

— Ага, а как я буду писателем, если я писать-то толком не умею? Не-е, ничего не получится...

Я медленно обошел вокруг Виктора. Сломал себе веточку и, прицелившись, срубил верхушку у крапивного кустика — х-х-эк!

— Ты меня вчера невнимательно слушал. Поэтому повтори все с самого начала. Допустим, ты не умеешь писать. А кто умеет? Кто?! Хемингуэй застрелился, когда понял, что он всеобщего раздуть критиками репортершкю. (Х-х-эк! — Я срубил еще один кустик крапивы.) Рембо в восемнадцать лет плюнул на стихи и занялся торговлей. (Х-х-эк!) Гоголь вообще понял, что ничего не умеет, и сжег «Мертвые души». (Х-х-эк!)

— А что же мы тогда в школе проходили?

— То, что осталось! Толстой по двадцать раз переписывал каждую страницу. Будет человек, который умеет писать, переписывать по двадцать раз? И ты считаешь, все они умели писать? (Х-х-эк!) И потом, писать тебе не придется. Ты будешь только говорить... Говорить ты, надеюсь, умеешь?

— Смотря о чем... Я же ничего не знаю.

— По крайней мере ты уже знаешь, что ничего не знаешь! Это очень немало! Те люди, которых ты вчера видел в Клубе, не знают и этого. (Х-х-эк!) Они способны лишь раздувать щеки и повторять десяток-другой заученных фраз. Этим фразам я тебя научу. Это пустяки. Через месяц о тебе заговорят. Через два — о тебе начнут писать... — Боясь, что Витек откажется от участия в нашем пари, я мобилизовал все свое красноречие. — Через три месяца тебя станут узнавать на улицах. Через четыре ты будешь летать на международные симпозиумы в Париж и Ниццу, ездить на собственном автомобиле и, как от мух, отбиваться от таких женщин, по сравнению с которыми твоя Надюха — пособие по сексуальной безработице! (Х-х-эк!)

Я огляделся и обнаружил, что прилично-таки выкосил на полянке крапиву. И еще я вдруг подумал, что черные черточки и пятна на белой коре стоявших вокруг берез не что иное, как не расшифрованная до сих пор письменность, и с ее помощью природа пытается рассказать нам что-то очень важное, но мы в нашей жалкой суеде не понимаем ее великодушного порыва. «Неплохо», — подумал я и решил приберечь эти соображения для «главненького».

Я снова подошел к Витьку.

— Ты все понял?

— Туда-сюда... Фифти-фифти.

— Витек, а ты случайно английским не владеешь? «О'кей» «Фифти-фифти»... А то давай, будем всем говорить, что ты сразу на двух языках пишешь, как Набоков?!

— Не-е, — засмутился Витек. — Это у нас на стройке студент подрабатывал. Я и запомнил...

— Ладно, тогда ограничимся великим и могучим русским языком. Но все это у нас с тобой получится, если ты будешь делать и говорить только то, что я скажу! Даже спать с теми женщинами, на которых я покажу!

— Нам однохренственно. А Надюха меня еще вспомнит!

— Согласен?

— О'кей — сказал Патрикей!

Я остановился, занеся прутик над маленьким нежно-салатовым крапивеночком. Мне вдруг стало жалко его.

— А теперь ты можешь мне задавать вопросы. Любые!

— Любые?

— Любые...

— А ты ведь мне вчера так и не ответил, на хрена тебе-то все это надо? — задумчиво произнес Витек. — Зачем тебе-то этот эксперимент?

— Мне?

— Тебе.

Я стоял и разглядывал трогательно-зубчатый, покрытый серебристо-стрекучими, похожими на младенческий пушок ворсинками крапивный кустик. Чтобы ответить на вопрос, я должен был бы рассказать Витьку про все. Про моего неведомого папу, про маму-машинистку, печатавшую за занавесочкой до глубокой ночи чьи-то кандидатские и докторские и верившую, что когда-нибудь перепечатает и мою диссертацию. Про то, как я сидел

перед операцией в ее душевной многолюдной палате, и она, уже зная, что никогда не будет печатать мою диссертацию, шептала бескровными губами: «По сорок копеек не соглашайся, по сорок копеек за страницу — дорого!» Я должен был рассказать о том, как с третьего раза поступил в университет и как меня любили однокурсники, сынки больших начальников, за то, что я в любое время суток мог сбежать за водкой. О том, как однажды после буйной вечеринки томная однокурсница, которая настолько мне нравилась, что я боялся дышать в ее сторону, попросила ее трахнуть, так как она никак не могла залезть от нашего общего приятеля, а ей очень хотелось за него замуж, ибо его папа трудился ректором института торговли. Я должен был рассказать о том, как я принес свою первую повестушку одному класснику на отзыв, он прочитал, похвалил и даже предложил напечатать ее под своим именем, выплатив мне пятьдесят процентов гонорара. Я проплакал целую ночь и согласился. Я должен был рассказать ему об Анке, о том, как она, прекрасная и хмельная, хотела вскрыть себе вены маникюрными ножницами, чтобы доказать свою любовь, а через два дня выпшвырнула меня из своей жизни, как надоевшего щенка... Я должен был рассказать ему еще тысячу разных — важных и неважных — историй, событий, случаев, без которых жизнь другого человека, других людей всегда кажется утомительной масовкой, фоном для твоей собственной жизни, единственной и неповторимой, нежной и трепетной, как вот этот маленький крапивный кустик. Я должен был рассказать, что, сделав из него полудурка, знаменитого писателя, я смогу доказать всему миру, но прежде всего самому себе, нечто неизмеримо важное, такое неподъемно важное, чего не в силах доказать никто. Даже Костожогов... Впервые в бездарной моей жизни я буду не пишущим холуем и даже не подмастерьем, а мастером. Да, Мастером! Не унылым бумагомарателем, сочиняющим полумертвых героев, а вседержителем, придумывающим живых людей! У меня получится. Не знаю как, но получится! Вот оно — мое «главненькое»! А «Масонская энциклопедия» Жгутовича в этом споре такая же никчемная дрянь, как позавчерашний трамвайный билет...

— Значит, ты интересуешься, зачем мне все это нужно? — весело спросил я.

— Ага.

— Не вари козленка в молоке матери его!

— Чего? — оторопел Витек.

— А это первая фраза из тех, что тебе придется запомнить!

И я не стал срубать прутиком бедненького крапивеночка, я просто каблуком вдавил его в замусоренную землю.

7. ОГОНЬ, ВОДА И ФАЛЛОПИЕВЫ ТРУБЫ

Когда я привез Витьку к себе домой, он совершенно ослабил действие «амораловки» закончилось. Я уложил его спать в чуланчик-кладовку, где всегда у меня готова раскладушка для заночевавшего гостя.

— Спи, — напутствовал я. — И пусть тебе приснится, как ты

гуляешь по Парижу с самой красивой женщиной. У тебя много денег. Ты знаменит. Спи!

— А можно я с теми же деньгами по Мытищам гуляю?

— Можно.

— О'кей — сказал Патрикей! — отозвался Витек и закрыл глаза.

Потом я решил повторить свой вчерашний трудовой подвиг, хотя в душе подозревал, что это было всего-навсего странным стечением психо-физиологических обстоятельств, наподобие того, как испуганный собаками прохожий вспрыгивает на дерево, откуда потом не может слезть. Я маханул граммов пятьдесят настойки, подождал, пока начнется действие — и соблазнительные мыслеформы слетятся ко мне, словно воробьи на горбушку. Потом, учитывая свой предыдущий опыт, глубоко вздохнул и по-йоговски задержал дыхание:

Владыкой стану мира я,

Лишь только сублимируя.

Однажды, немало лет спустя после описываемых событий, уже став популярным эпиграммистом, я выступал на товарищеском банкете участников съезда психоаналитиков, и там это двустишие имело грандиозный успех. В меня даже влюбилась знаменитая и достаточно хорошо для доктора наук сохранившаяся психоаналитесса, с которой сразу после банкета мы поехали ко мне домой. «Завоеватель! — шептала она всю дорогу, прижимаясь ко мне. — Мой копыеносец!» Мы приехали. Затем был краткий постельный официоз, пресный, как кумырская лепешка, а потом всю ночь она читала мне главы из своего исследования «Незаживающий шрам нарциссизма» и выпрашивала, что я, будучи мальчиком, чувствовал, когда мама обещала мне отрезать палец, если я по обыкновенной детской привычке совал его себе в рот. Больше мы не встречались...

Удивительно, но «амораловка» подействовала — в тот вечер я снова ощутил в себе необъятные творческие силы и снова история Шинного завода явилась моему внутреннему взору во всей своей дымной красе. Перед тем, как усесться за неизбежную халтуру, я мысленно наведалься к моему «главненькому», прошелся по его темным запутанным коридорам — так мысленно бродят по дому, который только собираются построить, бродят, уже зная, где будет кухня, где камин, где детская, а где альков. «Ждите! Я скоро!» — шептал я, оглаживая теплые стены. Наконец усилием воли я заставил себя вернуться из будущего дворца моего свободного вдохновения под закопченные и удушливые своды Шинного завода.

Я протрудился до утра, намолотив страниц сорок. Мог бы стучать дальше, но забодели подушечки пальцев, да и действие «амораловки» подходило к концу. Остатки воображения я решил посвятить Витьку. Пока я работал, мне приходили в голову различные идеи, как превратить его в знаменитость. Должен сказать, наша писательская действительность изобилует случаями, когда слава выбирает и возносит на своих перепончатых крыльях таких умственных заморышей, что просто хочется плакать. Над подобными случаями я много думал, стараясь разобраться в блуд-

ливом механизме внезапного, ничем не оправданного успеха, и кое-что понял... Прежде всего нужно придумать Витьку легенду, как разведчику. Писатели — люди патологически завистливые, они не могут примириться с тем, что рядом с ними, по тем же улицам и переулкам, бродит гений, который учился в соседней школе, а потом работал в соседней редакции. Примирить их с этим фактом способно лишь сознание того, что гений приехал в Москву черт знает из какой глубинки. А еще лучше: родился от колхозницы, собиравшей в лесу грибы и изнасилованной медведем.

Конечно, я понимал, что Витек пока не готов к квалифицированному изложению легенды, и рассудил так: если его будут спрашивать, откуда он, разумнее всего с улыбкой отвечать — «из фаллопиевых труб». Для особенно любопытных я придумал заснеженную красноярскую деревню Щимыги, образовав название, как вы заметили, с помощью перестановки слогов в родных Витькиных Мытищах, которые расположены слишком близко от Москвы, чтобы из них вышел хоть сколько-нибудь стоящий литератор.

Вторая важная проблема — экипировка. Ведь писатель не может быть одет, как рядовой инженер или учитель, ибо тогда сразу возникает законный вопрос, почему в этом случае он работает писателем, а не инженером или учителем. Конечно, проще всего было взять пример с дедушки Хэма — ковбойка, грубый свитер, джинсы, ботинки на толстой каучуковой подошве. Но по этому пути уже не первое десятилетие идут толпы графоманов всех рас и народностей, и тут легко затеряться. В задумчивости я распахнул мой платяной шкаф. Первое, что бросилось мне в глаза, — торчащая из кучи тряпья пятнистая штанина, похожая на фрагмент оголодавшей анаконды. Эти десантные брюки лет десять назад мне подарили в одной воинской части, где я читал стихи, посвященные Дню Советской Армии.

Я потянул за штанину, внимательно осмотрел пятнистые брюки и решил принять их за основу. Следующим был синий стеганый восточный халат, полученный в подарок от кумырского поэта Эчигельдыева, чьи стихи я переводил по подстрочнику. Разумеется, ни кумырского, ни какого другого тюркского, равно как и финно-угорского или романо-германского языка я не знал, но по подстрочнику можно переводить даже с древнеазотского языка, который, как известно, полностью утрачен. Делается это элементарно. Стихи переводятся на русский самим автором или специально нанятым умельцем. Выглядит это примерно так:

*У моей любимой щеки, как гранат,
Лицо, как молодая луна,
Тело, как свитки шелка,
Слова, как рассыпавшиеся жемчуга...*

Задача поэта-переводчика — следовать, конечно, не букве, но духу оригинала. Например, вышеприведенный подстрочник лично я перевел так:

*Нас с Зухрою луноликой
Ночь укроет повиликой...*

Помню, Эчигельдыев очень удивился, прочитав этот перевод

своих стихов в журнале, так как не знал никакой Зухры и уверял, что повиллика в Семиюртинске не растет, он даже не знает, как она выглядит. К тому же он обиделся, заявив, что восточные девушки в отличие от русских профурсеток по ночам где попада не падают, а сидят по домам. Однако халат он мне все-таки подарил... Поразмыслив, я отложил халат в сторону, ибо он придавал будущему имиджу Витька некоторую излишнюю ориентальность, что в мои планы не входило.

Но вот следующую вещь — черную майку с надписью «LOVE IS GOD» — я решил пустить в дело. Эту майку забыл у меня мерзавец Одуев, которому я за четвертак как-то сдал на две ночи квартиру: его родители, работавшие за границей, как раз в ту пору приехали на побывку, а у него вдруг закрутился роман с рыжей страшненькой американочкой, до такой степени горячо интересовавшейся судьбами социалистического реализма, что идиоту было ясно — помимо статей об эстетических тенденциях советской литературы, она пишет и аналитические записки для соответствующего отдела ЦРУ. Впрочем, как говорили древние, что внизу, то и наверху, — Одуев тоже наверняка сотрудничал с КГБ, в противном случае хрен бы он оказался в одной постели с представительницей чуждой идеологии. В те времена, о которых я рассказываю и которые у всех еще на памяти, такая поэтическая вольность могла еще закончиться печальным извием судьбы.

Я отложил майку и продолжил мои тряпичные раскопки. В самой глубине шифоньера, точно хищник, затаилась лохматая доха закарпатского пастуха. Эту доху я выменял за бутылку московской водки с завинчивающейся пробкой (большая редкость в тех краях), когда летал на Гуцульщину по командировке журнала «Среднее животноводство», где в молочном отделе работал знаменитый Любин-Любченко — теоретик авангарда и практик андеграунда. Иногда он подбрасывал мне работенку — интересные командировки, но совсем не за то, что я разрешал ему водить в мою квартиру женщин. Нет, не за то! Он водил в мою квартиру мужчин.

А та командировка незабываема: Карпаты есть Карпаты! Мы очень хорошо посидели с ребятами-пастухами у костра: они мне полупшепотом рассказывали про Большого Иванку — местного «снежного человека», воруящего у них овец. А я им — про московское метро. В моем рассказе их больше всего поразило, что если в турникет бросить не пять копеек, а пятнадцать, то он тебя в метро не пустит, хотя, казалось бы, ты переплачиваешь. А весть о чудо-автоматах, разменивающих любые монеты на пятаки, просто повергла пастухов в смятение. Уже засыпая, я слышал их удивленное шушуканье. Меня же поразили в их рассказе тот факт, что Большой Иванка таскает не только овец, но иногда и женщин. Более того, на гуцульском сленге «Большой Иванка» — это еще и ласково-уважительное обращение женщины к нежному и неутомимому мужчине.

Я положил доху на пол, присовокупил к ней остальное — десантные брюки, майку, — и получился довольно забавный сидуэт. Но что-то надо было делать с ногами и головой, без чего,

понятное дело, человек неполон. С ногами проще: я достал с антресолей пыльные малиновые полусапоги — их подарила мне Анка в пору нашего взаимного счастья, но они оказались мне великоваты, а Витьку должны были прийти впору.

С головой дело обстояло сложнее. Я уже было после долгих колебаний решил оставить Витьку простоволосым, но тут мне попала на глаза забытая как-то Анкой теннисная повязка с надписью «Wimbledon». Анка очень прилично играла в большой теннис. Впрочем, почему играла? Она и сейчас играет с разными выпендрилами из дипломатического корпуса, у которых на сияющих башмаках никогда не увидишь даже капельки грязи. Они мне напоминают ходячих мертвецов, не отбрасывающих тени.

Теннисная повязка достойно увенчала мои поиски: вся экипировка теперь лежала передо мной на полу, очень похожая на человека, по которому проехал асфальтовый каток. С одеждой вопрос был решен положительно. Как говорится, по одежке встречают... Но провожают, разумеется, не по уму, а по тому, что давно уже в нашем вывихнутом мире успешно заменяет ум, — по словам. Слова-то для Витьки мне и предстояло придумать. Я заправил в каретку машинки чистый лист бумаги и задумался: в голове ничего не было, кроме уже известной вам фразы про козленка в молоке, слышанной мной от Любина-Любченко.

На составление такого словарного минимума, с помощью которого начинающий гений мог бы свободно общаться с себе подобными, в обычном состоянии у меня могли уйти недели, если не месяцы, ведь этот золотой лексикон должен обнимать все оттенки мыслей и чувств, вбирать в себя весь культурологический космос и культурный хаос. Для удобства фраз должно быть не больше дюжины. Труднейшая задача! Но «амораловка», видимо, особым образом воздействует на те девяносто процентов нашего мозга, каковые, по уверениям ученых, спят как сурки, всю тяжесть интеллектуального труда спихнув на оставшиеся бодрствовать десять процентов. Вероятно, под влиянием «амораловки» эти «ленивые» проценты просыпаются и начинают вкалывать, как комсомол на строительстве БАМа.

Вскоре я уже бодро стучал по клавишам машинки:

ЗОЛОТОЙ МИНИМУМ НАЧИНАЮЩЕГО ГЕНИЯ

1. Вестимо
2. Обоюдно
3. Ментально
4. Амбивалентно
5. Трансцендентально
6. Говно
7. Скорее да, чем нет
8. Скорее нет, чем да
9. Вы меня об этом спрашиваете?
10. Отнюдь
11. Гении — волю
12. Не варите козленка в молоке матери его

Понятно, что пользоваться столь совершенным оружием общения, каким являлся мой лексикон, без инструкции Витек не смо-

жет. И, поразмыслив, напротив каждой фразы я нарисовал, как умел, по человеческой пятерне. Получилось что-то вроде азбуки для глухонемых: каждому выражению соответствовал определенный оттопыренный палец. Сначала, как говорят профессионалы, «задействовалась» правая рука:

- «Вестимо» — мизинец.
- «Обовдно» — безымянный палец.
- «Ментально» — средний.
- «Амбивалентно» — указательный.
- «Трансцендентально» — большой.

Далее эстафету принимала левая рука:

- «Скорее да, чем нет» — большой палец.
- «Скорее нет, чем да» — указательный.
- «Вы меня об этом спрашиваете?» — средний.
- «Отнюдь» — безымянный.
- «Генни — волы» — мизинец.

И, наконец, указательный и средний пальцы, выставленные «рожками», или, иначе говоря, буквой «V» (символ нашей с Витьком грядущей победы над силами литературного зла), обозначали двенадцатую фразу: «Не варите козленка в молоке матери его!». Наблюдательный читатель, конечно, уже заметил, что мной пропущено короткое словечко под цифрой «6» (см. «Золотой минимум»). Все верно! Это словечко в писательском обиходе, особенно при обмене мнениями о качестве произведений товарищей по перу, используется с наибольшей частотой и выразительностью. Чтобы оградить моего незамысловатого Витька, знающего это слово с малолетства, от соблазна свести все богатство «Золотого минимума» к 6-му пункту, я решил поставить на него своеобразную защиту, наподобие той, которую авиаконструкторы называют «защитой от дурака»: напротив соблазнительного словечка я нарисовал сразу две руки с двумя оттопыренными большими пальцами.

Работа была закончена... Но возбудившиеся девяносто процентов никак не хотели уgomониться, тогда я заправил в «Эрику» чистую страничку и, пользуясь остаточным действием «амораловки», стал добывать мох пинников. Последняя глава представляла собой душевную беседу с директором завода, которую мне пришлось сочинить от начала до конца, потому что диктофонная запись беседы с этим человеком являлась тяжким свидетельством неравной борьбы руководителя производства с синтаксисом русского языка и нормами литературного произношения. А вот на бумаге разговор получился острый, глубокий, искрометный, и в конце директор мне рассказал даже о том, что узоры на белой коре берез, растущих под окнами его кабинета, напоминают ему еще не расшифрованный язык мудрой природы, ведь она хочет докричаться до человеческой цивилизации, повернувшей свои рубчатые покрывки совсем не в ту сторону... Мне было не жалко! Для «главненького» я еще что-нибудь придумаю, краше прежнего!

Услышав за спиной сопение, я оглянулся: в дверях стоял полупроснувшийся Витек в длинных и цветастых трусах. В толстых пальцах он механически крутил кубик Рубика — эта разноцвет-

ная головоломка всегда лежала у меня в туалете, чтоб не давать восторжествовать тужащейся плоти над парящим духом. Сегодня кубик Рубика почти забыт, а в описываемое время этот гексаэдр с разноцветными гранями был чрезвычайно популярен. А еще в цветные квадратики я вписал весь алфавит, и при вращении буквы складывались в замысловатые словечки. Как известно, даже самое нелепое буквосочетание что-то да означает. «Абракадабра», например, по-древнееврейски значит: «Мечи свою молнию даже в смерть!»

— Трансцендентально! — воскликнул я. — Так и будешь ходить!

— Чего? — оторопел Витек.

— Трансцендентально — это очень хорошо... Вот так и будешь теперь ходить с кубиком. А если кто-то спросит, зачем тебе он, ответишь: «Ищу культурный код эпохи...» Повтори!

— И-ищу к-культурный код э-э-эпохи... — неуверенно повторил он.

— Не хмурься! Улыбнись!

Витек озарился светлой улыбкой идиота, которому пообещали купить мороженое.

— Нет, не так! Ты не так должен улыбаться.

— А как?

— Как? — Я задумался. — Как...

В этой улыбке должны воссоединиться горечь бытия, мед воспоминаний, дерзость сердца и усталость души... Как? Я улыбнулся так, как мы улыбаемся, если на улице вдруг встречаем женщину, в которую когда-то были безумно влюблены, а теперь увидели ее расплывшейся, увядающей домохозяйкой с набитыми сумками в руках и гирляндой из рулонов туалетной бумаги через плечо.

— Понял?

— Вроде понял, — кивнул Витек.

После нескольких попыток у него получилось нечто подходящее. И тогда я приказал ему одеться.

— В это? — обиделся он. — Я не шаромыжник...

— Да, в это! Одевайся!

Он напялил на себя разложенную на полу одежду — и эффект превзошел все мои самые смелые ожидания: передо мной стояла живая загадка русского национального характера и, тихо матерясь, разминала тесноватые сапожки.

— Разносятся, — успокоил я.

Обойдя Витька со всех сторон и поправив на лбу алую ленточку с надписью «Wimbleton», я отошел на несколько шагов и еще раз осмотрел Витька, щурясь и складывая губы гузочкой, как это делают на вернисажах некоторые посетители, подчеркивая таким образом свою причастность к миру искусства.

— Вращай кубик! Энергичнее! Ментально...

— Насмехаешься, — помрачнел Витек. — Знаешь, я не хочу быть писателем. Я лучше назад... Бригадир — мужик отходчивый — возьмет. И Надюха тоже вроде не злопамятная...

Еще вчера утром я бы с восторгом воспринял этот Витькин отказ. Но сегодня нет! Я успокоюсь только тогда, когда вся эта

литературная сволочь будет лебезить и заискивать перед простодушным чальщиком, которого я снарядил в гении!

Взяв со стола листочек с лексиконом, я протянул его Витьку:
— Учи слова!

Он принял страничку и, медленно шевеля губами, начал читать по пунктам, оттопыривая при этом указанные в бумажке пальцы.

— Понял систему? — спросил я.

— Вроде понял...

— Давай проверим!

Я показал ему правый мизинец.

— Вестимо, — сказал он.

Я показал ему левый указательный палец.

— Скорее нет, чем да, — неторопливо сверившись с бумажкой, ответил он.

— Хорошо! Но, учти, это я сейчас тебе пальцы к самому носу подставляю. При посторонних я буду делать тебе знаки незаметно. Знаешь, вроде как поигрывая пальцами. — Я сел на диван в непринужденной позе и, похлопывая ладонью по подушке-думочке, неожиданно выставил правый большой палец.

— Транс... — скосив глаз в бумажку, забормотал Витек, — транс... детально...

— Транс-цен-ден-галь-но, — по слогам подсказал я.

— Транс... транс... дентентально...

Через полчаса он выговаривал это слово так, точно окончил Оксфорд.

— Молодец! Просто молодец! — подбодрил я. — Но, учти, ты должен все это делать без шпаргалки, на память...

— О'кей — сказал Патрикей! — кивнул он.

— А как тебе вообще моя система? — с плохо скрытой гордостью спросил я.

— Говно! — не глядя в лексикон, бухнул Витек.

Я взвился с дивана:

— Запомни раз и навсегда! Это слово ты никогда не должен произносить без команды. Никогда! Команда — два больших пальца! Не один, а два. Запомни! Порепетируем. Допустим, тебя кто-то спрашивает: «Виктор, а как вы относитесь к прозе Чурменияева?» — сказав это, я резко выставил вверх два больших пальца.

— Говно! — ответил Витек, почему-то произнося «г» на украинский манер, отчего слово звучало еще обиднее и неприличнее.

— Молодец! — похвалил я и медленно повернул пальцы вниз.

— А это что значит? — спросил он.

— Так римляне приказывали гладиаторам добить жертву. Но это можешь не запоминать — тебе не понадобится. Иди мой руки, будем завтракать!

8. КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ

На следующий день я повез экипированного и обученного Витьку в Дом литераторов. В метро пассажиры оглядывали Ака-

пина с недоумением, из этого я сделал вывод, что одел моего воспитанника именно так, как надо!

Если вы спуститесь в московское метро и доедете до станции «Баррикадная» (революции нужны хотя бы для того, чтобы давать названия станциям и площадям), а потом, поднявшись наверх по эскалатору и оказавшись в городе, повернете налево и пересечете ревущее, пропахшее выхлопными газами Садовое кольцо, то очутитесь возле массивных дверей, выполненных в министерском стиле 50-х годов. Во время описываемых событий рядом со входом была укреплена табличка:

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ИМЕНИ А. А. ФАДЕЕВА

Кстати, первый раз меня провел в Клуб Костожогов, но я только потом узнал, что это был именно он. Я маялся возле дверей и вдруг услышал вопрос:

— Хотите пройти?

Вопрос задал невысокий человек, одетый с той аккуратной заурядностью, которая забывается через минуту. Впрочем, нет, одна деталь осталась в моей памяти: у него был вытершийся кожаный портфель с ручкой, обмотанной синей изоляционной лентой...

— Нет, я жду друга! — самолюбиво ответил я.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. У него было очень странное лицо — пергаментное, нездоровое, покрытое бесчисленными, очень мелкими и как бы ломкими морщинами. Это было лицо ребенка, вдруг узнавшего какую-то страшную тайну и под бременем этой тайны внезапно постаревшего. А вот глаза не состарились и остались яркими-преярыми. Я долго потом не мог понять, кого же он мне напоминает, а потом сообразил. Когда я был школьником, мы ездили с классом в Ленинград и там ходили в Кунсткамеру. Меня страшно поразил заспиртованный в огромной стеклянной банке младенец, у него тоже была серая, почти обесцвеченная, пугающе неживая кожа и широко раскрытые, абсолютно живые, яркие-преярыкие голубые глаза... Этот младенец потом мне долго снился.

— Да ладно вам, — продолжая улыбаться, сказал Костожогов. — Пойдемте!

Администраторша, увидав меня, бдительно напряглась.

— Это со мной! — пояснил Костожогов.

— Вижу! А вы-то кто такой? — сварливо спросила она.

— Я? А, ну, конечно... — Он стал, растерянно улыбаясь, шарить по карманам. — Неужели забыл...

На физиономии администраторши уже начало вырисовываться торжество вознагражденной бдительности, но тут Костожогов нашел свой писательский билет.

— Проходите, — разочарованно разрешила она.

Мы вошли.

— Редко бываю. В лицо не узнают. Забыли... — словно извиняясь, объяснил он. — А вы первый раз здесь?

— Да.

— Кофе хотите?

— Хочу.

Он посадил меня за столик, отошел к буфетной стойке и вернулся через некоторое время, неся бутерброды и поставленные на тарелку четыре кофейные чашечки: в двух был действительно кофе, а в двух других — коньяк.

— Угощайтесь!

Я выпил, Костожогов пригубил.

— Ешьте бутерброды,— посоветовал он, заметив мое смущение.— Стихи пишете?

— Да.

— Дело хорошее. Чтоб научиться читать, надо обязательно попробовать писать самому. Хотите почитать?

— Хочу! — с вызовом сказал я.

— Читайте...

Минут сорок я, по-дурацки завывая, читал стихи, а он слушал не перебивая: в неудачных местах улыбался с каким-то совсем необидным сочувствием, а в удачных — вдруг на миг поднимал на меня свои яркие-преяркие глаза, а потом снова упирался взглядом в стол. Наконец я закончил и вопросительно посмотрел на него.

— Недурно. Вы человек способный. Но это ничего не значит. Дорога в ад вымощена не столько благими намерениями, сколько талантами. У человека, обладающего талантом, два пути — он может стать или подмастерьем Дьявола, или подмастерьем Бога. Первое проще и доходнее. Второе — почти невозможно. И очень опасно. Выбирайте!

— А третьей дороги нет?

— Есть, конечно... Не писать.

— А талант, значит, зарыть? — надменно полюбопытствовал я.

— Вы никогда не задумывались, почему самые красивые женщины уходили в монастырь?

— Почему?

— Потому что лучше зарыть талант в землю, чем распорядиться им неверно. Каждое неверное слово — это пуля, выпущенная в чужое сердце. Когда писатель это осознает, он иногда берет револьвер и стреляет в свое собственное сердце... Ну, не расстраивайтесь! Я, наверное, немного сгустил... Вы сюда часто ходите?

— Первый раз.

— Извините, я, кажется, уже спрашивал об этом. Не ходите сюда больше! По крайней мере до тех пор, пока не поймете, у кого вы хотите быть подмастерьем...

— А вы поняли?

— Понял. Но не сразу. Я очень долго соблюдал нейтралитет. Пытался. Но это долгая история... Если интересно, заезжайте как-нибудь ко мне в Цаплино. Я работаю в сельской школе. Представляете — деревянная, одноэтажная школа, у нас даже звонка нет. Когда наступает перемена, завхоз звонит в большой колокольчик. А возле школы огромный вяз, к которому французы привязывали лошадей, когда шли на Москву... Представили?

— Неужели еще есть такие школы?

— Есть. Приезжайте!

Он вынул из портфеля тонкую ученическую тетрадку, вырвал

листок, написал адрес. Потом встал, пожал мне руку и ушел. Несколько минут я сидел в одиночестве. Потом ко мне подошел странный человек в лоснящейся замшевой куртке и, не отрывая взгляд от не допитого Костожоговым коньяка, спросил:

— Вы вновь присовокупившийся?

— Скорее да, чем нет... — растерянно ответил я, не совсем понимая вопроса.

— Поспособствуйте коньячком!

Позже я навел о Костожогове справки и выяснил, что в юности он написал знаменитую поэму об обороне Царицына, в которой участвовал Сталин. Вещица удалась и была сразу включена в школьную программу. Автор получил за нее Сталинскую премию и орден. В старых учебниках под портретом так и написано: «Н. Костожогов, поэт-орденоносец». Он был знаменит, богат и страшно плодовит. Его стихи без конца издавали, переиздавали, читали с эстрады, по радио, клали на музыку... Его дача в Перепискине была самой большой, богатой и хлебосольной. Женат он был на популярной киноактрисе, игравшей в тогдашних фильмах боевых деревенских девушек, которые по ходу сюжета становились то певицами, то летчицами, а то и председательницами колхозов. Рассказывали, что ее порекомендовал ему в жены сам Сталин, предварительно удостоверившись в ее всевозможных положительных качествах. И вдруг Костожогов исчез. Сначала вообще думали, что его посадили. Но потом выяснилось: нет, он просто однажды утром ушел со своей перепискинской дачи с чемоданчиком белья и связкой книг и обнаружился через некоторое время в глухом Подмоскowie в качестве обыкновенного учителя литературы цаплинской сельской школы. Это классик-то!

Тогда возникла версия, будто он застал свою жену то ли с самим вождем, то ли с кем-то из членов Политбюро, а жена вместо рассказа, как говорится, рассмеялась ему в лицо. Ничего невероятного в этой версии, конечно, нет, тем более что как раз накануне Костожогову ни с того ни с сего вlepили еще одну Сталинскую премию. Но имеется все-таки некая странность: жена очень переживала его уход, ездила к нему в Цаплино, умоляла вернуться, а когда он отказался — с горя зашла, перестала сниматься и через несколько лет умерла. В опустевшую дачу въехал сначала какой-то песенник, а потом — Горьнин, как раз прошумевший своим романом «Прогрессивка». Потом о Костожогове стали говорить то, что обычно всегда говорят о литераторе, вдруг переставшем печататься, — «исписался». (Как будто писатель — это стержень от шариковой ручки!) Но вдруг в каком-то неприметном журнальчике появился его маленький рассказ о деревенской жизни, такой по тем временам необычный и вызывающе честный, что, несмотря на неприметность журнала, публикация вызвала целый шквал разгромных статей, а закончилось все снятием с должности главного редактора. Костожогова хотели сначала исключить из Союза писателей за клевету на советское село, даже термин такой появился — «костожоговщина», но потом пошел слух, будто писатель из-за жизненных обстоятельств попросту тронулся умом, и его оставили в покое. С тех пор он нигде не печатался и только изредка, раз или два в год, появлялся в ЦДЛ. Говорили, он

приезжал на могилу жены, похороненной на Новодевичьем, и по старой памяти заглядывал в Клуб. Видимо, в один из таких приездов я его и встретил.

Честно говоря, разговор с ним произвел на меня такое сильное впечатление, что я решил последовать его совету: перечитал свои стихи и даже сжег больше половины. Я как раз собирался поехать к нему в Цаплино и своими глазами увидеть звонящего в колокольчик завхоза и вяз, к которому французы привязывали лошадей, но тут возникли какие-то дурацкие дела, потом обрушилась очередная чудовищная Анкина измена, а затем я просто потерял бумажку с адресом, наверное, выронил где-нибудь...

Одно время в Дом литераторов мне помогал проходить посещениям мою гостеприимную квартиру знаменитый менестрель-шестидесятник Перельгин, исполнявший свои баллады не под гитару, как другие, а под виолончель, каковую всегда носил с собой. Как мы любили его баллады:

Принцесса вздохнула: ну, что же вы!

Принцесса вскричала: ну, что же вы!

Принцесса взмолилась: ну, что же вы!

Такой неуклюжий и кожаный...

Когда мы в университетской общаге под гитару вполголоса пели эту балладу, то чувствовали себя страшными вольнодумцами, чуть ли не антисоветчиками, ибо отлично понимали, кого автор имеет в виду под «зеленоглазой егозой принцессой» и «как черт кудрявым комиссаром с большим наганом на боку». Перельгин, между прочим, был племянником наркома Первомайского, погибшего вместе с командармом Тятиным при странных обстоятельствах в 38-м году. Их автомобиль упал в Язу.

Впрочем, особое уважение мыслящей общественной прослойки замечательный менестрель снискал не виолончельными балладами, а совсем другим способом. Когда Хрущев однажды вызвал к себе советскую творческую интеллигенцию и стал на нее кричать, топая ногами, у Перельгина на нервной почве случилось расстройство желудка: ему казалось, Хрущев гневно смотрит и орет конкретно на него. Менестрель стремглав выскочил из зала, что было воспринято потаенной общественной мыслью как безумный в своей отваге протест против грубого вмешательства партии в художественно-творческий процесс. А Хрущев даже крикнул ему вдогонку: «Ага! Ну и вали к своим империалистам!» Об этом смелом поступке отважного менестреля писала тогда вся западная пресса. Потом, конечно, Перельгин в длинном покаянном письме в ЦК объяснил подлинную причину своего выбегания из зала — и был прощен. Но об этом мало кто знал, а слава осталась...

Однажды Перельгин надолго уехал за границу — петь и читать лекции; проводить меня в писательский клуб стало некому. Тогда я отрастил бородку-шотландку и стал канать под корреспондента Би-би-си: на ломаном русском языке объясняя, что должен...well...взять интервью...well...у одного писателя... o'key? Называл я обычно фамилию того, чьи главы или заявления недавно читались по радио «Свобода»: за этим я специально следил. В глазах у старушки, которая тоже, конечно, слушала радио

«Свобода», вспыхивал огонек неистребимого русского инакомыслия, и, заговорщицки подмигнув, она меня пропускала. Это продолжалось довольно долго, пока не появилась одна новенькая старушка, до пенсии преподававшая в школе английский, как потом выяснилось. Она очень обрадовалась возможности освежиться, общаясь с природным британцем, и обратилась ко мне на языке великого Шекспира. Но я, не знавший в ту пору английский вообще, несколько секунд растерянно хлопал глазами, а потом, сообразив, завопил: «Это есть провокация! Well... Вы из кей-джи-би!.. O'key!» И убежал...

Впрочем, вскоре у меня уже появился свой собственный писательский билет. Я получил его благодаря Анке, точнее, благодаря ее отцу — Николаю Николаевичу Горынину, автору знаменитого, вошедшего во все учебники, антологии и переведенного на все сущие языки романа «Прогрессивка» — так в шестидесятые годы называлась премия, выдававшаяся трудящимся за перевыполнение производственного плана. Я уже точно не помню сюжета, но кажется, там шла речь о том, как рабочие, возмущенные тем, что руководство не желает модернизировать производство, но составляет липовые отчеты о несуществующем росте производительности труда, сначала отказываются от очередной прогрессивки, а потом, поорав, поорав, деньги берут, складываются и покупают на них новый станок с цифровым управлением. С таким же успехом они могли купить и баллистическую ракету. Но на эту невероятную в условиях системы жесткого распределения ресурсов развязку никто не обратил внимания, ибо у социалистической организации производства свои законы, а у искусства социалистического реализма — свои.

По роману «Прогрессивка» было снято два фильма, поставлена куча спектаклей, опера, оперетта, балет и мюзикл. Горынин постоянно ездил за границу — туда, где выходил очередной перевод романа, осуществленный каким-нибудь прогрессивным издателем, симпатизировавшим, разумеется, не задаром, Стране Советов. Он получил с полдюжины премий «За оригинальность темы» — в основном в тех странах, где проблема производительности труда совсем ушла из поля зрения художников слова, сосредоточившихся в своем большинстве на сексуальных аномалиях криминального характера.

Больше Николай Николаевич ничего не написал, если не считать передовых статей и докладов: он был третьим лицом в Союзе писателей, и у него просто не оставалось времени, так как руководство литературным процессом — дело трудоемкое и чрезвычайно нервное. Думаю, руководить табуном мустангов, мчащихся по прерии, намного легче. Он ездил на черной персональной «Волге» и был на «ты» с ответработниками ЦК партии, включая видного идеолога Журавленко. Сосредоточенный на руководстве литературным процессом, о наших с Анкой отношениях Горынин не имел никакого представления. И вот однажды, засидевшись допоздна в ресторане, мы поехали не ко мне, как прежде, а к ней. Она сказала, что родители на даче, а в отцовском домашнем баре — полно выпивки. Анка обожала вести долгие разговоры о смысле взаимоотношений двух полов, сидя со мной в

горячей ванне — там нас и застал Николай Николаевич, случайно заехавший домой. Когда он открыл дверь ванной комнаты, мы ныряли...

— Моешься, дочка? — спросил он, не замечая меня, словно я был большой губкой, изготовленной в форме голого мужчины.

— Уже выхожу, папа! — невинно ответила она, нехотя вылезла из ванны, накинула халатик и отправилась следом за отцом.

Лежа в теплой, пахнувшей хвоей воде, я слышал весь их дальнейший разговор, так как дверь была прикрыта неплотно.

— Я же просил — домой не таскать! — устало возмутился отец. — В доме столько дорогих вещей!

— Извини, папочка. Мы заехали выпить...

— Ты же обещала не пить!

— Прости, папочка, мы чуть-чуть...

— Коллекционное бордо не трогали?

— За кого ты нас принимаешь?

— Знаю, за кого... Шабли 68-го года в прошлый раз кто выдул?!

— Ты же знаешь, мы по ошибке...

— По ошибке... Что хоть за парень?

— Знакомый...

— Ну, хоть знакомый в этот раз — уже легче... Просто так или серьезно?

— Вроде серьезно...

— Тогда знаком!

Мне пришлось вылезти, обернуться большим полотенцем и представиться.

— Где-то я тебя, парень, видел? — задумался Горынин.

— В Доме литераторов. Я поэт.

— Ну да — у нас теперь любой, кто хоть раз до блевотины в Доме литераторов нажрался, — поэт. В наше время не так было...

— Папочка, в ваше время нужно было нажраться два раза, — заметила Анка.

— А-а-а! — махнул рукой отец. — Все бы вам насмешничать! Донасмешничаетесь когда-нибудь, плакать захочется... Печатались хоть где-нибудь, поэт? — Он пренебрежительно глянул в мою сторону.

— У него даже книга вышла! — важно сообщила Анка.

— Книга? — Николай Николаевич был искренне удивлен, потому что ни разу не водил в мою квартиру девочек. — Книга... Ишь, пулеметчик какой! Тогда давай к нам — в Союз писателей!

— У меня заявление не приняли.

— Почему?

— Сказали, одной книги маловато.

— Что значит маловато — у меня тоже одна книга. И у Рабле — одна! И у Гомера. Нет, у Гомера — две... Ишь, буквоеды — одна книга... Не переживай — проконтролируем. Ладно, я поехал... Плещитесь! Мы тоже с женой поплескались, поплескались, а потом и зарегистрировались.

Через две недели я получил новенький, пахнувший краской писательский билет и побежал хвалиться к Анке.

— Поздравляю! — сказала она. — Но я больше люблю безбилетников...

Вскоре она выпшвырнула меня из своей жизни, как надоевшего щенка.

9. ПЕРВЫЙ БАЛ ВИТЬКА АКАШИНА

В Дом литераторов я провел Витька, небрежно взмахнув перед носом бдительной администраторши своим новеньким писательским билетом, который долговечности ради обернул тонким целлофаном.

— Это со мной!

— Издалека, наверное? — спросила старушка, уважительно оглядывая странно одетого парня.

Я показал незаметно ему правый мизинец, и Витек довольно точно ответил:

— Вестимо...

Не зря я тренировал его почти два дня!

На пороге ресторана Витек заробел: в прошлый раз зал был переполнен, скрыт в клубах табачного дыма, вибрировал от пьяного гула. Злые официанты с тяжеленными подносами, шипя на попадающих под ноги посетителей, металась по залу, как куски масла по раскаленной сковородке. Другое дело сейчас: почти безлюдно, если не считать нескольких занятых столиков, где чинно шелестят серьезные разговоры.

Мы сели. Я продолжал внимательно изучать зал, проверяя первую реакцию на наше появление. На почетном месте, возле камина, обедал с двумя иностранцами Чурменев и, судя по доносившимся обрывкам разговора, втолковывал им весь кошмар существования художника в условиях тоталитаризма. Заметив нас, один из иностранцев удивленно задрал брови, но в ответ Чурменев бросил что-то пренебрежительное.

Неподалеку от автора «Женщины в кресле», полуприкрывшись свежим номером «Литературного еженедельника», с профессиональной чекистской рассеянностью пил минеральную воду плечистый парень из «наружки».

В другом конце зала дрожащими вставными челюстями пережевывала салат «оливье» знаменитая Ольга Эммануэлевна Кипяткова. Если составить антологию стихотворений, которые посвятили Кипятковой добивавшиеся ее расположения поэты, то это будет увесистый том. Впрочем, если составить том из стихотворений поэтов, добившихся ее расположения, выйдет двухтомник. Любопытно, что с возрастом ее интерес к молодым мужчинам не исчез, а лишь прихотливо видоизменился, о чем в литературных кругах ходили возбуждающие слухи. Приметив нас, она бросила на Витьку туманный взгляд заждавшейся морячки.

Ближе к проходу старательно обедала известная литературная семья Свиридоновых. Это была абсолютно замкнутая эстетическая система: отец сочинял бесконечные романы, нудные, как завывание ноябрьского ветра. Жена писала на них восторженные рецензии под псевдонимами. Сын, драматург, делал инсценировки по этим романам и осаждал театры, требуя немедленной

постановки. А заневестившаяся дочка, белесая оплошность генетики, обложившись словарями, переводила эти романы на основные зарубежные языки и рассылала по западным издательствам. Вся семья поглядела на Витькину майку с надписью «LOVE IS GOD» с таким откровенным равнодушием, что не оставалось никаких сомнений: дома вечером на семейном совете наше появление будет подвергнуто самому тщательному и всестороннему обсуждению.

Неподалеку от них широко обедал писатель Медноструев — бородатый человек в хромовых сапогах и тонких золотых очках. Он встретил наше появление тяжким взором, полным неизбывной обиды за обманутый еврейми доверчивый русский народ, и даже сплюнул через левое плечо.

Заметил я и Закусонского, но он только глянул на нас и пренебрежительно отвел глаза, как опытная путана отводит глаза от задыхающегося пузанчика, с елкой на плече торопящегося домой.

Наконец, за резной колонной ответственно питались двое: Николай Николаевич Горынин (в своих недавно отпущенных бакенбардах и массивных импортных очках он напоминал ученого енота) и рядом с ним — видный партийный идеолог Журавленко, худой, востроносый человечек, похожий на честного ревизора из нудного советского теледетектива, где самое страшное преступление — ограбление сберкассы.

Тем временем Чурменьев довольно громко рассказывал зарубежным коллегам о новом течении в русской поэзии — «контекстуализме», главный эстетический принцип которого сформулировал знаменитый Любин-Любченко: «Каков текст — таков контекст». Это новое дерзкое направление каждой строчкой, каждой рифмой, каждой метафорой бросало непримиримый вызов советской действительности. В качестве подтверждения Чурменьев нарочито громко, злоумышленно поглядывая в сторону обедавшего начальства, продекламировал известные строки Одуева:

Как ныне собирается Вещий Олег

К сиястой хазарке на буйный ночлег!

Николай Николаевич и идеолог Журавленко многозначительно переглянулись, на их лицах мелькнуло сложное чувство, его, несколько упрощая, можно выразить так: разрешат — убьем, а пока живи, гаденьш! Плечистый кагабэшник вынул из кармана пачку сигарет, в которой, вероятно, был спрятан магнитофончик.

Вопреки моим ожиданиям особого внимания никто на нас не обращал — не помогал даже вызывающий наряд Витька. Но тут, к счастью, появился обходчик Гера. Говорят, много лет назад его привел в ЦДЛ Михаил Светлов. Они познакомились в очереди за вином, разговорились, и Гера пожаловался на ужасное самочувствие и даже высказал опасение, доживет ли до конца очереди. А все потому, что вчера он умудрился смешать в своем бедном организме: портвейн, водку, красное сухое, коньяк и тройной одеколон... «Разве можно мешать напитки!» — изумился Светлов. «Я эклектик», — грустно молвил Гера. Этот ответ привел знаменитого остроумца в восторг, он потащил нового знакомого в Клуб, всем его представлял и восторженно пересказывал их диалог в очереди за вином. С тех пор они не расставались, но Светлов к

тому времени был уже неизлечимо болен и грустно шутил с официантками: «Принеси-ка ты мне, голубушка, пива, а вот раков не надо, рак у меня уже есть». Он вскоре умер, но Гера так и остался существовать при ЦДЛ, как приبلудный кот, который вроде бы никому не нужен, но и выгнать жалко — привыкли... Жил он тем, что ежедневно медленно и печально обходил ресторанные столики, останавливаясь возле каждого и спрашивал бесцветным голосом: «Жрете, яствоеды?» При этом он смотрел на стол с таким выражением, будто имел серьезное намерение плюнуть в тарелку кому-нибудь из трапезующих. Ему тут же наливали, намазывали бутербродик, бегло интересуясь здоровьем и прочими совершенно неинтересными мелочами. Гера молча принимал дань, выпивал, закусывал и, смягчившись, отходил от стола, бросая вполне дружелюбно: «Благодарствуйте, чревоугодцы!» Кроме всего прочего, Гера был переносчиком новостей.

Осмотрев зал, он, как я и предполагал, двинулся в нашем направлении: официант к тому времени уже принес нам триста водочки, селедку с отварной картопечкой, копченый язычок и тарталетки с чесночным сыром. Пока он расставлял все это, я заказал еще то же самое и для Геры. Прикинув будущий счет, точнее — «приговор», я решил, что если оставлю свои «командирские» часы в экспортом исполнении под залог, то уйти удастся без скандала. Особенно меня это не беспокоило, так как за историю Шинного завода мне кое-что причиталось, а до этого можно было попытаться урвать в правлении материальную помощь. Огорчало другое: часы мне дала Анка после той первой ночи, которую мы пробезумствовали, точно два погибающих мотылька, нанизанных на одну сладостно-смертельную булавку. Анке же часы достались от отца, который, в свою очередь, получил их в подарок от командира Таманской дивизии, где его роман «Прогрессивка» знали и любили. На тыльной стороне была выгравирована петлистая надпись: «ОТ БЛАГОДАРНОГО ЛИЧНОГО СОСТАВА». Принимая утренний подарок от Анки, я вспомнил, что уже видел именно эти часы на запястье у сына идеолога Журавленко. Он собирался в длительную заграничную командировку в Лондон, а Анка собиралась за него замуж и спешно доучивала английский. «Жизнь дается только один раз, и прожить ее нужно там...» — любила говорить она. Но однажды во время наших шумных цэдээловских посиделок, буквально за неделю до свадьбы, Анка вызвала из-за стола журавленковского сынка, который неудачно сравнил «Прогрессивку» с «Тропиком рака», и отвела его за угол.

Вернулся он с отбитой щекой и без «командирских» часов. В тот вечер Анка уехала со мной...

...Гера подошел и уставился на закуски.

— Жрем! — не дожидаясь вопроса, признался я. — Садись!

— Не имею подобного обыкновения, — глухо ответил Гера — с некоторых пор он почему-то стал изъясняться в стиле начитанного русского мастерового начала века.

— Да ладно, пообедай с нами!

— Благодарствуйте. — Он сел и сосредоточился.

Я разлил водку и предложил выпить.

— Во здравие! — кивнул Гера и поднял рюмку, оттопыривая мизинец.

— Отнюдь! — брякнул передрессированный Витек, произвольно отреагировав на Герин правый мизинец.

Я укоризненно посмотрел на Акашина — он виновато потупился. Выпили, перевели дух, потеплели взорами и закусили селедочкой. Я сделал Витьку незаметный знак, он, с облегчением отложив вилку и нож, серьезно осложнившие ему прием пищи, взял в руки кубик Рубика и, задумчиво уставившись в пространство, начал со скрипом поворачивать грани. Принесли борщ. Витек быстро выхлебал и снова вернулся к кубику. Гера ел степенно, показывая, что его эти странные манипуляции с гексаэдром, испещренным буквами, абсолютно не волнуют, однако было заметно, что любопытство в нем накаливается, как мышьяк в локонах злодейски отравленного Бонапарта.

Дожевывая котлету, он наклонился ко мне и, показав глазами на Витьку, тихо спросил:

— Кто сей отрок?

— Гений, — вяло отозвался я.

— А кубик пошто?

— Ищет культурный код эпохи...

Гера от неожиданности поперхнулся.

Выпили еще по чуть-чуть. Гера закусил хлебными крошками, которые тщательно смел со скатерти себе в горсть. Потом он вдруг повернулся к Витьку и спросил:

— Откель же ты таков?

— Из фаллопиевых труб... — отлично среагировал Витек, продолжая вращать кубик.

— Сочинительствуешь? — начал помогать Гера.

Я незаметно оттопырил большой левый палец.

— Скорее да, чем нет! — бодро ответил Витек.

— К славе взревновал? — продолжал допрос Гера.

— Скорее нет, чем да, — молвил Витек, быстро скосив глаза на мою руку.

— Труднехонько будет!

— Амбивалентно, — озвучил движение моего правого указательного Витек.

— А испепелиться не боишься?

— Вы меня об этом спрашиваете? — удивился Витек, сверившись с моим дрогнувшим левым средним.

Гера невольно проследил направление его взгляда, но я забарабанил пальцами по скатерти, как бы отбивая популярный эстрадный ритм, а выражением лица продемонстрировал полную мысленную отдаленность от происходящего за столом.

— А испепелишься — тоже в обходчики пойдешь? — вдруг скрипуче-ревнивым голосом спросил он.

Расчет мой оказался абсолютно верным: Гера заволновался, почувствовав в Витьке потенциального соперника в борьбе за дармовую рюмку с закуской. Я стал соображать, как достойнее всего ответить на этот вопрос — и повисла многозначительная пауза. Наконец я принял решение и незаметно показал Витьку «рожки».

— Не вари козленка в молоке матери его! — торжественно отреагировал он.

Молодец! Гера от уважения помертвел. Потом посмотрел мне в глаза. Я выдержал его взгляд, и он понял, что ему нужно делать, чтобы Витек никогда не стал его конкурентом. Он поднялся из-за стола, аккуратно промокнул салфеткой свои розовые губы и молвил:

— Благодарствуйте за снесь и пиво. Счастливо оставаться. Оповещу в лучшем виде...

— Покендра! — махнул ему вилкой Витек, но, поймав мой недовольный взгляд, смутился.

Впрочем, Гера уже повернулся к нам спиной. Принесли кофе. Ужасный. Если ложку растворимого кофейного порошка бросить в ванну горячей воды, напиток, полагаю, вышел бы лучше. Прихлебывая и морщась, мы наблюдали, как Гера продолжал свой традиционный обход ресторанный залы. У каждого столика ему наливали и, очевидно, расспрашивали о нас: он отвечал — и головы стали энергично поворачиваться в нашу сторону. Мимо Горынина, зная субординацию, уже пошатывающийся Гера хотел пройти не останавливаясь, но его приблизили и, хотя, конечно же, ничего не налили, тоже о чем-то спросили. Парень с «Литературным еженедельником» ему тоже, кстати, ничего не налил, но по-свойски угостил сигареткой, достав из кармана еще одну пачку.

Теперь была моя очередь. Я приказал Витьку никуда не уходить, а сам встал из-за стола и, сопровождаемый любопытными взглядами обедающих, вышел из залы. Прежде всего я направился к строгой метрдотельше и виновато сообщил ей, что оставил бумажник в другом пиджаке, что деньги занесу днями, и снял с руки часы. Она посмотрела на меня уничижающе, молча выдвинула ящик стола и небрежно швырнула мои «командирские» в грудку самых разнообразных часов, где были даже карманные «буре» начала века и золотой женский кулончик с циферблатиком. Потом я спустился в туалетную комнату и устроился у писсуара с урологической гримасой на лице. Через минуту рядом со мной вырос критик Закусонский. Он сердечно боднул меня в плечо и повинился, что не понял с самого начала, с кем имеет дело, и предложил упомянуть о Витьке в большой обзорной статье «Горизонты молодой литературы», причем совершенно бесплатно, ибо легкий ужин с пивком расценивать как гонорар просто смешно... Место ушедшего Закусонского занял Свиридонов-старший, сообщивший, что скоро у его дочери день рождения, и они были бы рады видеть у себя в гостях меня вместе с моим симпатичным гением...

Следующим был Чурменев. С вежливым презрением он сказал, что обедающий с ним мистер Кеннди, ответственный секретарь комитета по Бейкеровским премиям, интересуется, в каком жанре работает молодой человек, сидящий за моим столом.

— Он прозаик, — поколебавшись, ответил я, сообразив, что так и не определился, к какому жанру прикомандировать моего Витька.

— Надеюсь, он не соцреалист? — усмехнулся Чурменев.

— Нет. И даже не постмодернист. Это сверхпроза.

— В каком смысле?

— Как объяснить, чтоб вы поняли... Представьте себе князя Мышкина, работающего врачом-гинекологом!

Не дожидаясь отзыва, я застегнулся и вышел. В холле меня поджидала старушка Кипяткова.

— Что это за зверь с тобой? — кокетливо спросила она.

— Гений, — скромно ответил я.

— Вижу — не слепая. Что он пишет?

— Прозу, — неуверенно сообщил я.

— Я хочу почитать!

— Это не очень удобно, — смутился я.

— Почему же?

— В его прозе слишком много эротики...

— Я так и думала! — прошептала она, и ее морщины по-девичьи зарозовели. — Это повесть?

— Роман! — наконец решился я — и жанровая будущность моего воспитанника определилась.

— Рома-ан... — нежно повторила старушка. — Тогда приходите ко мне обедать. Завтра. И роман с собой обязательно приносите! А я вам почитаю что-нибудь из мемуаров...

— Спасибо, Ольга Эммануэлевна, обязательно придем!

События разворачивались даже лучше, чем я рассчитывал.

Когда мы уже выходили из клуба, меня догнала дежурная администраторша и сообщила, что кто-то хочет поговорить со мной по телефону. Я подошел к конторке и взял трубку.

— Приве-ет, — послышался голос. — Это Сергей Леонидович. Узнал?

— Конечно!

— Совсем друзей стал забывать, — добродушно попенял голос. — Зашел бы!

— Когда?

— Да хоть завтра. Буду ждать тебя часиков в пять. И захвати с собой это... Что там твой новый друг накорябал?

— Роман.

— Вот — роман и захвати. Друга пока не надо... Ждем тебя, парень!

Я положил трубку. Что ж, рано или поздно это должно случиться. Пусть лучше рано. Сергей Леонидович был майором КГБ и курировал Союз писателей...

10. ВРАНЬЕ БЕЗ РОМАНА

Когда мы воротились домой, Витек, обалдевший от обилия свежих впечатлений, завалился спать, а я целенаправленно хватил пятьдесят граммов «амораловки» и сел за историю Кировской районной пионерской организации: аванс я уже проел, но под расчет, кроме денег, мне пообещали еще и бесплатную путевку в хороший санаторий. Поработав часа три, я решил отдохнуть, тем более что мне нужно было как-то прореагировать на навязчивое желание общественности получить для ознакомления роман моего Витька. Нет, я все-таки правильно сделал, что объявил его

мастером крупной прозаической формы — стихи все время будут просить почитать. Роман же совсем другое дело! Опыт показывает: люди, как правило, успокаиваются, получив в руки увесистую папку — символ каторжного труда прозаика. Первым читателем становится обычно наборщик. А это как раз то, что мне и нужно...

Я полез на антресоли и достал оттуда пять пустых красных папок, упакованных еще по-фабричному, вставленных одна в другую, как персонажи романов маркиза де Сада. Папки сохранились у меня с тех времен, когда я лет шесть назад служил в многотиражке 4-го городского автохозяйства, называвшейся «За образцовый рейс». Один раз в квартал редактор выписывал на весь строчащий коллектив канцтовары, которые мы — четыре сотрудника — тут же по-братски делили между собой и уносили по домам, поэтому в редакции никогда нельзя было найти ни одной пишущей ручки или чистого обрывка бумаги.

Итак, я достал с антресолей полдюжины папок и столько же стандартных упаковок машинописной бумаги — по пятьсот листов в пачке. Разорвав пачки и разъяв папки, я вложил в каждую папку по пятьсот чистых страниц и туго завязал тесемки трогательными бантиками. Теперь предстояло самое главное. Я вырезал из бумаги шесть квадратиков, размером с поздравительную открытку, и разложил их перед собой: роману нужно было дать название, а это дело непростое.

Я полчаса бесполезно ходил по комнате, листал Литературную энциклопедию, а потом налил себе еще чуть-чуть «амораловки», чтобы подогреть остывающий интеллект. Пока напиток не подействовал, в моей голове мелькнуло несколько бездарных названий, и вдруг откуда-то из глубин подсознания, как рыбежка, спасающаяся от хищника, выпрыгнуло на поверхность заветное сочетание. Ну конечно! Конечно: «В чашу»... Замечательно! Писатели-деревенщики увидят в этом явный намек на один из способов рубки избы, когда в нижнем бревне делается выемка, а в верхнем, наоборот, — шип, что обеспечивает особую крепость и устойчивость сруба. А чистолюди-постмодернисты и сочувствующие им усмотрят в этом нечто мусикическое, вакхическое, виночерпное, мистериальное и так далее. В общем, неважно — что: Любин-Любченко растолкует! Соцреалисты вообще ничего не поймут, что, собственно, от них и требуется... Итак, я вставил первый квадратик в каретку машинки и напечатал:

ВИКТОР АКАШИН

«В ЧАШУ»

Роман

Изобразив это на всех шести квадратах, я взял пузырек с клеем и тщательно приладил их к папкам, которые, в свою очередь, рядком-ладком разместил на диване. И вот они лежали передо мной — новенькие, чистенькие, свеженькие, точно младенцы в роддоме, разложенные няньками перед тем, как нести их к мамашам на кормление. Налюбовавшись, я снова сел за машинку, ибо напиток Арнольда стучал мне в виски и требовал творчества.

Следующая глава из истории Кировской пионерской организа-

ция называлась «Космонавт XXI века» и рассказывала о победе районных пионеров во Всесоюзном конкурсе «Хочу на орбиту!». Как все-таки тесна и непредсказуема жизнь! Оказалось, победителя этого конкурса — тринадцатилетнего Женю Северьянова — я знал. Точнее, знаю теперь. А еще точнее, я познакомился с ним, уже будучи «эпиграммущечником» на банкете, незадолго перед вылетом на Сицилию... Значит, в тот вечер, сочиняя историю пионеров-кировцев, я понятия о нем не имел. Приехали. Нет, обязательно мне нужно запутаться во временных слоях повествования, как в незнакомом женском белье! Ладно, черт с ним, с согласованием времен, эта история стоит того, чтоб ее рассказать!

Меня пригласили почитать эпиграммущечки на дне рождения какого-то крутого деятеля. Стол — персон на сорок — был накрыт в банкетном зале «Космоса». Пела Пугачева. Острил Жванецкий. Фокусничал Кио. Вставляли увешанные орденами летчики-космонавты и со слезой говорили о замечательном их соратнике, человеке чуткого сердца и необъятной, как расширяющаяся Вселенная, души — Евгении Антоновиче Северьянове, попросту — Северьяне, о его неоценимом вкладе в дело спасения отечественной космонавтики в годину тяжких реформ и угрожающих нововведений.

Я сорвал бурные аплодисменты, прочитав прямо там, на салфетке сочиненную эпиграммущечку:

Всю жизнь, мужики, я стремлюсь неуклонно

К разверстому космосу женского лона...

Северьян встал, вышел со мной на брудершафт, обнял, после чего я почувствовал в своем кармане присутствие небольшого прямоугольного предмета, оказавшегося при более близком знакомстве пачкой денег. Сумма была приличная, даже несмотря на галопирующую инфляцию. Оказалось, Северьян тоже чуть было не стал космонавтом, но на последнем этапе у него что-то не заладилось со здоровьем, и его «ушли» в науку. Со временем он возглавил лабораторию искусственной гравитации — огромный ангар с центрифугой посредине. В этом удивительном для настоящего космонавта положении его и застали реформы 92-го. Сначала честный Северьян, как и все, бедствовал, обивал пороги, просил денег у правительства, но бесполезно. Ему отвечали, что космос — достояние всего человечества, и какая, в сущности, разница, кто запустит раньше, больше и дальше. В конце концов он нашел выход — стал сдавать свой огромный, с автоматической терморегуляцией ангар азербайджанцам, которые устроили там арбузохранилище, такое огромное, что почти каждый второй арбуз, продающийся в Москве, был оттуда, из лаборатории искусственной гравитации. В скором времени Северьян сделался очень богатым человеком: вилла на Кипре, «мерседес», дети в Принстонском колледже, но он не забурел, как остальные «новые русские», а принялся помогать оставшимся без работы космонавтам и даже открыл в Звездном городке бесплатную столовую для голодающего научно-технического персонала. И все это на свои кровные, заработанные. Вот такой он человек, Женя Северьянов — подлинный герой нашего времени!

Я фактически уже заканчивал историю пионеров-кировцев,

когда из чуланчика показалась заспанная рожа Витька. Я заметил, что у него, как у всех, кто работает на свежем воздухе, лицо и шея буровато-красные, а остальное тело молочно-белое.

— А это что? — спросил он, увидав разложенные на диване папки.

— Твой роман.

— Иди ты! — заржал Витек и начал развязывать тесемки. — А почему «В чашу»?

— А почему тебя Витей назвали? — вопросом на вопрос ответил я.

— Чтоб с другими не перепутали, — после некоторых раздумий сообщил он.

— Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос!

— А где роман-то? — оторопел Витек, заглянув вовнутрь и перевернув чистые страницы.

— А зачем тебе роман? Ты почитать хочешь?

— Отнюдь.

— И они читать не хотят. Так что не волнуйся!

Витек слонал банку свиной тушенки, закусив ее батоном белого хлеба, выпил чайник кипятка и снова ушел спать. Я тоже решил последовать его примеру, но тут зазвонил телефон.

— Спишь? — спросил Жгутович.

— Почти... Чего нужно?

— У тебя точно «амораловки» не осталось?

— Точно.

— Жаль... Жена просто извелась. Жалко смотреть. Все-таки не чужие.

— А ты без «амораловки» уже не можешь?

— Это — мысль! Надо попробовать...

— А что ж ты про Витьку не спрашиваешь?

— А ты разве не передумал?

— С чего это! Наоборот.

— Ну и как там наш Витек?

— Нормально. Все идет согласно графику.

— Да слышал уже. Все только и говорят, как ты с каким-то ряженым в ЦДЛ приходил, — уныло признался Стас. — А ты можешь себе представить, оказывается, декабристы были поголовно масонами. Может, они поэтому и разбудили Герцена? Кстати, прости, что я тебя разбудил!

После этого дурацкого звонка я долго не мог уснуть, ворочался, вставал пить воду, а потом как провалился... И мне приснилась Анка. Она сидела над Витькиным романом и за поем читала его, то хохоча, то плача, а то сладострастно оглаживая свою нежно напрягшую грудь, точно ей попадались какие-то жутко эротические места. Прочитанные страницы она разбрасывала вокруг — и пол в незнакомой комнате был устлан чистыми, белыми, как полевой снег, листами...

11. КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ ДАВИДОВИЧЕМ

Утром мне с трудом удалось растолкать Витьку, и, когда он

оделся в приготовленный мной наряд, я еще раз с удовольствием оглядел его вызывающе народный облик. Потом я усадил Витьку за стол, дал ручку и чистый лист бумаги:

— Пиши! В секретариат правления Союза писателей. Заявление. Прошу выдать мне материальную помощь в связи с работой над новым романом.

— Обожди, «секретариат» как пишется?

— Через «е».

— Везде?

— Дай сюда! — Я отобрал у него бумагу: автор гениального романа, делающий ошибки в каждом слове, в мои планы не входил.

Я отстучал заявление на машинке и заставил Витьку расписаться.

— Неужели дадут? — засомневался он.

— Если правильно попросить — обязательно дадут. Что такое социализм? Огромная касса взаимопомощи. На этом и сторим!

Я сунул на всякий случай в портфель три папки, и мы пошли. Возле правления Союза писателей, расположенного в старинном особняке с осыпающимся фронтоном и табличкой о том, что дом охраняется государством, было оживленно: подъезжали и отъезжали черные «Волги», литераторы поодиночке и целыми группами входили и выходили, хлопая большой дубовой дверью. Я пристроил Витьку на лавочке возле памятника Льву Толстому, который сидел в своем бронзовом кресле немым мемориальным укором этой муравьиной литературной жизни. Хотя муравьи всегда что-нибудь тащат в свою родную кучу, а писатели, наоборот, всегда норовят что-нибудь уволочь из правления.

— Никуда не уходи! — приказал я. — Крути «рубик». Если будут привязываться с разговорами, что отвечать — знаешь.

— Ищу культурный код эпохи?

— Молодец!

Намерения мои были просты, как голодное урчание в желудке: получить на имя молодого талантливое Акашина материальную помощь (на свое имя я уже два раза получал) и выволочь «командирские» часы: если не сделать этого в течение суток, то в следующий раз по неписаному ресторанному закону не то что часы — золотой самородок под залог у меня не примут.

В приемной Николая Николаевича Горынина под надзором хмурой секретарши Марии Павловны, как поговаривали, его давнишней любовницы, работавшей с ним еще на мебельной фабрике, толклось человек пятнадцать писателей. По выражению лиц можно было сразу определить, какая надобность или же потребность привела каждого из них сюда. Открылась дверь — и вышел недовольный Свиридонов: ему отказали в загранкомандировке. И он пошел жаловаться в партком.

В освободившийся кабинет сразу попытался войти следующий посетитель — Медноструев. Он огладил свою кудлатую черную бороду, оправил на носу очки в тонкой золотой оправе и двинулся к двери, но буквально в последний момент его опередил неизвестно откуда взявшийся Чурменяев.

— Все куплено Сионом! — рывкнул ему вдогонку обиженный

Медноструев и вызывающе посмотрел на тихо сидящего в углу писателя Ивана Давидовича Ирискина.

Тот презрительно усмехнулся и демонстративно закрылся томом Шолом-Алейхема. Остальные же сделали вид, что их это не касается. Иван Иванович Медноструев был известным в литературных кругах антисемитом, автором ходившего по рукам рукописного исследования «Тьма. Евреи против России». В этом труде вся отечественная история рассматривалась под этим весьма своеобразным углом. Медноструев считал, что евреи непоправимо виноваты перед Россией еще с тех былинных времен, когда Русь изнывала под алчным и беспринципным игом иудейской Хазарии, не говоря уже о последующих пакостях, учиненных этим неискоренимым племенем над доверчивыми славянами. Своих взглядов Медноструев не скрывал, и, когда, бывало, сидел с учениками и единомышленниками в холле Дома литераторов, а мимо бочком спешил писатель с загогулистой фамилией или просто неудачно-крючковатым носом, Иван Иванович качал головой и говорил своим замечательным густым басом, при этом старательно грассируя: «Присосались, мерзавцы, к сердцу народному!» Вот какой это был субъект, настоящая Харибда литературного процесса, и будущность Витька во многом зависела от того, найду ли я с Медноструевым общий язык.

— Заполонили русскую литературу! — пророкотал Медноструев. — Присосались к сердцу народному!

— Этот Чурменяев — обычный хам! — Я постарался перевести конфликт в невинную бытовую плоскость, осторожно косясь на упивавшегося Шолом-Алейхемом Ирискина.

— Вот-вот! Хам, Сим, Яфет... Все оттуда! — подхватил Медноструев. — И дружок твой тоже оттуда!

— Какой дружок?

— Какой? Тот, что в кацавейке! Я еще давеча в ресторане приметил!

— Да вы что? Это же закарпатская доха! Исконно славянская форма одежды! — воскликнул я.

— А каббалистические знаки?

— С чего вы взяли?

— А вон! — Он кивнул в окно, где виднелся Витек, старательно вращающий свой кубик Рубика. — Я сразу приметил: букочки-то каббалистические...

— Да что вы такое говорите! Это обычный кубик Рубика, а буквы на нем наши.

— Что вижу — то и говорю. Значит, кубик Рубика? — Медноструев задумчиво почесал довольно большой шрам на лбу. — Рубик — Рубинчик — Рабинович... Понял? И чтоб ты знал, «Протоколы сионских мудрецов» тоже русскими букочками написаны! Понял?

— Понял. А Витек-то мой при чем тут?

— Кудрявый дружок твой.

— Да вы тоже кудрявый! — грубо польстил я.

По нескольким оставшимся на голом блестящем черепе Медноструева волосинкам, как палеонтолог по косточке бронтозавра, я мысленно восстановил его былую шевелюру.

— Кудри кудрям рознь! А масть? Ты на масть посмотри! — настаивал бдительный Иван Иванович.

— Нормальная масть. Вы тоже не блондин!

— Я-то не блондин, а дружок твой рыжий. И конопатый! Улавливаешь? Фамилия-то как у него?

— Акашин.

— Во-от! С этого бы и начинал! Акашин — Акапман — Ашке-нази — Аксельрод! Понял?

— Скорее нет, чем да...

— Ты в баню с ним сходи, тогда поймешь!

— Ходил, — соврал я. — Все на месте...

— Это тоже ничего не значит. Теперь за большие деньги можно пластическую операцию сделать. Вырезают лоскут с задницы и восстанавливают...

Кстати, в своем труде Медноструев доказывал, что обрезание — это не что иное, как древний способ зомбирования человека, ибо после операции обнажаются какие-то важные нервные окончания и происходит целенаправленное перевозбуждение каких-то участков мозга. В итоге подвергшийся такой операции человек превращается в биоробота и готов выполнять самые разнужданные приказы самых мрачных закулисных сил, борющихся, как известно, за установление мирового господства. Правда, Медноструев никак не пояснял, почему такая же в точности операция, проделанная над мусульманином, аналогичных результатов не дает... Кроме того, в исследовании приводился подробнейший перечень писателей, имевших еврейские корни и даже корешки, причем наиболее злобредные из них были выведены жирным. Просто вредные — полужирным. Замыкали список литераторы, всего-навсего женатые на еврейках, и поэтому записанные обычным шрифтом.

— Да бросьте, Иван Иванович, я его семью знаю! Маму... — На этот раз я сказал правду.

— Семья тоже ничего не значит! Русские дуры до крапивного семени падки.

— Так ведь у евреев по матери национальность устанавливается! — возразил я.

— По матери... — Он снова почесал шрам. — Какой еще такой матери? Это все сказки для гоев. Один еврейский ген может такого наделать!

— Уверяю вас, у Витька все до одного гены — русские!

— Все до одного! — передразнил Медноструев. — Что ж он тогда в писатели подался? Шел бы в цех или на стройку!

— А вы?

— У меня талант... и долг перед одураченным народом нашим!

— И у него талант. Он такой замечательный роман написал!

— Как называется?

— «В чашу».

— «В чашу». — Иван Иванович наморщился, соображая, из-за чего шрам вопросительно изогнулся. — «В чашу», говоришь? Неплохо. «В чашу»... Деревенский, чай, парнишка? Плотничал небось?

— А я вам о чем битый час толкую!

— Ну ладно, извини! Бдительность в нашем деле не помешает! Сам знаешь, как я с этим носатым перекасти-полем обмишурился! Обжегшись на молоке... — Он, вздохнув, снял очки и стал протирать стекла.

В это время дверь распахнулась, и оттуда появился явно неудовлетворенный Чурменяев.

— Я буду звонить в ЦК! — как и положено порядочному диссиденту, пообещал он.

— Обзвонись, — буркнул Николай Николаевич, выглядывая в приемную и определяя объем предстоящей работы.

Увидев меня, он было по-родственному поманил к себе пальцем, но потом, заметив Медноструева, сразу сделавшего плаксивое лицо, распорядился:

— Зайдешь после Ивана Ивановича!

Но тут ему на глаза попался Ирискин, который опустил на колени томик Шолом-Алейхема и посмотрел на Горынина с тем же выражением, что и Медноструев, но еще и присовокупив еле заметный, но вполне внятный опытному руководителю упрек за тысячелетние гонения и драму рассеяния. Николай Николаевич вздохнул и строго сказал мне:

— Зайдешь после Ивана Давидовича!

И, пропустив в кабинет Медноструева, закрыл дверь в полной уверенности, что таким соломоновым решением укрепил интернациональный дух писательского сообщества.

Разговором с Иваном Ивановичем я остался доволен: он и его заединщики если и не помогут Витьку, то мешать по крайней мере не будут. Теперь надо было решать вопрос с Ирискиным, ибо его сочувствие для достижения стоящих передо мной задач значило несколько не меньше, чем благорасположение юдофобствующего Медноструева. И я уставился печальными очами на обложку Шолом-Алейхема, скрывавшую от меня лицо Ивана Давидовича. Кстати сказать: во внешности Ирискина не было ничего предосудительного, если не считать, что выглядел он моложе своих лет, укладывал волосы феном, носил вельветовые костюмы, а шее повязывал шелковым платком. Но тем не менее это был широко известный в литературных кругах семит — и взглядов своих он не скрывал. По рукам ходил его рукописный труд «Темнота. Россия против евреев». Это была очевидная и многолетняя полемика с сочинением Медноструева «Тьма». Но Иван Давидович начинал свое исследование с гораздо более глубоких исторических пластов, можно сказать, с иудейских древностей. Опираясь на факты современной науки, он утверждал, что врожденный антисемитизм русские получили в наследство от своих предков скифов, как известно, участвовавших вместе с Навуходонсором в подлом разграблении Иерусалима в VI веке до нашей эры, закончившемся печально знаменитым «вавилонским пленением», которое и положило начало еврейскому рассеянию. Более того, Ирискин утверждал, что обрезание действительно возбуждает определенные мозговые центры, но как раз это и обеспечивает евреям особо интенсивное развитие интеллектуальных способностей и творческих задатков, а именно это исконо служит предметом зоологической зависти медноструевых

всех времен и народов. Почему такая же в точности операция, проделанная над мусульманином, не приводит к аналогичным результатам, Иван Давидович тоже умалчивал...

Внезапно Ирискин опустил книгу и посмотрел мне прямо в глаза с вызывающей грустью. Я напрягся: вспомнил издевательский хохот Анки во время нашего окончательного разговора и ответил ему взглядом, исполненным концентрированно-эсхатологической безысходности. Тогда он показал глазами на свободный стул рядом с собой. Я подсел.

— Вы, дружок, молодец! — тихо сказал он.

Букву «р» он не выговаривал, и получалось не «дружок», а «двужок». Говорят, этот дефект у него появился много лет назад, когда он был зверски избит за свои убеждения.

— Я давно за вами наблюдаю, — продолжал Иван Давидович. — Я знаю, как остроумно вы заставили этих крыс (у него получилось — «квыс») издать вашу многострадальную книгу. Светлые стихи! И еще я от души благодарен, что вы помогаете этому талантливому юноше... Вы настоящий русский интеллигент! Не вам объяснять, как тяжело пробиться инородцу («иноводцу») в этой стране! Особенно в литературе, где сам воздух заражен великодержавным шовинизмом. Медноструев всюду кричит, будто чуть не половина Союза писателей... Ну, вы меня понимаете... О чем это говорит?

— О чем?

— Это говорит только о том, что даже политика государственного антисемитизма бессильна перед подлинным талантом. Согласны?

— Конечно! А как вы догадались, что Витек... Ну, вы меня понимаете...

— Я не догадывался — я рассуждал. Посудите сами, будет русский («вусский»), который проходит, видите ли, всюду, как хозяин, наряжаться чучелом? Ему это не надо: я-то знаю, я был русским... Как, вы сказали, его фамилия?

— Акашин.

— И замечательно, что Акашин. Представляете, что бы ждало бедного парня («павня»), будь он, как выразился этот монстр, Акашманом?!

— Вы правы. Но вам я могу рассказать по секрету: на самом деле его отца звали Семен Акашман. Он был студентом медицинского факультета, а когда началась борьба с врачами-вредителями, испугался и уехал в таежный поселок Щимыти. Работал простым фельдшером, бедствовал...

— Неблагодарная страна! — вздохнул Ирискин.

— Потом женился на медсестре из здравпункта...

— Боже мой!

— Родился Виктор... А председателю сельсовета, сами понимаете, что — Акашин, что — Акашман...

— Троглодиты («твоглодиты»)?!

— Но я вас умоляю! Вы меня понимаете?..

— Об этом можете не предупреждать. Как, вы сказали, называется его роман?

— «В чашу».

— «В чашу»... Чаша сия... Чаша страданий... Чаша терпения! О, она скоро переполнится! Вы меня понимаете?

— Конечно.

— Но пока надо быть очень осторожными! Эти крысы («квысы») способны на все! Вы, кстати, ловко его надули! Я все слышал. Иначе с этими подонками просто нельзя... Еще не время. Но наша победная чаша впереди! Вы меня понимаете?

— Конечно... А как же вы сами?

— Что — я?.. Кто-то должен выйти к Голиафу с пращей! К тому же, дружочек («двужочек»), у меня с Медноструевым давние счёты! Я расплачиваюсь за ошибки юности, когда я по трагическому недоразумению был русским...

Но в это время распахнулась дверь — из кабинета выпел полностью удовлетворенный Иван Иванович. Иван Давидович, не договорив фразы, поспешно вскочил, понимая, что если просьбу его научного и генетического оппонента удовлетворили, то по всем законам советского общежития ему тоже теперь ни в коем случае не откажут. Возле двери Иван Иванович и Иван Давидович поравнялись и, точно по команде, брезгливо отвернулись друг от друга, как от чего-то неприлично пахнущего. Дверь за Ирискиным закрылась, а Медноструев, уже покидая приемную, многозначительно глянул на меня и поднес к уху ладонь, точно в ней была телефонная трубка — мол, созвонимся... Я кивнул.

Для полной ясности я должен сообщить, что в молодости Иван Иванович и Иван Давидович были приятелями, подружились они, служа в одном полку, а потом, став студентами Литературного института, жили в общежитии в одной комнате: вышивали, читали друг другу свои произведения, по-братски обменивались девушками. Как раз в ту пору развернулась кампания против безродных космополитов, и оба два Ивана громили, выступая на комсомольских собраниях, как бы помягче выразиться, «безродных гадюк, пригретых советским народом на своей широкой интернациональной груди». Это из выступления студента третьего курса Ивана Медноструева, которое было опубликовано в «Комсомольской правде». А вот слова из речи студента того же курса Ивана Ирискина, напечатанные в том же номере газеты: «Мой отец, чекист с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками, погибший при выполнении задания партии еще до моего рождения, любил говорить: «Сорную траву — под корень!» Так и надо поступать с этими врагами нашей Советской Родины!..» Кстати, в ту пору начинающий литератор Иван Ирискин считал себя стопроцентным русским, гордо писал об этом в анкетах, носил отчество «Давыдович», но в графе «родители» напротив слова «отец» ставил прочерк, хотя доподлинно знал со слов матери, что отец его — отважный чекист, погибший вместе с наркомом Первомайским и командармом Тятиным. Но об этом он, поддаваясь просьбам матери, никому пока не рассказывал, хоть и очень хотелось.

И тут грянул гром: в газете «Правда» появилась статья, доказывавшая, что давняя гибель Тятин и Первомайского тоже была делом рук подпольных космополитов, внедривших в охрану командарма агента по имени Давид, имевшего к тому же очень

подозрительную фамилию, еще, к сожалению, окончательно не установленную. Он-то и организовал ту автомобильную катастрофу, но и сам в последний момент не сумел выпрыгнуть. Ирискин потребовал от матери объяснений, и она рассказала, что, работая стенографисткой у командарма Тягина, сошлась с его вновь присланным из НКВД черноглазым красавцем охранником, обещавшим на ней жениться сразу после выполнения важного секретного задания: именно поэтому он просил ее пока об их любви никому не говорить. Антонина Ирискина была уже на сносях, когда Давид в последний раз заезжал к ней и сказал, что через два дня операция закончится — и они запишутся, чтоб к рождению ребенка все было по закону. Больше она его не видела. Но несколько раз ее вызывали на допросы, выясняя какие-то подробности о подозрительном охраннике, а с работы на всякий случай уволили. Когда родился сын, Антонина от греха подальше назвала его Иваном и дала свою фамилию, благо брак так и остался незарегистрированным. От отца осталось лишь слегка видоизмененное отчество. «Мама! — воскликнул потрясенный Ирискин. — Неужели ты никогда не догадывалась, кто папа по национальности?» «Господь с тобой, сыночка! Я же комсомолкой была. И потом он меня девушкой взял...»

Это известие произвело на впечатлительного молодого литератора сильнейшее воздействие: он чувствовал себя чуть ли не отцеубийцей, а тут как специально во время очередной пирушки в общежитии Медноструев стал с гордостью рассказывать собравшимся, что они с другом Ванькой еще покажут этим космополитам, почем фунт обрезков, и что товарищ Сталин совершенно правильно собирается переселить всех евреев вместо Крыма туда, куда Моисей свой избранный народ не гонял! И тогда молодой и горячий Иван Давидович (тогда еще — Давыдович) со страшным криком «Смерть антисемитам!» вскочил и разбил о голову Медноструева бутылку водки. Бутылка была последняя, это и обусловило ту обстоятельность, с которой взъерывшаяся компания отходила бедного Ирискина.

Очнулся он на следующий день у Склифосовского. Любопытно, что на соседней койке покоился его бывший друг Медноструев с глубоко пробитым черепом. Говорить Ивану Давидовичу после нечеловеческих побоев было труднехонько, тогда он, взяв карандашный огрызок, вывел на тетрадном листке:

**МЕДНОСТРУЕВ, ВЫ ПОГРОМЩИК,
ЧЕРНОСОТЕНЕЦ И ОХОТНОРЯДЕЦ!**

И через медсестру переправил на соседнюю койку. Приняв записку, Иван Иванович долго думал своей поврежденной головой, но потом все же нацарапал на том же тетрадном листке:

**ИРИСКИН, ТЫ КОСМОПОЛИТ,
НИЗКОПОКЛОННИК И ЖИД ПАРХАТЫЙ!**

Собственно, с этого тетрадного листочка и началась знаменитая переписка Медноструева и Ирискина, ходившая в многочисленных копиях по рукам и даже фрагментарно издававшаяся на Западе...

— Заходи! — поманил меня Горьнин, дружески выпроважи-

вая из кабинета светящегося от радости Ивана Давидовича, который перед тем, как покинуть приемную, незаметно кивнул мне и сделал такое движение пальцем, будто вращает телефонный диск.

Входя в кабинет, я с удовлетворением подумал, что, кажется, мне благополучно удалось, как хитроумному Улиссу, сделать невозможное — пропихнуть моего Витька между Сциллой и Харибдой...

12. ЖЕНЩИНА МОЕЙ МЕЧТЫ

Кабинет Николая Николаевича был похож на запасник краеведческого музея. Такое впечатление складывалось из-за огромного количества подарков и сувениров, накопившихся в правлении за многие годы существования Союза писателей. С потолка до пола теснились специальные стеллажи, уставленные самой невообразимой утварью, ибо главный принцип торжественного подношения — не повторить предшественников. Рассказывают, как однажды руководитель молдавских литераторов, опаздывавший к открытию писательского съезда и не позаботившийся о том, чтобы заранее заручиться убедительным сувениром, по пути с вокзала остановил такси возле Мосторга и второпях купил то, что бросилось в глаза. А в глаза ему бросилась полугораметровая фарфоровая фигура сталевара, вытирающего со лба трудовой пот. Когда он, сгибаясь под тяжестью сталевара, ввалился в комнату президиума, нервные сотрудники правления закричали, что, мол, как раз сейчас вручает приветственный сувенир руководитель мелитопольской писательской организации, а за ним — очередь молдаван. Вынеся из-за кулис сталевара, словно ребенка, которого, несмотря на изрядный возраст, никак не могут отучить от рук, молдаванин обомлел: мелитопольский коллега передавал президиуму точно такого же фарфорового сталевара. Присутствовавший на съезде Сталин усмехнулся в прокуренные до желтизны усы и заметил, что подражательство — самый большой грех в советской литературе. Молдаванину сделалось дурно, а вызванная карета «Скорой помощи» констатировала гибель от разрыва сердца...

Но это, как говорится, случай единичный. В основном дарители проявляли выдумку и изобретательность. На стеллажах можно было увидеть и портрет основоположника соцреализма Максима Горького, выполненный из рисовых зерен, — от китайских братьев по перу, и макет крейсера «Аврора», вырезанный из моржового, кажется, бивня, — от чукотской писательской организации, и большое серебряное блюдо с грузинской чеканкой... Имелась даже такая уникальная вещь, как преподнесенный якутскими писателями бюст Маяковского, изготовленный из арктического льда и хранящийся в специальном холодильнике рядом с бутылками «боржоми»... Был и самаркандский коврик с портретом Маркса. Забегая вперед, сообщу: когда после 91-го года Союз писателей раскололся на два враждебных лагеря — демократический и недоумевающий, — произошел также раздел подарочного имуще-

ства. Коврик с Марксом достался писателям-демократам, и они положили его прямо перед дверью правления так, чтобы каждый входящий литератор в буквальном смысле вытирал об основоположника научного коммунизма ноги...

— Проходи, родственничек! — пригласил Николай Николаевич и уселся за свой знаменитый стол.

Об этом историческом столе, который в писательских кругах именовали «саркофагом», тоже нужно сказать несколько слов. Считалось, что в его бездонных ящиках хранилось множество так называемых «трудных рукописей», зарубленных злой цензурой. Забегая вперед, доложу вам, что победившие демократы обнаружили там ворох незавизированных заявлений на матпомощь, полсотни пустых трубочек из-под валидола и три пыльных рукописи, составивших впоследствии славу постсоветской литературы...

Около знаменитого стола, на приставной тумбочке теснилось полдюжины телефонов, а чуть особняком стоял массивный белый аппарат со снопастым советским гербом на диске — знаменитая «вертушка», телефон правительственной связи.

— Что ж ты, даже рожей не пошевелишь? — улыбаясь, спросил меня Горынин. — Или думаешь, я по-родственному тебе и так дам?

Я спохватился и восстановил на лице необходимое для такого случая плаксиво-потребительское выражение.

— То-то, — кивнул Николай Николаевич. — Проси!

— Да вот зашел...

— Вижу. Квартира у тебя есть. На машину денег у тебя нет. Книга у тебя недавно вышла. Вызовов за границу тебе не присылали. Что будешь просить — матпомощь или путевку в дом творчества?

— Матпомощь.

— Матпомощь тебе в этом году уже выдавали. Два раза.

Немудрено, подумал я, что Николай Николаевич после «Прогрессивки» так ничего и не написал, если он держит в голове, кто именно и по сколько раз получил материальную помощь. А ведь у него только членов Союза 10 000, не считая попрошайстой молодежи! Какой уж тут роман!

— Не себе прошу, — грустно сообщил я.

— Гуцулу своему, что ли? Видел тебя с ним в ресторане. Он бы в столовой заводской питался, тогда и попрошайничать не надо.

— Мы отмечали окончание работы над романом.

— Ишь ты! Я когда «Прогрессивку» закончил — купил четвертинку, колбаски любительской и с Серафимой Петровной, Анкиной матерью, отпраздновал. Кстати, скажи-ка мне, дружок ситный, почто от Анки утек?

— Не утекал я, — ответил я совершенно искренне. — Это она утекла...

— Хорошо, что не врешь! Просто не знаю, что с ней делать! Ненадежная какая-то выросла. А учили ведь только хорошему. Да что говорить: хотели пулеметчицу, а получили переметчицу! — Горынин вдруг замолк, пораженный художественной точностью и народной меткостью своей случайной формулировки.

Он с ревнивой подозрительностью глянул на меня, но я сделал вид, будто совершенно не заметил его выдающегося словотворческого открытия. Тогда Горынин с чувством облегчения вынул из настольного прибора, выполненного в виде пусковой установки, авторучку в форме баллистической ракеты (подарок военных) и записал удачное словосочетание на перекидном календаре.

— О чем мы говорили? — Он снова посмотрел на меня.

— Об Анке.

— Так вот — продолжаю свою мысль: просто горе! С тобой разбежалась. У друзей сыновья подросли. Ни хрена! Только зря друзей пообижал. Журавленко до сих пор на меня зуб точит. А сейчас и вообще с этим выпендрилой Чурменяевым спуталась... Стыдно людям в глаза смотреть! Может, у тебя какой хороший мужичишка на примете есть? Ты уж по-родственному...

— Нет, — насушился я.

— Ну, не подумал! Извини. Совсем зачерствел тут с этими попрошайками...

— А как она? — спросил я.

— Нормально. Что ей сделается! Тут мою «Прогрессивку» в Корею издали — хотел на даче ванную переоборудовать. Не-ет... Выпросила у меня лисью шубу. Лиса! Вся в мать.

— Николай Николаевич, — тоскливо вернулся я к теме своего посещения. — А нельзя Виктору из фонда помощи молодым подкинуть? Большой талант.

— Как роман-то называется?

— «В чашу», — ответил я, доставая из портфеля папку.

— Опять небось чернуха какая-нибудь? Когда Родину будем славить? Хватит с нас костожоговщины!

— Это совсем другое. Это как раз то, что вам нужно! — сообщил я, протягивая роман.

Тем временем зазвонил телефон с гербом, и Горынин одной рукой схватил трубку, а другой показал мне на стопку «трудных» рукописей.

— Алло! Добренький день!.. А где ж мне быть? На посту... Да какая там эпопея! Четвертый год в отпуск не ходил. Слушаю внимательно!

Судя по тому, какая счастливая готовность выразилась на Горынинском лице, звонили свысока.

— Чурменяев? Только что от меня вышел. Что?.. Да читал я эту «Женщину в кресле». Бред сивой кобылы! Что?.. На Западе по-другому думают? На то они и Запад. От слова «западня»! — Молвив это, Горынин снова радостно насторожился лицом, схватил ручку-ракету и черкнул на перекидном календаре. — Ну, конечно... Могут и «бейкеровку» дать — им ведь чем хуже, тем лучше... Ну!.. Машину приходил без очереди просить. Я его спрашиваю: «Чурменяев, когда Родину будешь славить?» Ржет! Говорит, когда он «бейкеровку» получит, к нему журналисты со всего мира съедутся, а он свои «Жигули» разбил... Да, так и сказал: на Западе не поймут, когда узнают, что писатель такого ранга вынужден ездить на битой машине... Конечно, отказал... Дать? Как скажете...

Николай Николаевич, вздохнув, снова вынул из пусковой уста-

новки ручку, вычеркнул чью-то фамилию в лежавшем перед ним списке и вварапал фамилию Чурменяева.

— Есть. Готово! — доложил он в трубку. — ...Ну, почему другой молодежи у нас нет?.. Есть! Вот у меня сейчас сидит... Этот... (Горынин нервно показал пальцем на папку. Я подал ему.) Вот... Виктор Акашин. Работяга. И роман называется хорошо — «В чашу»... Не-ет. Я тоже сначала подумал, но потом начал читать — не оторвусь. Настоящая полнокровная проза. Жизнеутверждающая!.. А как же! Конечно, поможем... Дочь? А что — дочь! Растет, то есть выросла уже. Барышня... Что? С Чурменяевым?! Клевета! Квартиры распределяем — вот и пошло разное вранье и клеветы. Просто руки опускаются... Да какой отпуск?! Они — как дети, ни на минуту без присмотра оставлять нельзя!.. Спасибо! До свидания!

Николай Николаевич положил трубку. Вытер платком вспотевший лоб. И выругался:

— мать! Специалисты! Ни хрена они там в литературе не понимают, а тоже лезут. Плохо все это кончится!

— Ну и пошлите все к чертовой матери! — посоветовал я.

— Ладно, давай заявление. О чем, говоришь, роман-то у твоего друга?

— О жизни...

— О жизни — это хорошо! И название неплохое — с подзадо-ринкой!

Как раз в тот момент, когда он налагал резолюцию «Выдать» и выводил свою подпись, такую витиеватую, что подделать ее мог только изощренный каллиграф, и то после многодневной тренировки, дверь приоткрылась, и в кабинет вошла Анка. На ней были безумно модные в ту пору джинсы-стретч, бескомпромиссно обтягивавшие ее длинные ноги, замшевая курточка с бахромой и полупрозрачная блузка, под которой самостоятельно жила не соблюдаемая бюстгальтером грудь. Волосы она теперь, оказывается, собирала в пучок, скрепленный какой-то оплеткой из разноцветных кожаных ремешков.

— Привет! — сказала она, абсолютно не удивившись встрече со мной.

Анка подпорхнула к столу и, наклонившись, поцеловала Николая Николаевича в макушку, при этом как-то совсем по-кордебалетному откинув ножку. Это уже — персонально для меня. Лицо Горынина из строго-сосредоточенного тут же сделалось нежно-беспомощным. Потом опять строго-сосредоточенным. Потом опять нежно-беспомощным. Наконец — нежно-строго-сосредоточенно-беспомощным.

— Чего явилась-то? — спросил он.

— Та-ак — по пути. Чурменяев пообедать пригласил.

— Ох, Анна! Опять народ языки чесать будет... Там, — он показал пальцем вверх, — уже знают.

— Ну и пусть знают. Я, может, замуж за него пойду! — сказала она и поглядела в мою сторону.

— Ага... Ты замуж пойдешь, а он за границу сбежит!

— А я с ним!

— Вот и ехала бы с Журавленко!

— Журавленко извращенец — его только Генри Миллер возбуждает.

— Ты что несешь? Хорошо, здесь все свои...

В это время снова раздался звонок обыкновенного телефона. Горынин взял трубку.

Анка подошла ко мне, положила на мою грудь руку, наманикюрованными ноготками осторожно залезла за край рубашки и пощекотала кожу так, что меня тряхнуло, как током.

— Это ты звонил?

— Да.

— Зачем?

— Не знаю...

— Не знаешь? — Она наморщила лоб и очень внимательно посмотрела мне в глаза.

У нее была странная манера смотреть, нет, вглядываться в глаза, точно она хотела прочесть на роговице какую-то сделанную малюсенькими буквами надпись.

— Я больше не буду, — пообещал я.

— Не надо... И верни мне, пожалуйста, часы!

— Верну... Потом. У меня сейчас их с собой нет.

— Хорошо — потом... Но обязательно.

— Они тебе очень нужны?

— Очень.

— Ты не ошибаешься?

— Нет. Я никогда не ошибаюсь. Я просто быстро устаю от правильного выбора. Жалко, что теперь нет монастырей, я бы ушла... Нам с тобой нужно встретиться снова. Лет через пять. Я устану от своей правоты — и буду тихая, верная и нежная. Ты хочешь?

— Хочу. А пораньше нельзя?

— Вряд ли... Ты меня дождешься?

— Не знаю...

— Считай, что я ушла на фронт. И я могу погибнуть. Но я обещаю тебе вернуться. Договорились?

— Да.

Николай Николаевич закончил разговор и положил трубку.

— Хорошая вы пара! — сказал он, полюбовавшись на нас. — На черта, Анка, тебе этот выпендренник Чурменяев?!

— Для усталости.

— Разве что... Ладно. — Он протянул мне листок с завизированным заявлением. — На, корми своего гения в ресторанах!

— Ты завел гения? — оживилась Анка.

— Да, пушистый такой...

— А где он?

— Вон сидит. — Я кивнул в окно.

Витек сидел на лавочке в своей дохе и, отложив кубик Рубика, целился камнем в гревшующую на солнце кошку.

— Смешной, — улыбнулась она. — Это ты его так нарядил?

— Я.

— Забавно. Познакомь!

— Нечего! — разозлился Николай Николаевич. — Пришла обедать с Чурменяевым — обедай! Нечего талантливой молодежи голову морочить!

— А он вправду гений? — спросила Анка.

— Скоро узнаешь, — ответил я и вышел из кабинета.

Получив в кассе деньги, я отправился к скамейке возле Льва Толстого за Витьком, но его там не оказалось. Поразмыслив, куда он мог деться, и довольно быстро догадавшись, я зашел в ресторанную мойку, куда можно было пройти прямо из скверика через служебный вход. Так и есть. Нахмуренная Надюха в оранжевых резиновых перчатках молча ополаскивала бокалы, а Витек, облокотившись об эмалированную раковину, смотрел на нее долгим виноватым взглядом.

— Ну Надь! — говорил он.

— Что — Надь?

— Улыбнись!

— Перегопчешься.

— Правильно, Надюха! — похвалил я. — Гони его. От него же одни неприятности. Видишь, тебя из-за него в посудомойки перевели. Будешь с ним встречаться, вообще в уборщицы переведут!

— А это не ваше дело! — буркнула Надюха.

— Да! — подхватил Витек. — Чего ты в мою личную жизнь лезешь?

— Твоя личная жизнь принадлежит литературе. Пошли обедать!

Я крепко взял Витьку под локоть и повел в ресторанный зал, мы сели, и я огляделся. Возле каминя, в самом почетном закутке — на этом столике всегда стоит табличка «Заказано» — уже сидели Анка и Чурменев. Они пили шампанское. Он что-то рассказывал, а она смеялась, откидывая назад голову. Я вскочил, пошел к метрдотельше и оплатил свой вчерашний счет. Она открыла ящик стола и довольно долго искала мои «командирские» среди перепутавшихся ремешками и похожих на клубок зимующих змей часов. Вернувшись за столик, я заказал полноценный обед с тремя закусками и бутылку водки.

— Ну, за твоё светлое будущее, Витек! — провозгласил я.

— О'кей — сказал Патрикей! — кивнул он.

Когда мы ели «клубную котлету», подошел застывший на пост Закусонский.

— Как жизнь молодая? — спросил он.

— Амбивалентно, — скосив глаза на мой правый указательный палец, отозвался Витек.

Я похвалил его взглядом.

— Что будем заказывать? — приступил к делу Закусонский.

— Да мы вроде уже... — самостоятельно буркнул Витек и осекся, заметив мою недовольную гримасу.

— А вот что, — сказал я. — Для начала, я думаю, организуй-ка нам развернутое упоминание в обзорной статье! Лучше всего в «Литературном еженедельнике».

— Развернутое?

— Именно!

— Рукопись с собой? — деловито спросил Закусонский, по-официантски что-то помечая в блокнотике.

Я вынул и положил перед ним папку. Он осмотрел ее и сделал над ней несколько пассов, как экстрасенс.

— Та-ак... теплая вещичка! Та-ак... Энергетически насыщенная! «В чашу». Хорошее название — емкое... — Он снова черкнул в блокнотике.

— Может, возьмешь почитать? — предложил я и почувствовал, как Витек под столом наступил мне на ногу.

— Зачем? — удивился Закусонский. — Мне и так все ясно. Четвертак.

Он получил деньги и ушел, а я посмотрел на Витьку взглядом отца, которому обнаглевший сын пытается давать рекомендации по технике детозачатия. Когда мы пили кофе, появился обходчик Гера. Предвидя его приход, я оставил в бутылке немного водки и маслинку на блюдечке.

— Благодарствуйте! — молвил он, выпив и закусив.

— Как дела?

— Споспешествую.

— Интересуются?

— Зело.

— У меня просьба: когда мы уйдем, отнесешь это вон ей! — Я протянул ему «командирские» часы и кивнул на столик, где, откидывая голову, хохотала Анка.

— Всенепременно! — ответил Гера и по-гусарски щелкнул стоптанными каблуками.

13. БАБУШКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

132

В каком году родилась Ольга Эммануэлевна, никто не мог сказать достоверно, но Блока и Есенина, если заходил разговор, она называла соответственно — Саша и Сережа. От тех времен остался ее знаменитый портрет «Девушка в красной косынке» кисти Альтмана. Однако, несмотря на красную косынку и членство в партии, она прилично знала латынь и блестяще — французский. Все это наводило на мысль, что образование она получила как минимум в гимназии. Известно также, что ее четвертый муж, знаменитый поэт-баталист, был репрессирован вскоре после того, как его друг командарм Тятин погиб в автомобильной катастрофе вместе с наркомом Первомайским. Именно тогда она написала и опубликовала в «Правде» известные стихи:

*Мы делили с тобой наслаждения,
Сообща упивались борьбой,
Но идейные заблуждения
Не могу разделить я с тобой!*

Однако звездный час Ольги Эммануэлевны наступил вскоре после войны, когда Андре Жид, приехав в Москву, добился встречи со Сталиным, чтобы уговорить его дать некоторые послабления российским гомосексуалистам. Ее на эту встречу пригласили в качестве переводчицы, потому что штатные сотрудники французского отдела МИДа оказались лексически не подготовленными к такому щекотливому разговору. Как известно, Сталин мягко, но твердо отверг домогательства Андре Жида, но бойкую миловидную поэтессу заметил и даже на прощание подарил

ей свой «Краткий курс истории ВКП(б)» с теплой двусмысленной надписью. Об этом стало широко известно, а в писательских кругах установилось твердое мнение о больших связях Кипятковой наверху. Люди в Кремле менялись, но мнение оставалось. Проверить же достоверность ее близких отношений с руководителями партии и государства никто не решался. И когда она, споря с писательским начальством, говорила: «А вот мы сейчас спросим у...» (далее следовало имя-отчество текущего государственного лидера) и бросалась к «вертушке», — секретари гурьбой оттесняли ее от опасного телефона, уверяя, что по такому пустяковому вопросу даже нечего тревожить небожителя и что все они решат в своем профессиональном кругу. Решат, разумеется, положительно!

Пользовалась Ольга Эммануэлевна своими баснословными связями с правительством и в сугубо личных целях. Так, одну смазливую поэтессу, отбившую у нее статного и перспективного прозаика, она погубила совершенно изощренным образом. Та пришла на партсобрание в парике, а парики тогда у нас в отечестве были еще в диковинку и стоили больших денег. Так вот, Кипяткова обвинила ее чуть ли не в злостном глумлении над руководством страны, представленном в ту пору, как на грех, исключительно лысыми, лысеющими и облысевающими мужчинами. Несчастливая модница пыталась оправдываться, но лишь до тех пор, пока в «Правде» не появились стихи Ольги Эммануэлевны:

*Когда страна, в труде изнемогая,
Меняет русло вековой реки,
Тебя интересует жизнь другая:
Мужчины, маникюры, парики...*

Испуганный перспективный прозаик поэтессу тут же бросил, и она вскоре исчезла с литературного небосклона, мелькнув своим париком, как случайная комета. Но шло время, и обстоятельства смягчили Ольгу Эммануэлевну, тем более что год от года поддерживать свою женскую очевидность становилось все труднее: была засунута в дальний угол шифоньера знаменитая красная косынка, появились и платья с глубоким декольте, и маникюр, и французские духи, и даже парик. Надо отметить, что на ошибках своих Ольга Эммануэлевна никогда не настаивала и умела сознаться в былых заблуждениях как с трибуны, так и в стихах, за что ее, собственно говоря, всегда и ценили:

*Висит в шкафу походная шинель.
И красная косынка позабыта.
Ночу парик, использую «шанель» —
Свидетельства налаженного быта!*

В общем, Кипяткова всегда шла в ногу с эпохой. Что ж поделаешь, если мужчины так переменчивы: сегодня их привлекает к женщине алая косынка, а через сорок лет — парик и призывный запах глумливой парижской парфюмерии!

Открывшая нам дверь Ольга Эммануэлевна была одета в черное расшитое золотыми дракончиками кимоно, которое непрестанно распахивалось и обнажало мумифицированную ножку. Кроме того, на ней был роскошный кудлатый рыжий парик, а

лицо свидетельствовало о том, что косметика может почти все.

— Ну, вот и вы! — радостно воскликнула она и протянула руку, унизанную колечками, перстеньками, браслетиками.

— Вот и мы! — Я почтительно наклонился и поцеловал сухую ручку, но так, чтобы губы чмокнули мой собственный большой палец, при этом я незаметно ткнул Витька в бок локтем, и он протянул хозяйке предусмотрительно купленный мною букет роз.

— О! — застонала она, погрузив лицо в букет, и алые цветы сразу поседели от пудры.

Просторный холл был завешан фотографическими и живописными портретами мужчин, среди которых встречались и знаменитости.

— А теперь к столу! — голосом капризной гимназистки объявила Ольга Эммануэлевна.

Стол был накрыт на три персоны. Посредине стояло серебряное блюдо с несколькими ломтиками сыра и пучком зелени, которым даже Дюймовочка не смогла бы прикрыть наготу. Имелось еще несколько кусочков ветчины. И все. После такого обеда комнатная мышь по-собачьи взвыла б от голода!

— Рассаживайтесь! Вы, должно быть, страшно голодны? Настоящие мужчины всегда страшно голодны!

— Скорее нет, чем да, — по моей подсказке молвил Витек и поглядел на меня с благодарностью за предусмотрительно плотный обед в ЦДЛ.

Я ему ответил взглядом, означавшим: «Вот видишь, как важно во всем слушаться старших». Мы сели.

— Ах, я совсем забыла про вино! — вскрикнула хозяйка и умчалась на кухню движением агонизирующей газели.

— Совсем бабушка с глузду съехала! — глядя ей вслед, буркнул Витек.

— Умри! — цыкнул я.

— О'кей — сказал Патрикей.

Ольга Эммануэлевна вернулась с бутылкой дешевого сухого вина под пластмассовой пробкой — такое даже умирающие с перепоею ханьги покупают только в самых безвыходных случаях.

— Требуется мужская сила! — прожеманничала она.

Витек взял бутылку, ловко поддел пробку зубом и профессионально разлил вино по старинным хрустальным бокалам одним непрерывным движением, не уронив на скатерть ни капельки.

— О, вы волшебник! — захлопала в иссохшие ладони Ольга Эммануэлевна. — Вы можете выступать в цирке!

— Отнюдь! — с достоинством и без всякой подсказки ответил Витек.

Я с грустным предчувствием подумал о том, что Акашин, как всякое талантливое произведение, начинает жить своей собственной, отдельной от автора жизнью. Мы выпили. Взяли по кусочку ветчины, и начался обед, скорее похожий на микрохирургическую операцию, осуществляемую по какой-то странной необходимости огромными серебряными старинными ножами и вилками, наверное, фамильными. Возможно, столовая утварь досталась Кипяtkовой от ее второго мужа — богатого нэпмана, которого она, уличив в неверности, сама отвела в чрезвычайную комиссию

по борьбе с саботажем и бандитизмом, где, кстати, и познакомилась со своим третьим мужем и откуда второй муж, разумеется, уже не вернулся. Впрочем, за последовательность ее мужей я не ручаюсь...

— О чем ваш роман? — мелко прожеывая, спросила она. Витек посмотрел на меня вопросительно.

— О любви... — сказал я.

— Большой?

— Конечно.

— Дайте, дайте!

Я сходил в прихожую, достал из портфеля папку и принес ей.

— «В чашу», — прочитала она, нежно поглаживая картон сухими ручками. — Почему «В чашу»?

— Вы меня об этом спрашиваете? — строго по инструкции удивился Витек.

— Ну конечно, глупый вопрос, — согласилась она. — Разве можно сказать, откуда приходит к нам вдохновение. «В чашу»... А может быть, вы — гедонист?!

— Скорее да, чем нет, — ответил Витек, глянув на мой левый большой палец.

— Жизнь так мимолетна, что единственное утешение — длинные романы, — грустно произнесла Кипяткова. — Не так ли?

— Вестимо, — сказали мы с Акашиным одновременно.

— Вы мне прочтете кусочек? — Она начала развязывать тесемки.

— Обоюдно, — ответил Витек, согласно указанию, и тревожно пунул меня ногой под столом.

— Конечно, конечно... — закивала Кипяткова. — Я сейчас пишу воспоминания о Маяковском...

— Трансцендентально, — посочувствовал Витек не без моей помощи.

— Вы очень образованный юноша. Где вы учились?

— Вы меня об этом спрашиваете? — ответил Витек, снова бросив взгляд на мой суфлирующий палец.

— Ах, ну конечно! — засмеялась она. — Что есть книжная мудрость по сравнению с внутренним, имманентным знанием?

— Вы обещали почитать воспоминания! — встрял я, сообразив, что Акашин готов своевольно вывалить пока еще не использованное в разговоре слово, стоящее в «золотом минимуме» под цифрой «6».

— Ах, я и забыла! — воскликнула она, завязала тесемки и положила папку на край стола. — Сейчас принесу...

Она встала, кокетливо прикрыла грудь отворотами кимоно и ушла в другую комнату.

— Ты охренел?! — шепотом набросился на меня Витек. — Что я буду читать?

— Не бойся — до этого не дойдет!

— А до чего дойдет? — осунулся Акашин.

— Трудно сказать...

— Нет, ты скажи!

— Всякое бывает...

— Я тебе не трупоед какой-нибудь! — возмутился мой воспитанник.

— Ладно, — сжалился я, — если что — скажешь, дал обет не прикасаться к женщинам, пока не напишешь своей главной книги. Должна поверить: ей всякие в жизни попадались.

— А зачем эта старая бетономешалка нам вообще-то нужна?

— Понимаешь, у нее — комплекс. Каждого мужчину, который ей понравился, она тут же объявляет гением. Это психология. Как бы тебе попонятнее объяснить...

— Чего тут объяснять-то! Знаю: вот у моей матери хахаль — пьянь пьянью, алконавт. А она всем говорит: Жоржик в рот не берет! Чтoб перед людьми не стыдно было!

— Вот! Точно. Ольга Эммануэлевна тоже всем начинает вешать: гений, гений... Если ты ей понравишься — завтра вся Москва будет знать, что ты гений.

— О чем это вы шушукаетесь? — кокетливо спросила Кипяткова, входя в комнату. В руках у нее было несколько отпечатанных страничек.

— О вечной женственности! — галантно сообщил я.

— Ах, шалуны! Вот я принесла. Но сначала — чай. Виктор, помогите мне!

Я кивнул — и Витек отправился следом за ней на кухню. Вскоре оттуда донеслось позвякивание посуды и ооопрительный хохот, какой обычно издает, если верить классике, прихваченная в темном коридоре озорная горничная. Они вернулись: Витек тащил поднос с чайником и чашками. А она — блюдечко с широким, по размеру напоминающим помет колибри.

— Виктор, вы трудно пишете? — пригубив чай, спросила она.

— Гении — волю, — скосив глаза на мой левый мизинец, молвил Витек.

— А я после каждой страницы чувствую себя, как после ночи любви с кем-то огромным и ненасытным. Вы меня понимаете?

— Скорее да, чем нет, — отозвался Витек, кисло среагировав на мой содрогнувшийся палец.

Лексикон явно пошел по второму кругу, и с разговорами надо было заканчивать.

— Вы обещали почитать! — напомнил я.

— Да-да, пойдете в спальную! Я, как Пушкин, пишу всегда в спальней. Я вас не шокирую?

— Нет, спальная — это лучшее из всего, что изобрело человечество! — заметил я.

— Это из Уайльда?

— Я всего-навсего цитирую роман Виктора.

— О! Ну так пойдете!

— Ольга Эммануэлевна, — обратился я. — Вы очень обидитесь, если я покину вас и поручу моего друга вашим заботам?

— Смертельно обижусь! — ответила она дрогнувшим от радостного старушечьего предчувствия голосом.

— Не обижайтесь! У меня встреча с директором «Советского писателя». Они хотят издать роман...

— Ну что с вами поделаешь! Придется нам с Витенькой побыть тет-а-тет...

— Я думаю, это пойдет Виктору на пользу, — кивнул я.

— Не вари козленочка в молоке матери его! — самостоятельно взмолился бедный Витек.

Я незаметно показал ему кулак. Мы встали. Хозяйка пошла проводить меня к двери, а Акашин напутствовал взглядом, каким смертник проводил бы своего сокамерника, которому вдруг выпало помилование. На пороге, протягивая для поцелуя руку, Кипяткова вдруг с тревогой спросила:

— А ваш молодой друг случайно не женоненавистник?

— Нет, он — женонасытчик...

— Ах, шалун! — Она засмеялась, обнажив ровные белые зубы из довоенного фарфора. — Можно я использую это ваше словечко в моих воспоминаниях о Гумилеве?

— Вам можно все! — тяжело вздохнул я.

14. КОМИТЕТ ГЛУБИННОГО БУРЕНИЯ

С Сергеем Леонидовичем я познакомился в общем-то случайно и по совершенно пустячному поводу. Странно, что я не стал его другом гораздо раньше, ведь постоянно же читал разную привезенную кем-нибудь из-за бугра антисоветчину, самый истошный самиздат и прочую ходившую тогда в интеллигентных кругах инакомыслию. И вдруг это случилось... Из-за ерунды. Родители моего литературного знакомого Одуева работали в торгпредстве на Ближнем Востоке и, прибыв в очередной отпуск, подарили сыну видеомаягнитофон. Это сейчас в Москве видеомаягнитофонов больше, чем мясорубок, а тогда присутствие этого агрегата в квартире было знаком особой роскоши и вызывающего достатка, ну, как теперь какой-нибудь вечнолетающий Шагал на стене в гостиной.

Получив «видик», предприимчивый Одуев решил резко улучшить свое материальное положение и открыл по примеру других на квартире видеосалон: собрал по знакомым старые стулья, купил видеокассету с двумя фильмами — «Смерть в Венеции» и «Глубокая глотка». Первый, так сказать, для ума, второй — для сердца. Брал он недорого: три рубля с человека, пять — с пары. Причем в эту стоимость входил и граненый стакан чая с ванильным сухарем. Позже он установил контакт с другими подпольными видеокрутами и в порядке обмена мог получить практически любой фильм из ходивших в ту пору по Москве. Бизнес его процветал, тем более что парам, раззадорившимся после просмотра «фильма для сердца», позволялось уходить целоваться в ванную. Я и сам частенько бывал у него и, как все, в перерывах за стаканом чая или еще чего-нибудь последними словами вместе со всеми ругал наше посконное отечественное кино и восторгался западным качеством.

Вскоре, поднакопив денег, Одуев собрался проветриться со своей очередной подружкой в Сочи, а поскольку в ту пору в столице как раз прокатилась серия дерзких ограблений квартир, где имелись видеомаягнитофоны, он оставил «видик» на хранение мне. Получив на две недели аппаратуру в полное обладание, я

решил тоже поправить свои материальные дела. Уезжая, Одуев оставил мне и кассету с фильмами «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» и «Калигула». На «Калигулу» народ повалил валом. Были и такие, которые приходили по нескольку раз и настаивали, чтобы вопреки сложившейся салонной традиции сначала показывали «Калигулу», а только потом уже «Кукушку», дабы попусту не томиться. Кстати, громче всех на этот предмет выступал один лохматый мужик в дешевом залоснившимся костюме. После окончания сеанса он остался, чтобы пообщаться. Говорили, понятное дело, о жизни, точнее, о том, какая у нас в Отечестве подлая, мерзкая, несправедливая, паскудная, безрадостная, позорная, никчемная, убивающая живую душу и благородное сердце жизнь! Звали его Сергей Леонидович, после второго стакана — Сергей, после третьего — Серега, а потом, когда уже сбивались со счета, — просто Серый... Во время разговоров Серый обычно хватался за голову, лохматил свои вихры и стонал: «Куда катимся? Куда катимся?» — и даже плакал, не надеясь получить ответа на этот роковой вопрос...

Вернулся неприлично загорелый Одуев, забрал аппаратуру. А еще через неделю мне позвонили и осторожным голосом предложили явиться в 16.00 в районное управление КГБ в комнату номер 17. Я обомлел. Разумеется, из ходивших по рукам «Посевов», «Граней» и перепечатанных через копирку писем «узников совести» я отлично знал, что у нас в стране к каждому гражданину приставлен наподобие ангела-хранителя агент КГБ, а то и два, а мне с работниками этой утрюмой организации сталкиваться еще не доводилось.

Управление располагалось в том же доме, где и булочная, куда я заглядывал почти каждый день, не обращая внимания на зеленые ворота с металлической калиткой. Уже по тому, как на меня взглянул сержант с синими погонами, я понял, что крупно влип. Накануне, честно говоря, я обзвонил самых верных друзей и посоветовался, как себя вести, в чем сознаваться, а что намертво отрицать. Все они, уверенно ссылаясь на статьи из «Посева» и письма правозащитников издалека, предупреждали: главное — ничего не подписывай, коси под идиота, но не до такой степени, чтобы прямо из «конторы» отправили в психушку.

В маленьком кабинете номер 17 под портретом насупленного Дзержинского сидел веселенький Сергей Леонидович, он же Сергей, он же Серега, он же Серый...

— Ну привет! — сказал он.

— Привет, — вымолвил я.

— Не бойся! За организацию подпольного просмотра порнографической кинопродукции — до пяти лет усиленного режима. Вот такое кино! Но ты не переживай — ты мне нужен на свободе.

— Зачем?

— Там посмотрим.

— Я ничего подписывать не буду! — ответил я с той истерической непреклонностью, следом за которой обычно идет полная и чистосердечная «сознанка».

— А на хрена мне твоя подпись? Если подпишешь, тебе деньги платить надо. А где их взять? Куда катимся! Мы уж лучше с

тобой на общественных началах потрудимся... По-дружески. Или нет?

Я кивнул, вспомнив передачу радио «Свобода» о разгуле гомосексуального террора в советских лагерях.

— Тогда ажур! Вот мой телефончик. Будет хорошее кино — позванивай!

— У меня теперь нет «видика»...

— Знаю. А телефончик-то возьми, — улыбнулся он.

Когда я брал бумажку, моя рука постыдно дрогнула.

— И что вы все так «контору» боитесь? Такие же люди, между прочим, тут работают. Думаешь, мы всего маразма не видим? Видим, и гораздо лучше вас. Но если все рухнет, ты не представляешь себе, что будет!

— Что? — с совершенно не подходящим к случаю ехидством спросил я.

— Вот когда рухнет — тогда узнаешь...

Я вернулся домой, и когда мне стали звонить встревоженные друзья, спрашивая, зачем вызывали, у меня хватило мозгов наврасть, что все это из-за Снежаны, моей болгарской любви... Они поверили, а Одуев, услышав эту версию, как-то уж слишком показательно стал мне сочувствовать. Сергею Леонидовичу я решил не звонить. Но он через неделю объявился сам и пригласил погулять по вечерней Москве. Мы бродили по Гоголевскому бульвару и обсуждали состояние умов в среде творческой молодежи. Я соглашался с ним, что государственно-патриотическое мышление в ней начисто вытеснено вестернизированным критиканством, но приводить конкретные примеры избегал. А он почему-то не настаивал. В следующий раз он позвонил через полгода, мы снова отправились на Гоголевский, но пошел мокрый поганый снег, и я пригласил его к себе домой. Мы выпили, разговорились, и он рассказал, как десять лет назад его, студента последнего курса строительного института, перед самым распределением (светил ему Крайний Север, а жене оставалось еще два года учиться) пригласили в партком, и незнакомый серьезный дядя, тщательно побеседовав с ним и проявив доскональное знание самых мелких подробностей его биографии, вдруг напрямик предложил поработать в органах. Зарплата порядочная, надбавка за звание и выслугу, лечебные, бесплатный проезд в общественном транспорте, а главное — Москва и, что еще главней, квартира всего через пару лет. Сергей Леонидович согласился и не жалеет, тем более что поначалу работал он почти по специальности — курировал фронтальные организации, где больше занимался хищениями фондрированных материалов, и только один раз, когда новый дом треснул поперек, слегка запахло антигосударственной деятельностью. Но потом его вдруг бросили на творческую интеллигенцию, а там сам черт не разберет! Хорошо хоть жена у него начитанная, постоянно ходит по театрам и выставкам с подружкой и всегда можно проконсультироваться.

Потом у Сергея Леонидовича начались обидные неприятности с женой: оказалось, по выставкам и театрам она ходит не с подружкой, а с другом — каким-то занюханным художником-авангардистом, и продолжается это уже не первый год. Однажды

вечером Сергей Леонидович заявился ко мне с чемоданом, разъяснил, что ушел из дому навсегда, и остался жить у меня. Горе, понятное дело, топили в портвейне, а портвейн, как известно, напиток мизантропический. Разговоры наши были под стать наливаемому:

— Подведу я его под статью. Точно подведу! Он у меня на мордовском солнышке погрееется! — бешено глядя в ненавистное пространство, угрожал Сергей Леонидович, имея в виду художника-авангардиста.

— И подведи! — обезволенный нездоровым напитком, кивал я.

— Нет, не подведу, — качал лохматой головой Сергей Леонидович. — Как я потом людям в глаза смотреть буду? Невинного человека на нары! Я ведь не Ежов какой-нибудь... Я лучше его застрелю, а потом и сам застрелюсь! Я тебе своего табельного «макарова» показывал? Нет! Принесу... Застрелю, гадину!

— Правильно, его застрели, а себя не надо! — умолял я. — Хороших людей и так мало...

— Дай я тебя поцелую!

Я даже познакомил в психотерапевтических целях своего безутешного друга с одной молодой общедоступной поэтессой — однако наутро он заявил, что лучше его беспутной жены все равно никого нет, а эти поэтессы вообще какие-то ненормальные и трахаются даже как-то яббом. В конце концов он пришел к мысли, что разумнее всего будет застрелить жену и сдать ее начальнику своего отдела. С этим Серый от меня и выбрался, а через два дня позвонил и сообщил о полном примирении с женой, она попросила прощения и объяснила свое поведение тем, что он вечно пропадал на службе и совсем ее забросил. Так сказать, невольный протест любящей женщины в неадекватной обстановке.

А безутешному авангардисту, чтобы только отвязаться, он организовал двухгодичную стажировку в Римской академии художеств. Тот там так и осел.

После того случая Сергей Леонидович стал уделять семье больше внимания, утихомирив свою неадекватную супругу двойней. Мы с ним почти не встречались и не вели разговоров об антигосударственных настроениях в среде творческой интеллигенции. Правда, несколько раз он вызывал меня на явочную квартиру — в номер гостиницы «Украина» — и просил до полочки то четвертак, то полтинник: с рождением двойни расходы резко возросли, а я как раз напал на золотую жилу — пионерские приветствия, без которых, если помните, в ту пору не обходилось ни одно стоящее общественное мероприятие. Принимая у меня деньги, он каждый раз хватался за голову и говорил: «Куда катимся? Майор КГБ у писателя деньги до полочки сшибает! Чуешь? А если я завтра у ЦРУ займы попрошу? Плохо это кончится, ох, плохо!» Вот почему, говоря с ним по телефону в холле ЦДЛ, я был почти уверен, что вызывает он меня, чтобы признать очередную четвертак...

В гостиницу «Украина» меня после долгих препирательств со швейцаром все-таки пропустили. Я постучал в дверь номера.

— Заходи! — донеслось из глубин.

Сергей Леонидович лежал на диване и, прихлебывая пиво, смотрел футбол по телевизору.

— Прибыл по вашему приказанию! — отрапортовал я и отдал честь.

— К пустой голове руку не прикладывают. Садись! Берн стакан. Пиво свежее. Чешское.

Я сел. Он встал, убавил звук.

— Ну, что новенького?

— Да так все как-то...

— А что там у тебя за гений появился?

— Витек?

— Витек.

— Хороший парень. Талантище. Такой романище написал!

— Почитать дашь?

— Конечно, — ответил я и достал из портфеля папку.

— Ну-ка подожди! — Он не глядя сунул папку в свой портфель и прибавил звук.

Раздался рев трибун. Спартаковский полузащитник вышел один на один с динамовским вратарем и засандалил точно в штангу...

— Козел! Куда катимся?! — Он снова убавил звук и посмотрел на меня. — А ты-то что с этим парнем носишься?

— Из чувства справедливости!

— Тогда трудное дело затеял.

— Трудное, — согласился я.

— Трудное, но нужное. Погоди-ка... — Он пододвинул к себе телефон и набрал номер. — Николай Николаевич! Привет. Сергей Леонидович беспокоит! Как ты там в своем мелкобуржуазном болоте? Квакаешь? Говорят, у вас там молодые таланты косяками ходят?.. Не ходят. А единичные экземпляры? Тоже нет... А этот, как его, бишь...

— Акашин, — подсказал я.

— А вот Акашин?.. Нет, за ним ничего нет. Наоборот. Я тут его роман начал читать... — Он снова прикрыл трубку рукой.

— «В чашу», — подсказал я.

— ...«В чашу» называется. Просто охреневаю!.. И ты тоже? Ну, вот видишь, а то все жалуешься: нет молодежи, нет молодежи... Давай вместе помогать парню! Ты со своей стороны, мы со своей... Уже помог? Молодец! А что там с Чурменяевым?.. Да понятное дело — мразь: за бейкеровскую горбушку отца родного продаст! Хуже Костожогова какого-нибудь... Вот и давай свои кадры готовить!.. Близнецы? Растут. Жена-то различает, а я иной раз путаю. Ну бывай — на пленуме увидимся...

Сергей Леонидович положил трубку, взялся было за стакан пива, но тут на экране снова возникла какая-то суета в штрафной площадке, и он прибавил звук. Опять раздался рев трибун и захлебывающийся голос диктора. Динамовский нападающий вышел один на один со спартаковским вратарем и въеремил мяч точно ему в пах, так что голкипер скрючился и упал на вытопанную землю.

— Куда катимся! — вздохнул Сергей Леонидович и выключил звук. — Нам бы с тобой этого Акашина на международный уро-

вень вывести. Там их пощупать! Думаю, можно. Вон, Николаич говорит, здорово твой паренек пипет — оторваться не может. А Горьнин — профессионал, зря не скажет...

— Других не держим! — ответил я с тихой гордостью.

— Ну ладно. Давай подумаем, как сделать, чтоб на твоего Акашина идеологический противник внимание обратил. Роман — дело хорошее, но тут ход нужен. Скандальчик! История какая-нибудь с легким запашком, чтоб клюнули... Знаешь, как сомов на тухлых лягушек ловят? А мы прикроем...

— Надо подумать.

— Вот и думай! Голова у тебя хорошая. И я тоже подумаю. На Ирискина у тебя есть выход? От этих ирискиных вся информация на Запад ползет. Браги!

— Поищу! — пообещал я.

— Ищи и звони. Не забывай старого друга!

Я встал.

— Вот черт, совсем заработался, — спохватился Сергей Леонидович. — Ты деньгами случайно не богат?

— Не богат, но есть немного.

— Ты уж извини, четвертачок, как обычно! Через неделю отдам...

...Когда я воротился домой, Витька еще не было. Напоследок я приберег самое приятное — пионерское приветствие профсоюзной конференции. За прошлое приветствие я получил не только гонорар, но и еще бесплатную путевку в Болгарию на Золотые пески. Там у меня состоялся головокружительный роман с черненькой и сладкой, как лакричный леденец, Снежаной из Тырново. Мы отплывали далеко от берега и любили друг друга в открытом море, захлебываясь счастьем и горько-соленой водой. Пожалуй, лучше мне было только с Анкой... Снежана втрескалась в меня по самое некуда. Она все время допытывалась, неужели после всего случившегося мы можем расстаться. А я в ответ энергично кивал, что у болгар в отличие от всех остальных народов означает «нет». Она все время спрашивала, люблю ли я ее больше жизни, а я радостно качал головой, что по-болгарски означает — «да». Но по-русски все эти движения головы означали, как вы уже поняли, совершенно обратное. Неправда, что с женщинами лучше всего объясняться по-французски. Только по-болгарски!

Витек воротился поздно и был хмур до неузнаваемости.

— Ну и как воспоминания? — спросил я.

— Иди ты со своей старухой знаешь куда!..

Далее последовало замысловатое крупноблочное ругательство, которое, конечно, не под силу выдумать одному человеку, и могло оно родиться только усилиями многих поколений отечественных строителей в условиях чудовищной организации труда. Выразившись, Витек проследовал в ванную. Но сразу вернулся с тубиком шампуня:

— А поядреней у тебя ничего нет?

— В каком смысле?

— Ну, какого-нибудь хозяйственного мыла?

— Нет.

— А стиральный порошок есть?

— Есть, под ванной.

Из любопытства и сострадания я пошел за ним следом. Витек нашел непечатную коробку «Лотоса», надорвал и полностью высыпал в горячую воду. Потом разделся и влез по горло.

— Спинку потереть?

— Иди ты!

Далее последовало еще более замысловатое ругательство, отличающееся от предыдущего примерно так же, как «Фауст» Марло отличается от «Фауста» Гете. Могуч и неисчерпаем русский народ!

В это время позвонил Жгутович.

— Спишь?

— Тружусь.

— Слушай, может, Арнольду позвонить? Пусть еще «амораловки» подошлет!

— Совсем плохо?

— Да хуже некуда... Позвони, а? Жена на пределе! А может, у тебя все-таки осталось?

— Ладно, позвоню,— согласился я, глянув на бытулку, где оставалось уже не больше стакана. А этого для того, чтобы плавно от халтуры перейти к «главненькому», было явно маловато.

— Что там наш Витек подельывает? — воодушевленный, спросил Стас.

— Почему это «наш»?!

— Ну, твой, твой.

— В ванной, грехи смывает.

— Заезжал в Дом литераторов — только и разговоров о нем, — тоскливо сообщил Жгутович. — Но ты все равно не выиграешь!

— Выиграю! Так что скорее заканчивай свою энциклопедию, я уже для нее на полке место освободил. Чего ты там еще вычитал?

— Да все то же, — упавшим голосом сообщил Жгутович. — Революцию в России, оказывается, тоже масоны сделали. Керенский был масоном. И все остальные. Ленин, наверное, тоже, но об этом не пишут. Вообще я поражен: как какая-нибудь мало-мальски историческая личность — так масон; как выдающийся человек — так масон...

— Может, они от того историческими да выдающимися стали, что масонами были?

— Я подумаю...

— Подумай! Спокойной ночи!

Я положил трубку, очень довольный тем, как уел самонадеянного Жгутовича, и вдруг почувствовал в комнате бодряще-удушливый запах прачечной. Это был вымывшийся Витек.

— Что это за масоны такие? — спросил он.

— Как бы это тебе попонятнее объяснить, — начал я. — В двух словах не скажешь. Есть много версий, написаны десятки книг... Но если все-таки в двух словах, это такое тайное общество...

— Какое же оно, на хрен, тайное, если о нем десятки книг написаны? Это вроде как у нас на стройке тайное общество было. Три парня стройматериалы с площадки коммуниздили и на сторону продавали, а нам, чтобы молчали, каждый день выпивку ставили. Прорабу, правда, деньгами отдавали...

— Накрыли их?

— Не-е... До сих пор коммуниздят!

— Ну вот, — кивнул я, — а ты про масонов удивляешься. То же самое... И ты на меня, Витек, не злись! Увы, путь к славе вымощен дерьмом. Но победа не пахнет! Ради этого стоит терпеть. А я, со своей стороны, обещаю: старушек больше не будет. Договорились?

— О' кей, — сказал Патрикей. — Я пошел спать.

— А мне еще поработать надо...

Но ни спать, ни работать нам не пришлось: в двадцать минут первого позвонил Одуев и сказал, что я должен срочно приехать к нему домой, что у него сегодня намечается редкостная ночь поэзии и чтоб я обязательно прихватил с собой «этого с кубиком Рубика и романом «В чашу».

— А ты откуда знаешь?

— Вся Москва знает. Жду с содроганием!

Я растолкал Витьку и объяснил, что мы едем в гости.

— Ты охренел — в такое время! — возмутился он, зевая во все лицо.

— У писателей жизнь только начинается. Привыкай! И прими душ — ты весь в стиральном порошке...

Виктор, пошатываясь и налетая на мебель, пошел в ванную, и я, видя его такое беспробудное состояние, на всякий случай сунул в портфель, кроме папки с романом, еще и бутылку с остатками «амораловки».

К СЛЕДУЮЩЕМУ ОТПУСКУ Вы будете ГОВОРИТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ...

□ ... Если обратитесь в ЕШКО.

ЕШКО - это самая большая школа заочного (корреспондентского) обучения в Европе с филиалами в 8 европейских странах. Только в СНГ студентами ЕШКО уже стали более 140 тысяч человек.

□ Вам трудно дается учеба?

50-летний опыт обучения языкам по методу ЕШКО показывает, что занятия требуют от Вас всего лишь 15 минут в день. Уроки содержат необходимую для общения грамматику, кассеты с записью помогут выработать произношение, а специальные типы упражнений позволяют без труда запомнить новые слова. Даже те, кому раньше учеба давалась труднее, добиваются прекрасных результатов.

□ Вы предпочитаете частные уроки?

Метод ЕШКО сохраняет все преимущества частных уроков. Вы учитесь дома, в удобное время, не тратя времени на поездки и ожидание, в том темпе, который сами для себя определили. Ваш личный преподаватель при проверке домашних заданий поможет советами и рекомендациями. И все это за довольно умеренную плату.

□ Вы не хотите рисковать.

ЕШКО предлагает Вам пробный урок **бесплатно**. Вы познакомитесь со Школой и её методикой на практике. Если условия обучения Вам подходят - смело начинайте. ЕШКО дает возможность по ходу курса взять временный перерыв на летний отпуск или каникулы, а также досрочно прекратить обучение.

□ Поможет ли это сделать карьеру?

Несколько тысяч человек уже получили ценное свидетельство ЕШКО после успешного окончания курсов. Оно открыло им новые перспективы в жизни, улучшило их положение на рынке труда, ведь ЕШКО признана во многих странах Европы первой, лучшей и крупнейшей школой корреспондентских курсов.

ЕШКО
ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА
КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО
ОБУЧЕНИЯ
ПЕРВАЯ
ЛУЧШАЯ
КРУПНЕЙШАЯ

Выбирайте один из следующих курсов:

- "Английский для начинающих"
- "Английский для среднего уровня"
- "Немецкий для начинающих"
- "Английский для детей" (с 7 лет)

Стоимость обучения в национальной валюте от 3 до 4 долларов США в месяц в зависимости от выбранного курса.

КУПОН НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИБЫВШИЙ УРОК

Индекс: Город (село)

Область

Улица

№ дома и квартиры Имя и фамилия:

331Н

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ: 308000, Белгород, Почтамт, а / я 80 ЕШКО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ: 310022, Харьков, а / я 248 ЕШКО

Молодежному театру-студии на Спартаковской площади, расположенному в красивом здании, выстроенном в начале XX века в стиле модерн, исполнилось семь лет.

И называется он сегодня театр «Модерн». Возглавляет его режиссер, педагог и актриса Светлана Врагова.

Наверное, лучше чем сказал о ней Иннокентий Смоктуновский, и не скажешь: «Светлана Александровна — прелестный человек, очаровательная женщина, уникальный режиссер... Ее целеустремленность в творчестве, волевое, мужественное, без дамской зауми руководство театром в сочетании с немислимым женским очарованием, нежностью, изяществом достойны преклонения».

С заслуженным деятелем искусств России
СВЕТЛАННОЙ ВРАГОВОЙ
беседует журналист
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВА.

ТЕАТР ДУЖА

— *Еще недавно ваш театр назывался экспериментальным молодежным театром-студией на Спартаковской. Почему вдруг теперь театр носит название «Модерн»?*

— Модерн — это целая эпоха, потрясающе красивая, это осознание времени перелома. Наш театр — театр современный, театр времени перелома, поэтому он так и называется.

Когда мы только создавали наш молодежный театр-студию, было желание сказать в искусстве что-то свое, была огромная энергия, была попытка самоутверждения. В тот период шла борьба с прежней тоталитарной властью, и мы не случайно взяли для первой постановки пьесу Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна», в которой как бы фиксировалось положение вещей на 80-е годы, ставился диагноз состояния советского обще-

ства. Сегодня многое изменилось. И в нашей труппе играют не только молодые актеры. Время диктует свои права, а художник только тогда художник, когда он понимает, что сегодня за время.

— *Второе действие пьесы «Дорогая Елена Сергеевна» сейчас смотрится как страшное пророчество, становится просто не по себе: ведь то, что только еще намечалось, казалось неясным, сегодня приобрело свои четкие очертания, а в вашем спектакле Елена Сергеевна — героиня, противостоящая хамству, наступлению зла, почти сломлена.*

— Готовя этот спектакль к постановке, я знала, что вместо Елены Сергеевны придут другие люди, и придут не лучшие — таково время. Мы все давно как бы попали в клетку, в капкан. Когда этот спектакль был показан в США, американские зрители заметили, что и у



них те же проблемы: все ожидали прихода как бы нового пророка, мессии, а этого не произошло, так как десять заповедей «не работают». Положительный герой рождается в России через огромные страдания, но не сию минуту. После слома в Елене Сергеевне рождается настоящая героиня, всепрощающая, сильная. Но в отличие от пьесы Разумовской в моем спектакле главная героиня не погибает, я не даю ей погибнуть.

— *В конце спектакля весы добра и зла находятся во временном равновесии...*

— Добро и зло... возможно, человеку не дано ощутить границы между первым и вторым. Видимо, и у Бога не существует границ между добром и злом... В спектакле речь шла о милосердии, все герои спектакля нуждались в милосердии. Россия очень сильно страдала и страдает, но, вероятно, еще не

дошла до порога великого страдания. Апокалипсис — это длительный процесс, он идет постепенно...

— *То есть впереди нас ожидает нечто страшное?*

— Думаю, сейчас время развития болезни. Слава Богу, если этот процесс будет остановлен каким-либо великим лекарем. Нам нужен великий лекарь, чтобы не погибнуть, он должен явиться.

— *И об этом ваш новый спектакль «Катерина Ивановна», поставленный по пьесе Леонида Андреева?*

— Да, о необходимости появления лекаря. «Катерина Ивановна» — это продолжение разговора со зрителем, начатого нашим театром в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна». В пьесе Разумовской — катарсис огромной силы, наступающий после страданий. Я считаю, что без катарсиса, без огромного выплеска нет театра,

нет пьесы. Катарсис присутствует и в пьесе Леонида Андреева.

Вообще время серебряного века, время модерна — это время переломное. На этом переломе как бы сконцентрировалась вся красота, вся высочайшая культура, все соединилось в один пучок и дало очень сильную вспышку. Знаете, как костер, перед тем как погаснуть, ярко вспыхивает.

— *А может быть, это агония?*

— Возможно, но скорее вспышка перед агонией, когда человек перед смертью, когда у него наступает озарение, кричит: «Прости!» Возможно, это состояние культуры и отразил модерн. Пьеса Андреева, написанная в эпоху модерна, поставлена сегодня в нашем театре, который заявил, что идет в ногу со временем, отражает это время, время перелома, и потому мы назвали его театром «Модерн».

— *Вы считаете, что такое название современно?*

— Абсолютно. В стиле модерн можно сыграть не только пьесы, созданные на рубеже XIX—XX веков, но и классику. Есть разница между модерном и авангардом. В авангарде мы как бы доходим до конца разрушения, это некий крик. Сальвадор Дали замечательно написал об авангарде — что это хор сумасшедших, песня человечества, сошедшего с ума и поющего свою сумасшедшую песню. Модерн — это когда человек удерживается от сумасшествия. Я очень хорошо отношусь к культуре авангарда, которая точно характеризует состояние души в начале XX века, но произведений в стиле модерн, на мой взгляд, более гармоничны.

— *Сравнительно недавно искусствоведы определяли модерн как упадок культуры.*

— Это неверно. Культура модерна — это частица, продолжение великой русской культуры. В нача-

ле XX века погибала великая русская культура и наступала цивилизация. Собственно, цивилизация и культура существуют в абсолютной борьбе. В Америке есть цивилизация и очень малая культура, у нас — огромная культура и очень низкая цивилизация. Наезд цивилизации на русскую культуру (еще у Чехова, когда вырубает вишневый сад) и произошел в России в начале XX века.

Помните, Лев Толстой безумно боялся паровозов, что сегодня вызывает у нас улыбку. Но он уже тогда понимал опасность цивилизации, и не случайно Анна Каренина попадает под колеса паровоза, под колеса новой цивилизации.

И сегодня цивилизация на нас наезжает, цивилизация с лицом зверя, когда нравственность и душа обретают лицо зверя — и это страшно. Не случайно театр «Модерн» выбрал для постановки эту пьесу Леонида Андреева.

— *Кто из актеров занят в спектакле?*

— Главные роли играют Алена Юрьева-Яковлева, Юрий Васильев — замечательный актер, открытый, серьезный и очень скромный человек, большой работника. Оба они приглашены мною на этот спектакль из Театра сатиры. Заняты и актеры театра «Модерн» — Олег Царев, Сергей Пинегин...

— *Вы много работаете со своими актерами, много репетируете. У вас есть какая-то особая система подготовки актеров?*

— Я считаю, что к хорошей форме актера приведет долгое, тяжелое служение искусству. Только тогда состоится настоящий актер. Выдающиеся актеры, великие актеры — те, кто находится в служении искусству, а не в звездности.

— *Вы, являясь режиссером-постановщиком всех спектаклей, кропотливо работаете с каждым*

актером как педагог. У вас очень интересно проходят репетиции, вы сами показываете все роли...

— Это сущность моего воспитания. Я всегда знала, что, являясь режиссером, должна уметь точно и четко показать любому актеру, как это надо делать. Тогда и появляется полное взаимопонимание с актером, братское взаимопонимание, и тогда я могу от актера требовать невозможного.

— Таким образом, вы соединяете в себе режиссера-постановщика, актера и педагога...

— Педагогика является составной частью режиссерской профессии, ведь в актере прежде всего необходимо взрастить личность. Педагог — это тот, кто открывает в актере личность. Педагогика — наука о личности, об открытии себя. Педагог в какой-то степени должен являться гуру, философом. Режиссер — это уникальная профессия XX века.

— Расскажите о ваших учителях.

— Я училась у Юрия Александровича Завадского и у Марины Сергеевны Анисимовой. Юрий Завадский был великим актером, человеком уникальной культуры и вкуса. Мне просто повезло, что я училась у него. Еще моими учителями были Сергей Александрович Бенкендорф и Мирра Григорьевна Ратнер. Все эти люди — дворяне, причем потомственные, сохранившие каким-то удивительным образом, они являлись и настоящими аристократами. Заветы моих учителей я могу сформулировать в одной фразе: «Необыкновенная культура, высочайшая культура и отсутствие пошлости во всем».

Знаете, мне кажется, что сегодня пошлость заполнила все поры нашего существования.

— Делать пошло — это легче.

— У моих педагогов в их рабо-

тах пошлость отсутствовала. Они много во мне развили актерского, и сейчас все это я стараюсь отдать актерам.

Завадский часто цитировал Гоголя, который говорил, что режиссер — это хоровод, первый актер театра. И я это восприняла однозначно: да, я должна показывать сцены так хорошо, чтобы мои актеры поняли и могли бы сделать еще лучше.

— Не собираетесь сами в ближайшее время выступить на сцене в качестве актрисы?

— Чтобы сыграть самой, необходимо время. Когда я найду это время, то, возможно, что-то и сыграю. Режиссерская профессия — все отдавать, актерская — все забирать. Актеры — жуткие эгоисты, это естественно и понятно, и дай Бог им здоровья на их эгоистическом пути. Режиссер же — в какой-то степени альтруист.

— Сколько спектаклей вы поставили? И какой, на ваш взгляд, явился для вас самым интересным?

— Здесь, в этом театре мною поставлено семь спектаклей, наиболее сильным, мне кажется, был спектакль «Расплюевские веселые дни» по А. Сухово-Кобылину. Но наиболее известным стал спектакль «Дорогая Елена Сергеевна».

До театра на Спартаковской тоже было много разных спектаклей. Самым кассовым являлся «Пятый десяток» в Театре им. Пушкина, в свое время он был известен, наверное, так же, как недавно телефильм «Богатые тоже плачут». Может быть, он был и простеньким, но народ на него рвался. Пожалуй, самый известный — спектакль, поставленный по пьесе Леонида Леонова «Унтиловск». Спектакль появился в Новом драматическом театре, куда меня фактически сослали за мою дея-

тельность в Театре им. Пушкина. (Там я поставила спектакль по пьесе Романа Солнцева «Ждем человека», который был назван антисоветским. И его очень быстро сняли, потому что рабочий класс в спектакле был показан — как это всегда было — не как гегемон, а как быдло, то есть как угнетенный класс.)

В Новом драматическом театре я проработала пять лет, но это был все-таки не мой театр. Вот тогда я и создала театр-студию на Спартаковской. И появился спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», спектакль-шок. Мне дали свободу, у меня не были связаны руки, я ставила то, что хотела. Для меня свобода не стала испытанием, это было необходимостью. Социальные мотивы мало вдохновляют художника, и для меня театр, спектакль — это, как сказал Станиславский, жизнь человеческого духа на сцене, или как у Пушкина: «Истина страстей, правдоподобие чувств в предполагаемых обстоятельствах». Вот формула драмы, и в этом ключе можно ставить и «Бориса Годунова», и Шекспира.

Я очень бы хотела поставить «Зимнюю сказку» Шекспира. Она, на мой взгляд, написана в эдаком стиле модерн. Замечательная вещь, сложная, странная. Вообще Шекспир дает огромные возможности для импровизации.

— *Еще недавно говорили о кризисе театра. А что вы думаете по этому поводу?*

— Налицо кризис в обществе, а не в театре. Театр только отражает этот кризис. Эйдельман сказал великую фразу: «Сначала родился великий читатель, а потом уж Пушкин». Вот когда родится великий зритель, родится и великий театр. Он был у нас в России, но куда-то подевался. Когда мы показывали «Дорогую Елену Сергеевну», у нас был великий зритель, зритель, вос-

питанный на спектаклях Любимова, Эфроса, Ефремова, Товстоногова. Да, конечно, мы все росли в зоне, жили в зоне, а в зоне, говорят, фантазия у людей великая. Кругом все было закрыто стенами, мы воображали себе Америку, Францию, именно воображали. А столкнувшись с настоящей Америкой, поняли, что это мощная цивилизация, совершенно неведомая нам. Мы абсолютно равнозначны. Мы — два континента. Один — Россия, великая культура, другой — США, великая цивилизация. Нам не надо друг друга дополнять. Надо ездить друг к другу в гости. У них — свое, у нас — свое. Бог создал все в многообразии.

**АЛЕКСАНДР ГОНЧАРЕНКО**

39 лет,
Кировоград

*Белая птица истины,
белая в черном небе,
я не был твоим убийцею.
Не был я! Не был! Не был!*

*Не наблюдал я исподволь
молча, среди отребья,
и не пришел на исповедь,
и не поверил в небыль.*

*Тропы, быльем поросшие,
переменив местами,
что же мы, все хороши,
прячемся за крестами,*

*каемся звонко, истово
(думается, по вере)?
Издали и издавна
в нас понапрасну верят.*

*Путает и бередит умы
странный, как все, прохожий:
— Ни на кого другого мы,
мы на себя похожи! —*

*Белая вспышка выстрела
по белому в черном небе.
Словно укутавшись в два крыла,
падала птица лебедь.*

ВЛАДИМИР МАЗИН,

**44 года, зав. клубом,
Нижевартовск**

==

*Среди рябиновых шаров
Похожи листья на ладони,
Тоска по скорости ветров
Нас неожиданно затронет.
Осенний день. Осенний луг.
Осенних ливней пересказ:
Не мы уходим от подруг,
Уходят женщины от нас.
И ничего не изменить:
К зиме готовится природа.
Но — глупо — хочется винить
За расставанья время года.
Прощальный взмах усталых рук.
Прости-прости... — в последний раз.
Не мы уходим от подруг,
Уходят женщины от нас.*

ВИКА ЗВЯГИНА,

**17 лет, школьница,
Москва**

==

*Как часто мне мое воображение
Рисует: загородный дом, осенний лес;
И в лужах у крылечка отраженья
Далеких сине-царственных небес.
Брожу ли я по темным коридорам,
Вдыхаю ль леса свежий аромат,
Я забываю про унылый город,
Про множество проблем и тьму преград.
Я забываю про людские склоки,
Я отхожу от фальши и молвы
И думаю о том, как в жизни сроки
В одно и то же время долги и кратки.*

Симфония осенней тихой ночи
С лидирующей партией дождя
Меняет внутреннюю жизнь и, между прочим,
Скрывает будничность и пошлость бытия.
Большой букет кленовых листьев в спальне,
Полупотухший свет ночной луны,
Потрескивание дров в камине дальнем
Не ощущаю я: я сплю и вижу сны.
А в снах моих ореховая осень,
Незыблемая леса тишина
И лишь листва, колышемая ветром, просит:
«Спаси меня. Мне так нужна весна!»
«Мне грустно думать: лето отшумело,
И все прошло, и нечего уж ждать.
Верни весну! Верни мне душу с телом!
Мне страшно, одиноко умирать!»
Но я молчу, глаза от листьев пряча,
И я бездействую совсем не потому,
Что ощущаю — во сне о листьях плачу,
Нет, просто знаю: не вернуть весну.

ИРИНА РУБИНОВА,

40 лет, педагог,
Урюпинск Волгоградской обл.

На ничейной земле
Я в ничейных цветах заблудилась.
От ничейной любви
По-кликунески плачет душа.
Что далось — не сбылось.
С одиночеством, видно, сроднилась.
И, ничья, я бреду
По ничейной земле не спеша.
А в ничейной дали
Мое солнце надолго садится.
За ничейной спиной
Прячу горести и маету.
И ничейная грусть
Прилетает, когда мне не спится,
И, как птица, садится
Ко мне на плечо... Ну и пусть!
В поцелуе ничейном
Мне губы свело не на шутку.
Тишиною сквозной
Прознобило мое бытие...
А ничейная радость
Заглядывает в окно на минутку.
Убаюкав надеждой
Усталое сердце мое.

РЕНУ



Завтрак гребцов. 1881 г.

АР



МИХАИЛ ЛЕБЕДЯНСКИЙ

Среди знаменитых художников мира встречаются имена, упоминание которых сразу вызывает душевную радость. Есть художники, которых многие знают, их творчеству посвящены монографии, книги, научные статьи. А есть художники, которых просто любят. О них тоже пишут, но подчас предпочитают издавать репродукции их произведений, чтобы без сложных комментариев и специальных пояснений читатели и зрители сами могли любоваться их работами. Таков Ренуар.

В Москве Ренуара можно увидеть в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Все пять его картин, которые хранит музей, размещены рядом на одной стене углового зала.

Почему мне нравится Ренуар? Может быть, потому что в наше время так не хватает простого и ясного взгляда на жизнь, на обычные человеческие радости и чувства.

Хочется увидеть мир и людей в их спокойную, приветливую минуту, когда они отдыхают, смеются, счастливы общению друг с другом. Поэтому с наслаждением видишь тенистый сад, стол, поставленный между деревьями, а вокруг него веселящихся, красивых людей. Их встреча легка и приятна, поэтому так свободно и привольно расположились они за столом «В саду» (Под деревьями).



Ле Мулен де ла Галетт)» (1876). Гремит музыка, танцуют парижане и парижанки, а здесь, в тени, все готово, чтобы спокойно посидеть, выпить стаканчик вина или выкурить папироску, или пригласить стоящую рядом очаровательную подружку на искрящийся весельем танец.

Она только что подошла к столу, к своим друзьям, среди которых изображен друг Ренуара Клод Моне. Одета в розовое полосатое платье с темным бантом на талии, она встала почти спиной к зрителям и склоняется к сидящим за столом, то ли прислушиваясь к их разговору, то ли вступая в их беседу со своей шуткой или анекдотом.

Вся картина соткана легкой кистью, свободными мазками — густыми, когда Ренуар пишет зелень деревьев и кустарников со светлыми бликами просвечивающих через листву солнечных лучей, и прозрачными, когда художник одним движением кисти рисует, например, стеклянный бокал с вином.

Ренуар никогда не считал себя революционером, а тем более не стремился к лидерству в искусстве. Он жил искусством и существовал только для искусства. Поэтому, может быть, то, что он создавал, свободно отдаваясь своим художественным влечениям и склонностям, и было отличным от созданного в искусстве до него.

Среди великих художников мира содружество импрессионистов можно сравнить с созвездием Плеяды, которое на далеком расстоянии воспринимается цельно и едино, а увиденное в приближении распадается на отдельные звезды, или, как иногда образно пишут о созвездии Плеяды, превращается в шкатулку с бриллиантами. Так и великие французские художники-импрессионисты, выделяясь в мировой культуре своей творческой близостью, представляют своеобразное созвездие бриллиантов, где особенно сверкают имена Клода Моне, Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея, Пьера-Огюста Ренуара.

Свою художественную деятельность импрессионисты, в том числе и Ренуар, начинали как «независимые» и «отверженные» официальной французской культурой, сосредоточенной в первую очередь на знаменитых выставках — Салонах. Не ставя перед собой задачу противопоставлять импрессионизм классицизму, а тем более романтизму, Ренуар, например, одно время находился под сильным влиянием творчества Э. Делакруа. Новый шаг в художественном развитии мировой культуры импрессионисты сделали с простой убежденностью, что надо писать то, что видишь и ощущаешь в самый момент творчества, тогда только сделанное на картине сохранит подлинную правду увиденного в жизни. Но для того, чтобы это осуществить, надо было изменить и саму манеру живописного письма, саму технику нанесения красок, их сопоставления друг с другом, которое бы более точно передавало то, что существует непосредственно в природе и в жизни.

Импрессионисты смогли осуществить в своем творчестве ясную по сути своей задачу, несмотря на то, что критики и зрители усваивали эту художественную истину с большим трудом. При чем критики тех лет высмеивали одновременно и живописную манеру импрессионистов, и их сюжеты.

Открытие первой групповой выставки импрессионистов состоя-

лось 15 апреля 1874 года. 25 апреля в газете «Шаривари» появилась статья критика Луи Леруа, которая вошла в историю искусства тем, что в ней впервые прозвучало название «импрессионисты», обозначившее навсегда новое явление мировой культуры. Эта статья называлась «Выставка импрессионистов» и была написана в форме диалога между автором и господином Жозефом Винсентом, художником-пейзажистом, учеником Бертена (академика). Вот небольшая выдержка из этой статьи, характерная и даже сравнительно мягкая в выражениях для критики тех лет.

«— Ах, господин Винсент! Да посмотрите же на эти три полоски краски, которые должны изображать человека среди пшеницы!

— Две из них лишние, одной было бы достаточно.

Я кинул взгляд на ученика Бертена, цвет лица у него становился багрово-красным. Катастрофа казалась мне неизбежной, и господину Моне суждено было нанести последний удар.

— Ага, вот он! Вот он! — вскричал он перед номером девяносто восемь. — Я узнаю его, любимца папаши Винсента! Что изображает эта картина? Вглянитесь в каталог.

— «Впечатление. Восход солнца».

— Впечатление — так я и думал. Я только что говорил сам себе, что раз я нахожусь под впечатлением, то должно быть заложено какое-то впечатление... а что за свобода, что за мягкость исполнения! Обои в первоначальной стадии обработки более законченны, чем этот морской пейзаж...»

Так едко, а это были в сравнении с другими высказываниями и насмешками еще довольно сдержанные выражения, характеризовали творчество импрессионистов многие их современники. Они не поняли и не почувствовали в полной мере, что импрессионисты обновили саму технику живописи, используя масляные краски совсем по-другому, чем это делали их учителя и предшественники. Хотя Ренуар в отличие, например, от своего друга К. Моне не отказывался решительно от опыта и практики старых мастеров и постоянно, на протяжении всей своей творческой жизни, обращался к этому опыту, однако он был истинным импрессионистом в том смысле, что наносил краски на холст, создавал саму живописную фактуру совершенно отлично от техники живописи старых мастеров. Именно эта новая техника вместе с новыми композиционными приемами определила особенности живописи импрессионистов во всем мировом искусстве.

«Мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой!» — это знаменитое восклицание Фауста мог произнести и Ренуар, потому что именно это чувство и душевное состояние часто заставляло его братья за кисть. Прекрасное мгновение в восприятии природы и человека составляло основу живописи импрессионистов, и художник вслед за своим впечатлением определял сюжет, композицию и технику исполнения. Запечатлеть на холсте то, что в данный момент видит и чувствует художник, — вот то, что составляет особенность импрессионистической живописи.

Поэтому, кстати, эта новая живопись казалась современникам сумбурной, случайной и небрежной. Воспитанные на других образцах, они в большинстве своем не понимали и не принимали импрессионистов, которые отказались от возвышенных классиче-

ских и романтических сюжетов и писали только то, что видели и остро переживали. А видели и переживали они то, что видели и переживали люди в своей будничной жизни. Отсюда и глубокий демократизм живописи импрессионистов, так ярко выделяющийся их в истории всего мирового изобразительного искусства.

Характер Ренуара определить особенно трудно среди твердых характеров его друзей, таких, например, как Клод Моне или Поль Сезанн. Он более их колебался в отношении к участию в официальных выставках Салона и в определении своей особенной манеры писать картины, как в самом ее техническом исполнении, так и в выборе сюжетов и композиционных приемов, более других ощущая на себе влияние старых мастеров и своих предшественников от Рафаэля до Делакруа.

Единственное, пожалуй, в чем он был неизменен с юных лет и до глубокой старости, когда все его тело было сковано жесточайшим ревматизмом и его сажали в кресло перед мольбертом, а к руке привязывали кисть, — то это охватывающая его душу, его острое живое восприятие радость от наблюдения сверкающей всеми красками жизни, цветов, красивых женщин. Среди наших русских художников такую драматическую судьбу и такое ослепляющее жизнерадостностью мироощущение имел Борис Кустодиев.

Ренуар любил жизнь. Но сказать так — это и сказать очень много и почти ничего не сказать, так общеупотребительна эта фраза. Ренуар любил жизнь душой и глазами и умел самым непостижимым образом передавать это ощущение на своих картинах. Пожалуй, во всем мировом искусстве в этом отношении нет Ренуару подобных, а может быть, и равных.

Художники рождаются, не выбирая эпоху, общество, сословие, национальность. Жизненный путь и творческая судьба талантливых людей непредсказуемы, и большинство начинало свой путь в случайных обстоятельствах. Пьер-Огюст Ренуар родился в Лиможе 25 февраля 1841 года в семье многодетного портного.

Биография Ренуара ничем особенным не примечательна, если только постоянно не иметь в виду страсть к рисованию и живописи. Его жизнь шла своим чередом, исполненная трудов с самых малых лет, поисков денег на жилье, хлеб насущный и мастерскую, а затем на семью и детей. В конце жизни к нему пришли слава, успех и материальный достаток, но, приобретя все это, он потерял здоровье, не мог двигаться без помощи служанок и инвалидного кресла. И если бы не было счастья творчества, его дух, наверное, угас раньше времени, находясь в беспомощном и недвижимом теле.

Когда Ренуару было четыре года, его отец с семьей переехал из Лиможа, известного во всем мире своими эмалями, в Париж. С этим городом и связана вся жизнь Ренуара. С самого раннего возраста он любил рисовать. В 1854 году Ренуара отдали в учение на фабрику фарфора братьев Леви. Отец мечтал, что, может быть, со временем сыну удастся поработать и на Севрской мануфактуре. На фабрике братьев Леви Ренуар чувствовал себя прекрасно, быстро освоил ремесло, с удовольствием смотрел, как его краски сверкают на готовых фарфоровых изделиях.



В это время он предпочитал скульптуру живописи и начал подолгу бывать в Лувре. Здесь его восхитили французские художники XVIII века. На фарфоровой фабрике он расписал целый сервиз, копируя «Купание Дианы» Франсуа Буше. Хозяйке так понравилась работа Ренуара, что он подарил ему одно из расписанных им блюд. Кстати, упоминая о юношеском увлечении Ренуара скульптурой, можно заметить, что художник всю жизнь писал картины, и только незадолго до своей смерти, в 1913 году, решил заняться скульптурой. В это время он сам уже был не в состоянии лепить. Однако его познакомили с учеником Майоля, двадцатитрехлетним Ришаром Гвино, который вместе с Ренуаром, указавшим ему, как строить композиции, где убирать, где добавлять материал, вылепил много скульптур, замысленных и выполненных под руководством Ренуара.

Дела на фарфоровой фабрике шли трудно, ручная роспись, которой занимался Ренуар, сходилась на нет, подмененная печатанием рисунков на посуде, случайные работы приносили гроши. Ренуар вынужден был уйти из фарфоровой мастерской, где его ремесло стало никому не нужно, и занялся росписями вееров. К этому времени относятся его первые стойкие художественные увлечения, существенно повлиявшие на его дальнейшее творчество. Рассказывая о своей юности коллекционеру и торговцу картинами А. Воллару, он вспоминал, что был потрясен скульптурным обликом «Фонтана невинных» Жана Гужона в Париже, а первыми художниками, которых он узнал и полюбил, копируя рисунки для фарфора и вееров, были Ватто, Ланкре, Буше. Может быть, в этих юношеских увлечениях как раз и проявилось его пристрастие к пышным, полнокровным скульптурным формам женского тела и тонким, изящным, эмалевым сочетаниям красок и линий, свойственным работам знаменитых французских художников XVIII века.

Работая в мастерской по росписи штор и вееров, Ренуару удалось скопить небольшие средства для того, чтобы оплатить учебу в Школе изящных искусств. Без колебаний он выбирает путь живописца. В начале 1862 года выдерживает экзамены, а 1 апреля его принимают в Школу изящных искусств, и он поступает в мастерскую Глейра. С этих пор Ренуар полностью отдает себя, всю свою жизнь искусству и творчеству.

В это время он был строен, худ, подвижен, с русыми волосами и выразительными светло-кариими глазами. На склоне дней, по воспоминаниям сына, «он обладал острым зрением. Нередко он указывал нам на хищную птицу, парящую над долиной речки Кань, или на божью коровку, ползущую по стебельку в густой траве. Нам, с нашими двадцатилетними глазами, приходилось искать, напрягаться, спрашивать... До того, как его разбил паралич, он был ростом один метр шестьдесят шесть сантиметров. Волосы, некогда светло-русые, а потом белые, довольно обильно росли на затылке. Спереди череп был совершенно голый. Этого, однако, нельзя было видеть, потому что он привык постоянно

Завтрак гребцов. Деталь. 1881 г.
Трактир матушки Антони. 1866 г.
Женщина с зонтиком и ребенком. 1873 г.
Алжирская женщина. 1870 г.
Спящая девушка. 1897 г.









ходить с покрытой головой даже в помещении. Горбатый нос придавал его профилю решительность. Кто-нибудь из нас подстригал клиншпком его красивую седую бороду».

В мастерской Глейра Ренуар познакомился и подружился с Клодом Моне, Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем, и они составили дружную группу, объединенную отношением к жизни и творчеству. Глейр был далек от художественных стремлений своих учеников, придавая главное внимание рисунку, а не цвету, классическим образцам, а не реалистическому изображению того, что видишь. Эти его установки воздвигли стену непонимания между ним и Клодом Моне в первую очередь. Отчасти это задело и Ренуара.

Клоду Моне Глейр советовал: «Перед вами коренастый человек, вы и рисуете его коренастым. У него огромные ноги, вы передаете их такими, как они есть. Все это очень уродливо. Запомните, молодой человек, когда рисуете фигуру, всегда нужно думать об античности. Натура, друг мой, хороша, как один из элементов этюда, но она не представляет интереса». А взглянув на работу Ренуара, Глейр заметил: «Вы, несомненно, ради забавы занимаетесь живописью?» — «Ну, конечно, — ответил Ренуар. — Если бы меня не забавляло это дело, поверьте, я не стал бы им заниматься». Но, несмотря на эти суждения, ученики, в их числе и Ренуар, неплохо относились к Глейру за его терпимость и бескорытность, так как в отличие от других учителей он брал деньги только на оплату аренды и содержание натурщиков.

Сдав последний экзамен в Школе в 1864 году, Ренуар вместе со своими друзьями начал трудный самостоятельный путь живописца. Несколько имен современных художников волновали Ренуара в то время, и среди них были Делакруа, Энгр, Курбе и Коро. Познакомившись с творчеством мастеров «барбизонской школы» и в особенности Диаза, а также с живописью Эдуарда Мане, Ренуар испытал их сильное влияние. О Диазе, который как-то защитил его от нападков хулиганов и таким образом они познакомились, Ренуар говорил: «Я люблю, когда в лесном пейзаже чувствуется сырость. А у Диаза пейзажи часто пахнут грибами, прелым листом и мхом».

С 1864 по 1874 год, когда открылась первая выставка импрессионистов, прошло целое десятилетие. В истории Франции самым памятным и тяжелым событием этого времени была война с Пруссией, разгром французской армии под Седаном и провозглашение III республики, Парижская коммуна. Фредерик Базиль погиб в 1870 году. Курбе, поддержавший коммуны, после ее разгрома понес наказание. Ренуар глубоко ненавидел войну и с трудом перенес это тяжелое время. А все остальные годы его жизни были заполнены каждой творчеством, искусством, друзьями, нуждой, счастливой беспечностью молодости и убеждением, что все в конце концов как-нибудь устроится и будет хорошо.

Ренуар, по натуре застенчивый, импульсивный, сдержанный и даже молчаливый в кругу друзей, в особенности среди таких блестящих, как старшие по возрасту Эдуард Мане или Эдгар Дега, был в глубине души легким и достаточно беспечным человеком. «Я никогда не пытался управлять своей жизнью, — говорил Ренуар впоследствии, — я всегда плыл по воле волн». После школы Ренуар бедствовал, с трудом добывал деньги на краски и

холст, жил у своих друзей, в частности, в мастерской Базиля, из своих крох помогал тем, кому было еще труднее, чем ему, в особенности Клоду Моне. Он писал Базилю: «Сыты мы не каждый день. И все же я доволен, потому что для живописи Моне — отличный компаньон».

Как жил Ренуар в это время и что составляло счастье и радость его жизни? Главное — это была живопись. Она подсказывала ему маршруты его поездок и его увлечений: писать на открытом воздухе, как Коро, как Диаз, как художники «барбизонской школы», писать объемно и осязаемо, как это делал Курбе, а затем почувствовать красоту открытого чистого цвета, проложенного не мастехином, как часто писал Курбе, а более мягко и нежно, как это делал Эдуард Мане. Последовательно и постепенно Ренуар перейдет к письму мелкими мазками и к такой фактуре живописи на холсте, которую приятно потрогать руками. Ренуар со своими друзьями жил в тех местах под Парижем и на берегах Сены, которые до них обжили любимые ими художники-барбизонцы, но и они сами нашли свои лужайки, пристани и кабачки, которые навсегда прославились на их картинах: Шату, Буживаль, Аржантей...

Ренуар вместе с Сислеем совершил на паруснике путешествие по Сене до Гавра. Тогда многие увлекались греблей, парусным спортом, плаванием. А они еще использовали и всякий удобный случай, чтобы останавливаться там, где им вздумается, и писать этюды. Впоследствии атмосфера этой жизни, плещущаяся вода, крепкие гребцы и лодочки со своими подругами станут темами многих известных картин и портретов Ренуара.

162 После окончания Школы, в счастливые дни юности, Ренуар и Сислей много времени проводили вместе. Они писали на пленэре в пригородах Парижа. В одном из таких местечек, в Марлотт, они обосновались и здесь столовались в харчевне матушки Антони. Тут Ренуар написал картину «Трактор матушки Антони» (1866).

Стены этой харчевни были расписаны художниками, которых приютила здесь старая хозяйка, написанная Ренуаром в глубине сцены, и ее молоденькая служанка Нана. Пудель Тото занял первый план картины, а на стуле перед ним Ренуар написал своего друга Альфреда Сислея, который облокотился правой рукой на стол, где лежит номер газеты «Л'Эвенман», в которой Золя публиковал страстные статьи против жюри Салона и в защиту новой живописи и новых художников. Картина написана под явным влиянием Г. Курбе, с многочисленными бытовыми деталями, привлекавшими внимание художника. В будущем он будет более лаконичен. Единственная вольно расположившаяся здесь фигура — Сислей, который сидит вполоборота от зрителей, беседуя с другим посетителем. В этой раскованной позе Сислея намечается Ренуаром линия свободных композиционных построений портретов, отличных от бытовавших тогда портретных академических композиций.

Середина 70-х годов была чрезвычайно насыщенной в жизни и творчестве Ренуара. Именно в это время он интенсивно и плодотворно работает в самых различных жанрах живописи, делая

много портретов, пейзажей, натюрмортов и соединяя все свои творческие силы и возможности в создании большой картины «Бал в Ле Мулен де ла Галетт». В это время происходит самый напряженный момент борьбы между художниками, открывшими свою первую выставку в 1874 году, которая стала первой выставкой импрессионистов, и официальным Салоном. Ренуар играет самую активную роль в организации первых выставок импрессионистов и вместе с тем не отказывается от желания выставляться в Салоне.

В середине 70-х годов Ренуар создает свои самые знаменитые импрессионистические работы: «Ложа», «Чтение роли», «Качели», «Обнаженную в солнечном свете», «Первый выход», «Бал в Ле Мулен де ла Галетт» и многие другие. Круг его друзей необыкновенно расширяется, и мы встречаем среди них тех, кто в трудные времена ободрял и поддерживал Ренуара всем, чем только возможно. К его друзьям-художникам в это время присоединяются богач, коллекционер и художественный критик Теодор Дюре, страстный поклонник Делакруа, а впоследствии Сезанна, с которым его познакомил как раз Ренуар, таможенный чиновник Виктор Шоке, знаменитый торговец картинами Дюран-Рюэль. В 1875 году Ренуар знакомится с крупнейшим издателем современной французской литературы Жоржем Шарпантье и его женой, которые вводят Ренуара в свой салон. Здесь собирались Золя, Доде, Гонкуры, Мопассан и даже Тургенев.

В это время у Ренуара появляются несколько постоянно работающих с ним моделей. Девушка с Монмартра по прозвищу Нини стала главным персонажем его картины «Ложа». Несколько великолепных портретов Ренуар создает с актрисой театра Одеон Генриеттой Анрио. Возможно, она подсказала Ренуару тему портрета «Чтение роли». Она позировала ему для портрета в рост «Парижская леди». В 1876 году он пишет портрет Генриетты Анрио, который сейчас находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

В 1875 году Ренуар знакомится с Маргаритой Легран, которая на четыре года, вплоть до своей ранней смерти в 1879 году, становится любимейшей моделью художника. Она с охотой танцевала в Ле Мулен де ла Галетт и, конечно, написана Ренуаром на его большой картине. По-видимому, именно она качается на качелях, позируя для знаменитой работы «Качели». Она сидит на корме лодки в картине «Девушка в лодке». Марго Легран вместе с другой девушкой Нини Лопес составляет женский дуэт на картине «После концерта». Она же — в картине «Чашка шоколада».

Ренуар был очарован ее живым характером, естественным изяществом, смелостью, красотой. Она умерла от оспы, и трудно читать без душевного волнения письма Ренуара к доктору Гаше и гомеопату де Беллио, которые по его просьбе лечили Марго в ее последние дни. Для Ренуара ее смерть была большой утратой. Ее портрет в профиль — восхитительную головку в золоте вьющихся волос, выбивающихся из-под модной темной шляпки, с белым платком вокруг шеи, с нежными мягкими линиями носа и пухлых губ, передающими прелестный образ юной девушки, — Ренуар подарил доктору Гаше.

Другая модель Анна Лебер позировала Ренуару для ставшей шедевром импрессионизма картины «Обнаженная в солнечном свете», которую художник выставил на второй выставке импрессионистов. Некоторые исследователи именно эту Анну признают моделью «Обнаженной» из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и считают, что письма Ренуара к доктору Гаппе о помощи бедной девушке — «малютке», «бедняжке», как называет ее в письмах Ренуар, — относятся к этой Анне, так же рано умершей от оспы, как и Маргарита Лейгран.

Можно ли считать «Обнаженную в солнечном свете» портретом? В какой-то степени можно, если считать портретом изображение человека, соответствующее его внешнему и внутреннему образу. Ведь Анна, девушка Монмартра, была не очень щепетильной, и ее обнаженный вид, ее спокойствие и даже радостное выражение лица среди тепла, зелени и освещающих ее красивое молодое тело солнечных лучей отражали простую и безыскусную ее сущность, — молодая женщина счастлива, когда она красива, здорова, привлекательна.

Правда, сейчас, любясь этой картиной как общепризнанным шедевром импрессионизма, мы с особым интересом и, может быть, с усмешкой прочтем отзыв об этой картине художественного критика тех лет Альберта Вольфа, который писал в «Фигаро»: «Внушите господину Ренуару, что женское тело — это не нагромождение разлагающейся плоти с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые свидетельствуют о том, что труп уже гниет полным ходом».

Таких критиков, как А. Вольф, непримиримых врагов импрессионистов, было в то время очень много. Но в это же самое время у Ренуара и его товарищей стали появляться и верные, надежные друзья. Одним из них стал Виктор Шоке — скромный чиновник, страстный поклонник творчества Делакруа. К тому времени, когда Шоке познакомился с Ренуаром, ему было пятьдесят четыре года, и обладая скудными средствами, но неутолимой страстью коллекционирования, тонким вкусом и независимостью суждений и оценок, он собрал двенадцать холстов, акварелей и рисунков Делакруа. А к концу своей жизни у Виктора Шоке было восемьдесят две работы Делакруа, из них двадцать три работы маслом.

На распродаже картин после первой выставки импрессионистов в отеле Друо картины Ренуара произвели впечатление на Виктора Шоке и Жоржа Шарпантье. Последний, купив за сто восемьдесят франков «Рыболова с удочкой», в дальнейшем сыграл огромную роль в его жизни.

Встреча Ренуара с Жоржем Шарпантье и его супругой открыла художнику двери в высший интеллектуальный свет Парижа. Шарпантье унаследовал издательское дело своего отца и успешно его продолжил и расширил. Он стал издавать произведения молодых в то время Золя, Доде и Мопассана, которые с каждой вышедшей в свет книгой приобретали не только французскую, но всевропейскую славу. Мадам Шарпантье, зная склонность своего мужа к парижской богеме, умело и умно сосредоточила в своем доме цвет парижского общества. Ее салон собирал многих выдаю-



пихся деятелей французской культуры: вместе с уже названными писателями постоянными ее гостями и друзьями были композиторы Сен-Санс и Массне, политик Гамбетта, Дега, Моне и многие другие. Среди них Ренуар нашел блестящее общество, в котором он был принят и обласкан, в первую очередь самой хозяйкой.

Ренуар, как истинный художник, мало говорил, еще меньше философовал среди посетителей салона мадам Шарпантье, а больше приглядывался, насыщая свою зрительную память, и выражая все свое отношение к происходящему, к окружающему его миру и людям в красках, в картинах и в первую очередь в портретах. Он принимал заказы и сам выражал желание писать портреты полюбившихся ему или поддерживающих его людей. Получив приглашение в загородный дом семейства Доде, он пишет портрет жены писателя и прекрасный пейзаж Сены в Шамрозе, где они жили. Он создает портрет сидящей на стуле девочки Жоржетты Шарпантье и в это время пишет погрудный портрет самой мадам Шарпантье.

На третьей выставке импрессионистов Ренуар выставил эти портреты, а также «Качели», «Бал в Ле Мулен де ла Галетт» и другие работы — всего двадцать одно полотно. Публики на этой выставке было много, Шоке страстно пропагандировал в залах новое искусство и новых художников, но критика была по-прежнему, в основной своей массе, настроена отрицательно и саркастически. На четвертой выставке импрессионистов Ренуар уже не выставляется, а сосредотачивает все силы, чтобы добиться участия в Салоне 1879 года. И здесь ему всестороннюю помощь оказывает мадам Шарпантье.

После работ над самостоятельными портретами мадам Шарпантье и ее дочери Ренуар пишет большой портрет «Мадам Шарпантье со своими детьми», который принес ему громкий общественный успех, неплохой материальный достаток, новые знакомства и новые заказы.

Ренуар любил теплые погожие дни весной и летом. Кажется, только два раза в жизни он писал зимний пейзаж. Солнце, как и все на свете, оживляло его краски и его картины. Особенно много он писал таких картин в 70-е годы, в пору наивысших взлетов его импрессионистического искусства. Он любил желтый цвет, и много оттенков желтого цвета было всегда на его палитре. Ренуар щедро и с удовольствием использовал эти цвета и на портретах, и в пейзажах, и в натюрмортах. Но в 70-е годы он часто соединял желтый цвет с реальной передачей солнечных лучей. Здесь можно вспомнить и «Обнаженную в солнечном свете», и «Качели», и виды «Лягушатни».

Солнце заполняет многие работы Ренуара. Он радуется ему естественно и искренне, как счастливый ребенок или влюбленный. Многие его картины и портреты залиты солнечными лучами: «Влюбленные», «Новый мост», «Большие бульвары», «Лиза с зонтиком».

В 1876 году Ренуар написал две картины, которые стали особенно знамениты — «Качели» и «Бал в Ле Мулен де ла Галетт». На третьей выставке импрессионистов обе эти картины висели в

экспозиции, обе они, как и вся выставка, были встречены насмешками, а Ренуар после этой выставки стал меняться и постепенно отходить от импрессионистического письма, чувствуя другие возможности своего дальнейшего творческого развития.

В 1876 году он переживал какой-то особый подъем. На Монмартре он снял недорого студию с садом. Совсем рядом находился танцевальный зал «Ле Мулен де ла Галетт». Ренуар со своими друзьями и знакомыми постоянно бывал в нем. Музыка, веселые танцы, незатейливое угощение, красивые молодые девушки со всего Монмартра отдыхали в этом зале. Атмосфера непринужденной радости и веселья царила здесь. Чувствуется по картине, как Ренуар всем сердцем воспринимал этот искрящийся молодостью и красотой праздник жизни, где отдыхали такие же, как и он сам, еще малоизвестные публике художники, журналисты, артистки.

Журналист Жорж Ривьер отметил в своих заметках о создании картины «Бал в Ле Мулен де ла Галетт», что она является портретом парижской жизни того времени. Это относится и к самой традиции жителей Монмартра собираться в воскресенье и в праздничные дни на танцы под акациями на площадке, окруженной грубо сколоченными скамейками и столиками, где ставили бутылку вина и подавали простые галеты. Отсюда, кстати, и название знаменитого в то время простонародного дансинга.

Особенностью этой картины Ренуара журналист назвал то, что художник впервые сделал сюжетом своего большого холста случайный эпизод самой обыденной жизни. Такой подход к выбору тем для своих картин стал отличительной особенностью живописи импрессионистов. В конце 70-х и начале 80-х годов Ренуар написал целый ряд замечательных картин, подходя к поиску тем и сюжетов таким образом. Среди этих картин Ренуара можно выделить яркие своими портретными образами картины «После завтрака», «Гребцы в Шату», «Завтрак у реки» и большую, в размер «Бала в Ле Мулен де ла Галетт», многофигурную картину «Завтрак гребцов» 1881 года.

Эту картину с полным правом можно назвать групповым портретом. В отличие от «Бала в Ле Мулен де ла Галетт» здесь укрупнен масштаб фигур, все они портретны и узнаваемы и составляют основное содержание картины. Пейзаж, окружающий террасу, на которой собрались друзья, зелень вокруг, виднеющаяся сквозь нее Сена с бегущими по ней парусниками и лодками составляют атмосферу картины, ее радостный фон.

На нем написаны все участники встречи, собравшиеся за уставленным вином и фруктами столиками в ресторане Фурнеза в Шату. Сам хозяин стоит здесь, опершись спиной и руками на перила террасы, крепкий, уверенный в себе мужчина, одетый в рубашку без рукавов, обнажившую сильные руки. Перед ним, за столиком, сидит очаровательная девушка, посадившая перед собой на стол маленькую пушистую собачку и забавляющаяся игрой с ней. Ренуар представил зрителям Алину Шериго, которой в ту пору было чуть больше двадцати лет и с которой он окончательно свяжет свою жизнь именно в 1881 году, хотя официальная регистрация их брака состоится только в 1890-м.

Здесь мы чуть отвлечемся от остальных образов картины и

задержимся на фигуре Алины Шериго, которую Ренуар считал в конце своей жизни идеальной матерью и женой. Она была дочерью крестьян-виноделов из Бургундии. Отец оставил ее с матерью перед войной в 1870 году и уехал в Америку. Мать с дочерью перебралась в Париж и стала портнихой. Дочь помогала ей. Ренуар познакомился с Алиной в молочной, где завтракал и обедал. Сын художника вспоминает, что она, когда у нее было время, особенно в воскресные дни, позировала ему: «Я ничего не понимала, но мне нравилось смотреть на то, как он пишет». «В двадцать лет, — говорит далее Жан Ренуар, — она уже была пухленькой, но с осиной талией. Картины, где она фигурирует, помогают мне вспомнить ее облик. Я уже упоминал, что Ренуара привлекали женщины типа «кошечки». Алина Шериго была совершенством в этом жанре. «Хотелось почесать ее за ушами!» Целомудренные намеки моего отца на этот период жизни заставляют меня думать об их огромной взаимной любви».

В дальнейшем Ренуар неоднократно писал Алину, например, ее портрет 1885 года и поздний, где она представлена пышной седовласой матроной, — 1910 года. Изображал он ее и с детьми — Алина родила Ренуару трех сыновей: Пьера, Жана и Клода. Она ушла из жизни раньше Ренуара, в 1915 году, после сердечных потрясений, испытанных ею за раненого сына Жана, которому собирались ампутировать ногу. Сына она спасла. На могильной плите Ренуар сначала хотел поставить скульптурную композицию «Материнство», использовав композицию одной из своих картин, но затем остановился на скульптурном бюсте жены. Сейчас, на кладбище в Эссеу, на родине Алины, Ренуар, умерший в 1919 году, покоится рядом с женой.

Среди всех художников-импрессионистов Ренуар был, пожалуй, наиболее склонным к соблюдению традиций, во всяком случае, на протяжении своей жизни он часто об этом упоминал. «Что до меня, — говорил Ренуар, — то я всегда отказывался быть реформатором. Я всегда полагал и полагаю в настоящее время, что я лишь продолжаю то, что другие сделали до меня и гораздо лучше меня».

Однако, несмотря на эти слова и на этот образ мышления, он вместе со своими друзьями открыл новые горизонты живописной техники и показал зрителям живопись, глубоко отличную от той, которая существовала до него. Его картины узнаваемы среди мировых шедевров, и он сам, Пьер-Огюст Ренуар, предстает на них глубоко самобытным и ни на кого не похожим мастером.

Изменения живописной техники Ренуара явственно заметны в исполнении его картин, от самых ранних и до самых поздних, написанных в старости изможденными и измученными сильнейшим ревматизмом руками. Но болезни и огорчения Ренуара отступали от него, когда он садился за мольберт. Тогда все его существо охватывали радостные и светлые чувства, которые непосредственно и легко ложились мазками ярких красок на его холсты.

«Пока Ренуара, — вспоминал его сын Жан Ренуар, — усаживали в кресло на колесах, натурщица располагалась на своем месте, в траве, пестревшей всевозможными цветами. Листва про-

пускала лучи солнца, которые рисовали узоры на красной кофте. Еще слабым после тяжелой ночи голосом Ренуар распоряжался — какие щиты снять или поставить, как задергивать или отодвигать шторы, чтобы загородиться от слепящего средиземноморского утра. Пока ему готовили палитру, он порой не удерживался от стога. Приноровить свое искалеченное тело к жесткому креслу на колесах было мучительным делом...

На ладонь Ренуара клали защитный тампончик, потом протягивали ему кисть, на которую он указывал взглядом. «Эту, нет... ту, которая рядом...» Пейзаж будто вобрал в себя все богатство мира... «Это божественно!» Мы взглядывали на него. Он улыбался и подмигивал нам, как бы беря нас в свидетели того согласия, которое устанавливалось между травой, оливами, натурщицей и им самим. Спустя мгновение он уже писал, напевая.

Для Ренуара начинался день счастья...»

Демократичность в выборе сюжетов и тем более всех была свойственна Ренуару среди его друзей импрессионистов. Ни Моне, ни Писсарро, ни Сислея, ни Дега, никто из них так часто не обращался к живописи обыденных случайных сценок и типов, увиденных на улице, в театре, в маленьком ресторанчике. Ренуар вдохновлялся такими сюжетами, его глаза восхищенно воспринимали поэзию, и благодаря ему зрители его картин обнаружили, что каждый случайный миг жизни человека наполнен высочайшей красотой и поэзией. Ренуар своей душой и талантом помог увидеть нам, его многочисленным почитателям, как прекрасны люди, и каждому мгновению жизни можно крикнуть «Остановись!», так как оно прекрасно. На своих картинах Ренуар останавливал прекрасные мгновения, и мы увидели, какой волшебный мир красоты повседневно окружает нас.

Мы благодарны Ренуару. Так ярко и вдохновенно уметь видеть и изобразить прелесть и очарование повседневности, как это сделал Ренуар на своих картинах и многочисленных портретах, мало кто мог. Его творчество освежает наши глаза и чувства, оно заставляет нас по-новому, восхищенно и влюбленно, взглянуть на людей и природу, оно учит нас видеть красоту в любом мгновении нашей жизни.

И здесь невольно приходит на память знаменитое четверостишие Вильяма Блейка из «Прорицаний невинности»:

*В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.*

Ренуар писал вечность. Ему открылся тайный смысл сущего. Бесхитростная душа его даже костенеющей рукой выводила бессмертные образы всего живого — женщин, детей, плоды и цветы. Мы остались с созданиями Ренуара на темной дороге жизни, увидев на его полотнах то, что хотелось бы ценить более всего на свете — любовь и красоту людей и окружающего нас прекрасного мира.

Только за первое полугодие 1995 года, по сведениям Центра общественных связей Министерства внутренних дел РФ, в России зарегистрировано 671,4 тысячи преступлений. Из них 187 тысяч — тяжкие. Каждое четвертое преступление из этой категории — убийство. Около 47 тысяч... Однако, как сказал директор Центра Владимир Ворожцов, за год судами выносится лишь 200—300 приговоров о применении высшей меры наказания — смертной казни, как правило, за совершение особо жестоких преступлений. Например, когда речь идет об убийстве двух и более человек.

Преступник, кем бы он ни был — профессиональным убийцей-киллером или опустившимся алкоголиком, действовавшим в пьяном угаре, — для нас всегда был и остается здаким генетическим браком природы, социальным мутантом. Он нам страшен. Страшен вдвойне, когда оказывается: до совершения преступления это был совершенно обычный, ведущий вполне законопослушную жизнь человек. Такой же, как наши соседи, сослуживцы, школьные одноклассники...

Как же может нормальный, вроде бы не асоциальный человек стать чудовищем, которому общество в лице судей выносит самый суровый приговор: отказывает в праве жить дальше? И возможно ли такому преступлению случиться «в одночасье»?

Предлагаемый вашему вниманию судебный очерк — попытка найти ответы на эти непростые вопросы.

Татьяна

Завтра... Уже завтра! Лежащий перед Татьяной длинный список покупок, поездок и прочих дел сплошь чернел вычеркнутыми жирным фломастером строчками. По-

следние дни это стало для нее ежевечерним ритуалом: подводить итог сделанному и радоваться, видя, что забот, отделяющих ее от заветного дня, становится все меньше.

Ну вот, все, что планировали на сегодня, сделано. Мама закупила на рынке зелень для уже нарезанного в большом тазу салата. Они с отцом съездили на Киевский вокзал, встретили украинскую родню... Этих семерых разместили по

ГАЛИНА БРЫНЦЕВА



соседям: в их двухкомнатной квартире еще со вчерашнего дня расположился «воронежский свадебный десант», как пошутил при встрече дядя Егор... Строчку «17.00 — Алеша. Обручальные кольца» Татьяна вычеркнула осойбой, аккуратной волнистой линией.

Все же сумасшедшая у него работа: так и не смог вырваться к пяти, как намечали. Позвонил в семь из автомата с Ленгор, где дежурил: «Танча, маленький мой! Не волнуйся, тебе вредно теперь нервничать. Купил, купил я кольца!

У меня в кабинете в сейфе лежат».

А жаль, что не будет загса, какой-нибудь смешной толстой тетки с лентой через плечо, которая станет говорить им с Алешей, как нужно любить друг друга в горе и радости. Это — им-то, после целых трех лет «и горя, и радости»!.. Алеша прав, это пустая формальность. Зато не пришлось ждать три месяца: знакомая Алексея уже завтра утром быстро оформит все их документы.

года. Работая в милиции, не мог не понимать, что черта подведена и остались считанные часы этой, теперь уж можно сказать, прежней жизни. Считанные часы пока еще продолжающегося обмана...

Сдав дежурство, он отправился домой. Вот и квартира на седьмом этаже. Он шагнул в незапертую дверь. Все. Черта перейдена...

Из свидетельских показаний гражданки Тишковой, соседки Алексея, полученных в ходе следствия по уголовному делу майора

ИСТИНА

облепляет вас

Татьяна легонько вздохнула, пора идти спать: завтра к восьми утра в парикмахерскую... В самом низу списка осталась незачеркнутой всего одна коротенькая строчка: «30 мая — СВАДЬБА!!!»

Алексей

Он знал: 30 мая ничего не будет. И когда звонил Татьяне с Ленгор, понимал: это их последний такой разговор — о завтрашней свадьбе, о счастье, о любви, о ребенке, который должен родиться через пол-

милиции Коваленко Алексея Матвеевича*:

«29 мая около полуночи в нашу квартиру позвонил Коваленко и попросил меня зайти к нему. В большой комнате на софе я увидела Ольгу Коваленко, жену Алексея. Халат на ней был в крови, Ольга была мертва. На полу в кухне между столом и диванчиком лежал их сын Костя. Под мальчиком была лужа уже застывшей крови, и он тоже был мертв.

Имена участников описываемых событий изменены (ред.).

Алексей сказал, что не понимает, что произошло, и спросил меня, где их дочь Вика. Я предложила ему вызвать милицию, но Алексей возразил, что сначала надо выяснить, где девочка. Вместе мы, добежав до детского садика, узнали: поскольку Вику в этот день не забрали домой, ее оставили в ночной группе, и она уже спит...

Из свидетельских показаний участкового инспектора, лейтенанта милиции Рябова:

«Когда я прибыл к месту преступления, у подъезда меня встретил мужчина, назвавшийся майором милиции Коваленко. На вопрос, что произошло, он ответил: «Сами увидите». Предупредил, чтобы я был осторожен, так как в квартиру никто, кроме него, не заходил и там могут быть следы преступников.

Поведение Коваленко меня удивило, поскольку на убийства мне приходилось выезжать не раз, но ни в одном случае я не видел, чтобы родственники погибших вели себя с таким спокойствием...»

В десять часов утра 30 мая гражданин Коваленко Алексей Матвеевич был задержан сотрудниками местной милиции по подозрению в совершении двойного убийства.

31 мая им было написано чистосердечное признание в содеянном преступлении.

...Их семь — разбухших от свидетельских показаний, протоколов, актов экспертиз, справок, фотографий, таблиц, — семь томов уголовного дела майора милиции Коваленко Алексея Матвеевича, хранящихся в архиве Военного трибунала Московского военного округа. Как на фотобумаге, погруженной в проявитель, медленно, постепенно проступали сквозь канцелярскую лексику черты человеческой трагедии. И чем отчетливее и контрастнее становились они, тем острее было странное и тяжелое впе-

чатление от прочитанного: заморочь.

А каким другим словом определить ту цепочку ложных жизненных построений, которую несколько лет выстраивал один человек, вовлекая все больше людей во все более сгущавшуюся атмосферу обмана? Обмана бессмысленного и наивного по своей сути — изначально обреченного на разоблачение.

Заморочь, закрутившая, затянувшая в небытие, сгубившая три — да нет, даже не три, а четыре! — человеческие жизни. И сломавшая еще больше судеб.

Алексей

Он всегда считал себя невезучим. Сколько себя помнил. Хотя, как, пожалуй, и у большинства людей, оснований обижаться на судьбу у него было едва ли больше, чем поводов благодарить ее за подаренные удачи и подбрасываемые шансы. Но... Комплекс — он комплекс и есть. А его комплекс обделенности судьбой, кажется, и родился в одной из ставропольских станиц вместе с ним. В семье он был шестым, поздним ребенком. Последышем. Отец умер прежде, чем Алексей смог его запомнить. Вздорный характер матери, покинутой старшими детьми, давно живущими собственной жизнью, в их станице был всем известен. Уехал от нее и Алексей, едва окончил школу. В городе поступил в ПТУ, а жил у тетки. При таком раскладе, согласитесь, трудно почувствовать себя любимцем фортуны. А быть любимым — хоть кем-то на этом свете! — хотелось. Видимо, оттого и случился тот первый его брак. Именно «случился» — за две недели до призыва в армию, после недельного знакомства.

Он так и не смог ответить на вопрос следователя, как была фами-

лия той женщины. Припомнил лишь, что звали ее Лариса Константиновна. Письмо от нее Алексею получил уже через восемь месяцев службы: наш брак был ошибкой... встретила человека... полюбила... прости... подпиши, пожалуйста, прилагаемые документы и не забудь заверить подпись в канцелярии части.

Тогда-то он и написал Ольге, подружке своей двоюродной сестры. Переписка продолжалась несколько месяцев, и, получив извещение о разводе, Алексей попросил Ольгу стать его женой.

Свадьбу играть не стали, просто расписались в загсе. Их даже не заставили ждать положенные три месяца: командование части, где служил Алексей, рекомендовало его в Ленинградскую военно-политическую школу МВД. Так он стал лейтенантом, распределение получил на зависть многим — в Москву: курсантом был прилежным, алкоголем не баловался и, хоть особо ценимой армейским начальством активностью не отличался, во всем был абсолютно надежен. (Все эти качества присутствуют и в служебных характеристиках, приобщенных к уголовному делу Коваленко. Соответственно и карьера Алексея складывалась вполне успешно: очередные звания присваивались ему без задержек и проблем.)

Двухкомнатную квартиру в столице Коваленко получили в сказочно, по московским меркам, быстрые сроки. К этому времени Ольга родила первенца, Костю. Похоже, судьба, улыбаясь широко и ясно, открыла Алексею новый счет и спешила доказать свою любовь к нему. Во всяком случае, так казалось со стороны. Впрочем, в первые два года — и самому Алексею...

Это только следственным органам необходимо, чтобы в материалах уголовного дела все имело

конкретную дату, точку отсчета последующим событиям: «После приезда в семью Коваленко матери мужа отношения между супругами резко ухудшились». В жизни все, конечно, не так. Невозможно протоколировать тот день и ту минуту, когда Алексей, взглянув на жену, отчетливо понял: «Не люблю. Чужая». А мать — ну, а что мать? Скверный ее характер он знал лучше, чем кто-либо. Но она была совсем старая, больная и с копеечной пенсией. Жены двух братьев и все три его зятя взяли ее к себе наотрез отказались.

Если б только не это всегдашнее, заполошное Ольгино: «Не на ту напали! На меня где сядешь — там и слезешь!..» — он первый прыцкнул бы на мать. Если б на все материнские придирки и упреки в неряшливости, бесхозяйственности жена отвечала тихими слезами обиды, он стал бы на ее сторону. Но в громких, отвратительных скандалах последнее слово всегда оставалось за Ольгой, она в его защите не нуждалась. И, конечно, Ольга настояла на своем: выдворила старуху восвояси.

После отъезда матери Алексей подал на развод, ушел из дома, снял комнату в поселке Северный. Он познакомился со славной девушкой, воспитательницей местного детсада. Они не были любовниками: с Валей, что была из семьи простой, рабочей — «правильной», как про себя определил Алексей, которому очень нравились эти люди, — такое исключалось. Он всем им тоже нравился — хороший, грамотный парень. Немного стеснительный и вовсе не пьющий.

Правда, они с Валей сказали ее родителям, что он уже развелся. Но тогда Алексей искренне считал, что так оно и есть — осталось лишь формальное решение суда о разводе, на который Ольга упрямо не давала своего согласия. «Пока» —

так он думал... И ни то, что жена немедленно после его ухода пода-ла иск об алиментах, который суд, не в пример его бракоразводному заявлению, удовлетворил с первого же захода; ни крупный разговор в политотделе части, куда нажаловалась Ольга, потребовав вернуть ей мужа, офицера милиции и члена КПСС, а сыну — отца; ни слезные уговоры примчавшейся в Москву тещи не могли заставить его думать иначе.

...Сначала Алексей ничего не понял. Зашел вечером за Валюшей, дверь открыли ее родители. И вот так, прямо с порога, сказали: ступай к жене и сыну, наша дочь с тобой больше встречаться не станет. Он знал: так и будет. Такая это семья. Правильная.

А вечером теща сообщила: Костя заболел...

В те секунды, когда слушал, тяжело вдавив кнопку звонка, как звенит он по ту сторону двери, Алексей понял, что сломался. Не в том смысле, что уже отступил от своего решения и, видимо, завтра заберет заявление о разводе из суда. Он сломался совсем. Навсегда.

Вызванная для дачи в суде свидетельских показаний, мать Валентины Камневой вспоминала:

«...через два дня после визита к нам домой жены Коваленко, Ольги, я позвонила ей на работу. Она была весела, что чувствовалось по ее голосу, и сказала, что дома у нее все в порядке. Она рассказала Алексею, что побывала у нас: он полдня лежал молча, а сейчас у них все нормально...»

Как жили они все последующие за этим девять лет? Ни хорошо, ни плохо. Никак. Алексей привык к вздорности Ольги и, когда, к примеру, она заводила свое излюбленное: «И почему это я должна твоей матери деньги посылать, мог бы и сам...» — даже не считал нужным напомнить, что всю зарплату отда-

ет ей. Берет себя: его в этой жизни никто не жалел, и он стал жалеть себя сам. Ему даже не было больно, что с подрастающим сыном отцовской близости у него не было: Костя во всем был «материн», а Алексей и не делал ничего, чтобы приблизить мальчишку к себе.

Один год семьи Коваленко был похож на другой, словно кто-то штамповал их безучастной рукой по единому шаблону.

Когда стало уж совсем «никак», Ольга настояла на втором ребенке. Алексей ни разу не пожалел о рождении дочки, Вики. Напротив, что-то, что, казалось, давно умерло и перестало томить душу, вернулось. Каждый раз, когда малышка тянулась к нему, чтобы он взял ее на руки, или с бесхитростным восторгом начинала прыгать, держась за спинку кровати, когда после работы подходил к ней, это возвращалось снова и снова, как когда-то — желание быть любимым. Желание того, чего никогда в его жизни не было, — человеческого тепла.

С Татьяной он познакомился в мае, через несколько дней после ее выпускного школьного бала. Вечером проводил девчонку до квартиры. А вернувшись к себе домой, решил: больше он ее не увидит. Ей семнадцать, ему тридцать пять. Вполне в отца годится...

Он пришел к Тане через полгода. Выскочив ноябрьским вечером из дома и пробродив два часа по сыкатной Москве, после очередного скандала с Ольгой. Потому что скандалы в их семье начались снова. О разводе Ольга не хотела и слышать.

Он помнил историю с Валентиной, помнил тот звенящий звонок за дверью своей квартиры, куда он так не хотел входить, но вошел. И еще жалость к себе, которой он жил все эти годы. Она как наркотик, без нее обходиться Алексей

уже не мог. А потому и Татьяне, и ее родителям — Господи, как же эта семья походила на семью Вали своей открытостью, теплом! — он сказал, что был когда-то женат «по глупости», но давно разведен. Терять Татьяну, Танюшу, Танчу он не мог.

Кроме того, Алексею было хорошо и покойно в этом доме, где его любили, где относились к нему с теплом и уважением, где в ответ на все это он мог быть таким, каким ему всегда хотелось видеть себя.

Позже, на суде, мать Татьяны даст очень точную картину всего, от чего не желал отказаться Алексей Коваленко: «Дочь очень любила Алексея. Он ее — тоже. В этом я убеждена и сейчас. Встречались они часто, главным образом у нас дома, в присутствии меня и Таниного отца. Алексею нравилось возиться по хозяйству, он часто помогал на кухне, с явным удовольствием занимался каким-то мелким ремонтом. Нам с мужем он был по душе, хотя разница с дочкой в возрасте немного и смущала. Но они были так счастливы рядом друг с другом... По характеру Алексей спокойный, выдержанный. Только не всегда решителен. Если что задумает, то долго рассчитывает, как это сделать. Он был знаком со всей нашей московской родней и тоже всем им нравился. По поводу его отношения к Татьяне и серьезности намерений сомнений ни у кого не возникало».

При мысли, что все это — Танчу, теплый ее дом, отношение ее родни — он может потерять, сердце у Алексея сжималось. От жалости к себе сжималось...

Татьяна

Как же быстро она повзрослела с Алексеем! Она точно знала: это любовь делает ее такой — мудрой,

все понимающей, ставшей более терпимой к людям, что ее окружают. Она почувствовала себя женщиной задолго до того, как это произошло на самом деле, после полтора лет их с Алешей любви.

...О Вике она узнала спустя месяц после той первой их ночи.

«Как-то раз Алеша показал мне фото девочки, — рассказывала Татьяна в суде, — она была очень похожа на него. Сказал, что это дочь брата. Когда через несколько дней Алеша нашел повод и спросил, помню ли я ту фотографию, я ответила, что мне очень понравилась его дочка. Он очень удивился, как это я догадалась, и рассказал, что с женой он не разводился, а она умерла при родах Вики. Дочка живет у его мамы на Ставрополье. Мне же он ничего не говорил, потому что боялся, что я порву с ним.

Я хотела видеть его дочь, так как Алеша сказал, что девочка сейчас в Москве. Он несколько раз приводил ее к нам. Вика также быстро освоилась у нас дома, как и сам Алеша. Моих родителей она называла бабушкой и дедушкой, меня вскоре начала называть мамой. Когда Вика появилась у нас, то была в центре внимания нашей семьи. Она всем полюбилась. Ради нее я научилась шить и вязать и шила для нее платица, вязала свитерки. Правда, все эти вещи оставались у нас в квартире, с собой Вика и Алеша только однажды забрали куклу».

Ольга

Из служебной характеристики бывшей работницы медьгрезинителя №... Ольги Коваленко: «В коллективе она держала себя одинаково со всеми, близко ни с кем не сходилась... По характеру спокойная, выдержанная, морально устойчивая, грамотная. Жила для семьи и к семье от-

носились очень хорошо...»

И вообще семья Коваленко в глазах окружающих выглядела вполне нормальной и благополучной. Соседи по дому на суде не скрывали своего удивления, как могло случиться то страшное, необъяснимое, что произошло тем майским днем:

«Ольга по характеру бывала несдержанна, вспыльчива, но в основном это была неплохая женщина. Дети у нее всегда были чистые, аккуратные... Каких-то особых скандалов в их квартире слышно не было».

Что не все так ладно в семье Коваленко, знали лишь самые близкие Ольге люди. Ее подруга, Светлана Тишкова, свидетельствовала на суде:

«Ольга рассказала: заметив, что муж утаивает от нее деньги, решила проверить его карманы. В служебном удостоверении личности она обнаружила фото «той» женщины. Ольга показала фото дочери Виктории, и та узнала в ней «знакомую тетю». Вечером между супругами Коваленко был скандал. Ольга всегда хотела сохранить семью. Говорила, что Костя уже большой и все понимает. Говорила мужу, что если он не прекратит свои похождения, то она пойдет к нему в часть и все о нем расскажет начальству».

Она была нормальная, обычная женщина. Разве что чуть вульгарна, разве что не обладала особой душевной тонкостью, разве что инстинкт собственности был развит в ней чрезмерно...

Она была довольна своим домом, своими детьми, своей работой и собой, свободна от всяких там комплексов. Она даже и мужем была довольна. Любила его, как умела. Но именно муж представлял единственную угрозу всему тому, что составляло смысл и суть ее жизни. Вот она и боролась с

ним — за дом, за семью, за него самого. Опять-таки как умела.

Татьяна

О том, что Алешина жена жива, они узнали от его начальника. Он позвонил матери Татьяны, сказал, что ее дочь разбивает хорошую, дружную семью, отрывает отца у двоих ребятишек...

Да как же это?! Танин отец не хотел пускать пришедшего Алексея в дом. Мать плакала и уговаривала Алешу вернуться к детям. А Таня поверила, что жить Алексей без нее не может и не будет. И что документы на развод он подал в суд уже две недели назад.

Несколько месяцев, преодолевая сопротивление жены Алексея, «длился» бракоразводный процесс... Наконец сияющий Алеша объявил им, что «развод состоялся». Более того, его «бывшая жена, успокоившись, согласилась на мирное разрешение всех проблем». Она с сыном уедет жить к своей матери, где у нее давно уже есть любимый человек, за которого она сможет выйти замуж. Вика же остается с ним, Алексеем. Втроем с Танюшей они станут жить в его квартире.

Удивительно, необъяснимо, но этой его лжи верили! Все. Не только юная Таня. Может быть, даже верил он сам: жалость к себе — коварное чувство...

Первая их «свадьба» не состоялась в августе: за две недели Алексей позвонил из аэропорта и сказал, что вылетает на похороны своей матери. Вернувшись через месяц, объяснил, что с телеграммой той его обманули родственники с целью вызвать к себе, а мать, слава Богу, жива.

Вторая не состоялась в феврале, когда, участвуя в лыжных гонках, Алексей получил травму и попал в госпиталь. (Что по горькой

иронии судьбы было абсолютнейшей правдой — материалы уголовного дела майора Коваленко подтвердили суду этот факт.)

«Потом пришла весна, — вспомнила в судебном зале Татьяна, — узнав, что я беременна, Алеша очень обрадовался. Он даже слышать не хотел, когда я заикнулась об аборте. Звонил мне на работу каждый час и очень переживал, если меня не оказывалось на месте: допытывался, где я была и что делала, не совершила ли что в отношении будущего ребенка. Однажды Алеша сказал кому-то из работников нашего роддома, что звонит муж. В обратном я никого убеждать не стала: мы ведь вскоре должны были пожениться...»

Третья свадьба не состоялась 30 мая...

Убийство

В тот день, когда он пришел на обед домой, Ольга накормила его щавелевыми щами и жареной картошкой. Костя, у которого начались каникулы, отпросился у Алексея на полчаса: кто-то обещал ему кусочек сухого льда. Ольга, пока не было сына, потребовала от мужа «доказать ей прямо сейчас свою любовь и верность». Разочарованная предъявленными ей «доказательствами», нисколько, как за ней водилось, не стесняя себя в выражениях, она высказала все, что думает по поводу мужских достоинств Алексея, и о той «грязной швали», что, видно, обобрала ее, законную жену.

Наконец, замолчав, она повернулась спиной к заледеневшему от ярости и униженности мужу, а он, постояв секунду, взял с серванта нож.

Он ударил Ольгу всего раз, этого оказалось достаточно. Потом прошел на кухню, куда проскользнул,

пока длился тот Ольгин монолог, вернувшийся с улицы Костя...

Выйдя из квартиры, Алексей не стал запирает дверь. Ему предстояло дежурство на Ленгорах. Спустя три с половиной часа, около семи, он позвонил оттуда из телефона-автомата Танче.

Отречение

А потом произошло еще одно убийство. Потому что предательство того, кто безоглядно верил тебе и твоей любви, отречение от этой любви — тоже убийство.

Обвиняемый Алексей Коваленко и его адвокат выбрали линию защиты, в основу которой был положен тезис: Ольгу и Костю Коваленко убил не их муж и отец.

Это совершил неизвестный убийца после того, как Алексей, пообедав в тот день, ушел на дежурство. «Чистосердечное признание» же обвиняемым Коваленко было сделано в состоянии сильного эмоционального потрясения смертью близких и в результате оказанного на него морального и физического давления работниками милиции. Жену и сына Коваленко любил и ни о каком уходе из семьи даже не помышлял, потому мотивов для убийства жены и уж тем более сына у него не было. А как же длившаяся три года история с Татьяной Камневой, любовь к ней, назначаемые им свадьбы, ребенок, рождения которого он хотел?.. Не было никакой любви. Алексей просто-напросто хотел... наказать Камневу! За то, что как-то раз солгала, что изменила ему с другим. (Такой эпизод с Татьяниной ложью, сказанной сгоряча, от обиды на Алексея, действительно был: сразу после первой несостоявшейся свадьбы. — Г. Б.)

Отречение от любви к Танче, ставшей «свидетельницей гра-

жданкой Камневой», состоялось. Жалость к себе снова оказалась для Алексея Коваленко самым сильным и определяющим все остальное чувством.

Этой линии защиты он упорно держался до самого конца. Меняя в соответствии с ней прежние свои показания, отрицал очевидное, не признавал предъявляемые ему доказательства. Почему подсказал милиции, что орудие убийства — нож, завернутый в его же майку, — надо искать в туалетном шкафчике? Просто он случайно нашел окровавленный сверток, вернувшись в ту ночь домой и еще не увидев происшедшего. Отсутствуют «чужие» отпечатки пальцев, обнаружены лишь его собственные? Преступник мог быть в перчатках...

Судебно-медицинская экспертиза признала Алексея абсолютно нормальным. Военный трибунал, рассмотревший уголовное дело майора Коваленко, приговорил его за умышленное убийство жены и сына к высшей мере наказания.

Прощение о помиловании он подавать отказался. Отказался тем самым и от своей прежней «линии защиты»? Может быть... В материалах дела я нашла документ о том, что «приговор в отношении осужденного Алексея Коваленко приведен в исполнение». В день казни Алексею исполнилось 38 лет.

...Аборт Татьяне сделали в роддоме, где она работала. Это была четвертая жизнь, загубленная за длившуюся три года злую и нелепую заморочь.

Экспертиза

События, описанные в семи томах уголовного дела Алексея Коваленко, — из ряда таких, что с трудом воспринимаются, отторгаются нормальным, здоровым сознанием.

Обычная житейская логика навязывает почти по-детски простодушный вопрос: зачем же было убивать? Не любишь, постыла тебе жена — разведись. Ведь не был развод с Ольгой для Алексея Коваленко невозможным даже в пору первого его романа с Валентиной — во времена парткомов, политотделов и прямой зависимости карьеры от партийной дисциплины? Да был ли этот человек психически здоровым, как признала судебно-медицинская экспертиза? Можно ли назвать нормальным совершившего такое?

С этими вопросами я обратилась к эксперту — старшему научному сотруднику Государственного научного Центра социальной и судебной психиатрии имени В. Сербского, кандидату психологических наук ОЛЬГЕ САВИНОЙ.

— К сожалению, вы ошибаетесь, считая «дело майора Коваленко» из ряда вон выходящим. Нашим экспертам приходится сталкиваться с подобным весьма часто. Таких семей — обычных, благополучных вроде бы, но с сущим адом, что устраивают друг другу супруги во внутрисемейных отношениях, — увы, хватает.

Можно ли считать Алексея Коваленко нормальным? С позиций общечеловеческой морали, нравственности, конечно, нельзя. А вот с точки зрения медицины, психиатрии — это, собственно, вы и имели в виду, задавая свой вопрос, — он нормален. Что и подтвердили, проведя тогда судебно-медицинскую экспертизу, специалисты нашего центра.

Первую задачу экспертизы — заключение о вменяемости преступника — эксперты-психиатры решают достаточно быстро и с большой точностью. Затем эксперты-психологи начинают изучать личность преступника — результатом этой экспертизы должно стать

заключение о душевном состоянии обвиняемого в момент совершенного преступления. Психолог, как и следователь, работая с обвиняемым, стремится реконструировать картину преступления. Но в отличие от следователя его интересуют другие ее детали. Что думал человек в те роковые минуты, что он чувствовал? После какого именно момента потерял контроль над собой, в чем это выразилось? Ощущал ли он дрожь в руках и ногах, прилиwała ли кровь к голове, появлялась ли рябь в глазах, что говорило бы о резком всплеске внутренней энергии?

Заключение психолога и для судебно-следственных органов, и для самого обследуемого очень важно: если эксперт установит, что во время совершенного преступления человек находился в состоянии аффекта, сильного душевного волнения, это может стать основанием для переквалификации инкриминируемой ему уголовной статьи, смягчения наказания.

Судя по всему, в случае с Алексеем Коваленко таких оснований не имелось. Да, он был зол, унижен, взбешен. Но говорить об аффективной реакции, когда человек не в силах предотвратить требующую выхода энергетическую разрядку, все-таки нельзя. Обратите внимание: он нанес жене хоть и смертельный, но всего один удар ножом. Для состояния аффекта же характерно нанесение множественных, беспорядочных ударов. После чего обычно следует резкий, моментальный спад, эмоциональная напряженность мгновенно падает почти до нулевой отметки. Затем наступает ужас от содеянного, страх. После этого, как правило, повторной агрессии не бывает. А Коваленко, убив жену, идет на кухню и дважды ударяет ножом сына. Почему он это сделал? Вероятнее всего, в результате возникшего в

нем импульса страха — не за содеянное только что, а за реально маячившее впереди возмездие: сын — свидетель, он расскажет. Жалость к себе, о которой вы пишете, и здесь явилась для Коваленко преобладающей поведенческой мотивацией. Она же, жалость, видимо, лежала и в основе его судебной «линии защиты», которую, может, и продумывал адвокат, но окончательный-то выбор все равно был за ним, подсудимым Алексеем Коваленко. Весьма неудачная, к слову, стратегия защиты, не оставившая ему ни одного шанса хотя бы на чисто человеческое сочувствие судей.

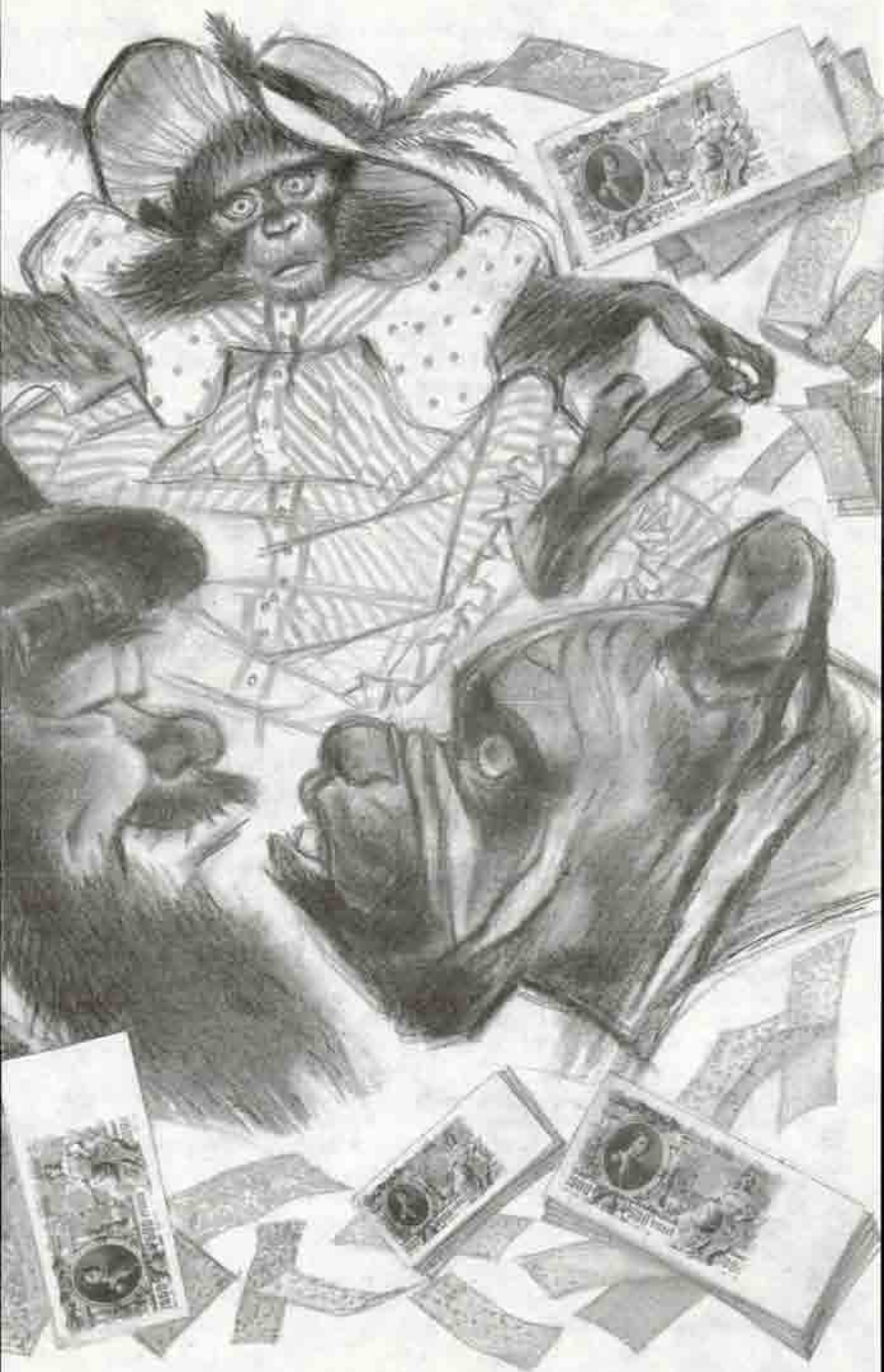
Комитет по делам семьи, женщин и молодежи Государственной Думы России разрабатывает проект федерального закона «О предотвращении насилия в семье». Один из его авторов-разработчиков, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского университета и действительный член Академии социальных наук Дмитрий Шестаков, считает подготовку этого закона весьма и весьма актуальной для России. Уже хотя бы потому, что около сорока процентов всех совершаемых в нашей стране умышленных убийств — так называемые «внутрисемейные», то есть убийства «по семейным обстоятельствам».

КАСЬЯН КАСЬЯНОВ

БЕГВУШКА

Рисунок ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА





Отец героя Саввушки Яковлева Алексей Иванович Яковлев — фигура в русской истории тоже небезызвестная, но совсем в ином, нежели его отпрыск, роде.

Алексей Иванович Яковлев, отставной гвардии корнет конногвардейского полка, единственный из всех обер-офицеров Российской империи был кавалером ордена Св. Владимира 3-й степени, то есть такой, при которой орден носится на шее, а не в петлице и дается большей частью лицам в генеральских чинах или по крайней мере полковникам гвардии и статским советникам. Яковлев заслужил эту незаурядную награду за незаурядное же дело: в 1812 году он на свой счет покрыл железом из своих сибирских железных заводов во всей Москве все казенные строения, крыши которых пожраны были историческим пожаром. Этим пожертвованием Яковлев доставил казне несколько миллионов экономии. А вот сыну его, Савве Алексеевичу, хотелось во что бы то ни стало иметь флигель-адъютантский аксельбант. Отец ему то и дело говорил:

— Савва, не пожалей миллиона за твой флигель-адъютантский аксельбант!

Старик был честолюбив, спал и видел своего Саввушку во флигель-адъютантском мундире. Тут и представился Саввушке случай великолепно отличиться при помощи папашиного миллиона.

Граф Апраксин, командир лейб-гвардии кавалергардского полка, в рядах которого служила самая блестящая и богатая молодежь, с не затерявшимся среди них Саввушкой, назначил поручика Яковлева ремонтером. Саввушка почти не выезжал из Петербурга и, страшно шаяла на свободе при содействии безграничного кредита, открытого отцом, а также при сотрудничестве пяти-шести нанятых им специалистов ремонтерской премудрости, представил в кавалергардский полк таких коней, каких ни этот полк, ни какой другой никогда не видели. Великий князь Михаил Павлович ахнул от восхищения и расцеловал ремонтера, сказав, что за такой привод он не знает награды. Все были в восторге; флигель-адъютантские эполеты и аксельбант из чистейшего серебра были куплены на случай стариком Яковлевым. Но все эти восторги прошли, когда император Николай Павлович, посмотрев равнодушно превосходных коней и назначив их всех под фланговых унтер-офицеров, сказал графу Апраксину, шептавшему уже о флигель-адъютантстве Яковлева:

— На деньги отца-миллионера и не таких лошадей можно купить!

Оказалось, как рассказал граф Бенкендорф (большой приятель А. И. Яковлева), государь знал, что мертвая кошка в кульке, пущенная в немецкой опере из верхнего яруса боковой ложи к ногам крайне неказистой немецкой певицы Нерейтер, — дело рук Саввушки. Флигель-адъютантский аксельбант остался для Саввушки и его отца в мираже, почему Саввушка, считая себя обиженным, улетучился из полка и вышел в отставку. Началась

*Касьян Касьянов — псевдоним известного русского литератора Владимира Петровича Бурнашева (1809—1888).

Саввушкина вольная жизнь со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Велико было число друзей у Саввы, но никто не в состоянии был перепить его. Савва гордился этим, и одному из друзей своих, который определял искусство много пить, сравнивая питухов с Саввушкой, перед которым, по его словам, они все-таки дрянь дрянью, Савва ни с того ни с сего подарил капитал в 100 000 рублей. Друг этот был отставной гвардии саперного батальона капитан Бем.

Страшное, непомерное употребление вина сделало то, что Яковлев, будучи еще молодым человеком, из худощавого и довольно тоненького превратился в обрюзгшего и не то чтобы разжирел, а сделался каким-то опухлым, раздутым.

Ведя жизнь беспутную, распутную, а словом сказать, неопишущую, познакомился Савва с некоею Людовикою Спалачинской из цирка Кюзана и Лежара. Увлечение этой очаровательной полькой-парижанкой, отец которой был отставной польский улан наполеоновских армий, а мать чистокровнейшая гризетка, ускорило конец жизни Саввушки.

Однажды, когда он был у Людовики, к ней вдруг прикатил полковник гвардейской конной артиллерии Вадковский, очень тучный, но чрезвычайно красивый мужчина, необыкновенно счастливый в любви, которого Людовика полюбила без кокетства, тем более что он мог соперничать с Саввушкой и теми ценными подарками, какие тот делал красавице. На этот раз в Яковлеве разыгрались его дикие инстинкты: он запер престелницу на ключ и, невзирая на ее крики и вопли, увез ключ с собою в цирк, где объявил, что мадемуазель Людовика больна и в этот вечер представлять не будет. Затем Яковлев преспокойно поместился в своей ложе, имея подле себя своих верных ассистентов Бема и Элькана. Вдруг в ложу с шумом вошел Вадковский, восклицая:

— Если ты, Савва, не отдашь мне сейчас ключа от спальни Людовики, ты подлец!

— Это твоё требование,— захрипел Яковлев,— доказывает, что ты принимаешь меня за такого же дурака, как ты сам.

Вадковский отвечал полновесной на весь цирк оплеухой, сбившей цилиндр с головы Яковлева и повергшей его на ковер ложи. Поднявшись с пола и поддерживая щеку, Яковлев объявил во все горло:

— Завтра утром на Поклонной горе, на пистолетах!

— С величайшим удовольствием! — хохотал толстый Вадковский и, дразня Яковлева роковым ключом, выпавшим из жилетного кармана Саввушки, вышел из ложи. Но он не ушел далеко: его потребовали к коменданту и посадили на адмиралтейскую гауптвахту. Яковлева отвезли домой в болезненном припадке. Здесь он был подвергнут домашнему аресту.

Это происшествие так подействовало на Саввушку, что он впал в маразм и ипохондрию, и в этом состоянии духа он, между прочим, находил дикое удовольствие в том, что стрелял из пистолета по драгоценным горкам отцовских чертогов, покрытым превосходными фарфорами и хрусталами.

В то время, когда Саввушка был в этом экзальтированном состоянии, раз он велел подать себе одиночный обед, занялся им исправно и вдруг крикнул, как бы во времена былых сатурналий, столь знакомое его прислуге слово: «Гроб!..»

Дело в том, что, когда у Яковлева происходили его обычные ночные сатурналии, после ужина, кончавшегося обычно часов в восемь утра, Саввушка, ощущая позыв ко сну, хрипел: «Гроб!» В это мгновение трое слуг подходили и, взяв Яковлева вместе с креслом, на котором он сидел, относили его к дверям залы. Трое других вносили ящики с шампанским, а один, именно камердинер, нес на позолоченном подносе *серебряный гроб*, вмещавший в себе ровно бутылку шампанского; другой на подносе же вносил пистолет, порох, пули и пистоны. С одной стороны хозяина помещался Нептун, огромный бульдог, необыкновенно дерзкий и злой; с другой — закадычный друг Яковлева Бем.

Саввушка начинал заряжать пистолет пулями. Входил камердинер, знавший всех гостей поименно. «Господин такой-то!» — восклицал камердинер. Яковлев поднимал пистолет, один из лакеев откупоривал бутылку и выливал ее в *гроб*. Гость под поднятым над ним пистолетом выпивал *гроб* до дна и, поцеловав Яковлева, выходил из залы. Если же гость, будучи чересчур нагружен, осушив *гроб*, падал, то Яковлев, хохоча во все горло, приказывал: «Подобрать убитого!» Это значило, что свалившегося с ног гостя лакеи укладывали в одной из спален, назначенных для гостей. Проводив всех гостей, Яковлев хрипел снова: «Гроб!» — и, выпив, откидывался на спинку кресла; тогда его торжественно несли в спальню. Он почти всегда засыпал в этом кресле, совершенно раздвигавшемся и принимавшем вид кровати или кушетки. И вот в этом серебряном *гробу погреблись* миллионы богатства самым самодурнейшим образом.

Проделка с *гробом*, вмещавшим в себе бутылку шампанского, была повторена Яковлевым и в этот раз, хотя по той же программе, но с некоторыми видоизменениями. Как всегда, страшно хриплым голосом он прокричал: «Гроб!» — как обыкновенно, слуги внесли ящики с шампанским: одновременно со знаменитым *гробом* явились еще два подноса, один с бутылкой шампанского, другой с пистолетом, порохом, одною пулею и одним пистолетом. Яковлев зарядил пистолет пулею и, держа его в левой руке, осушил *гроб*, придерживая его правой рукой. Затем, отдав *гроб* слуге, он перенес пистолет из левой руки в правую и сказал, обращаясь к своему камердинеру, на которого устремил сонно свои мутные глаза, казавшиеся, однако, сверкавшими через очки: «Если Вадковский придет и не захочет *гроба*, то я его застрелю вот так!» С этими словами он быстро повернул дуло пистолета к своему рту, раздался выстрел, и Савва, смертельно раненный, весь в крови, свесился с кресла, успев, однако, проговорить то приказание, какое он всегда отдавал: «Подобрать убитого...» Но этому еще придет час...

Амигошонство Яковлева с Бемом не имело пределов. Промотав те сто тысяч рублей, какие Яковлев ему подарил, Бем вскоре нашелся в необходимости жить в доме Яковлева, пользуясь всеми роскошными удобствами такого сожителства. Затем он как тень

был неразлучен с Яковлевым. Сзади Саввы и Бема, в близком от них расстоянии, имела право находиться только одна третья персона — громадный бульдог Нептун, как я уже сказал, второй друг и любимец Саввы Яковлева. Иногда, однако, случалось встречать Саввушку, окруженного пятью-шестью его приятелями, преимущественно офицерами и актерами Александринского и Михайловского театров.

Яковлев был большим почитателем одной из специальнейших русских потех, известной под общим названием «закидывание тони», обставляемой в былые времена всем тем, что как нельзя более соответствует всероссийскому разлюбезному «моему нраву не препятствуй!»

О потехах на тонях, о том, что изволил проделывать там наш Савва Алексеевич, я узнал от седого как лунь рыбака дяди Михеича.

Такие любители, как Савва Алексеевич Яковлев, конечно, не стеснялись ценою платежа и за десять тоней охотно платили сто рублей. Впрочем, деньги играли здесь последнюю роль. Прелесть потехи заключалась главным образом в оригинальности обстановки и сопровождавшем ее кутеже. Компания отправлялась на тоню или в нескольких щегольских экипажах сухим путем, или на собственном катере водою. В том и другом случае она непременно захватывала с собой ящик, два или три с шампанским и несколько корзин с различными винами и съестным; кто побогаче, брал с собой складные столы, диваны, кушетки, стулья, мягкие ковры и даже иногда изящный шатер, под сенью которого устраивался буфет и расставлялись ломберные столы для карточной игры. Безалаберная роскошь проявлялась здесь во всем своем безобразном разгуле; случалось нередко, что каждому из рыбаков, подносивших пудового лосося заказчику тони, выдавалось по бутылке клико, которую он и должен был выпить из огромного ковша. Кутеж, как водится, оканчивался жженкой, тут же сваренной в позолоченном серебряном котелке.

Саввушка Яковлев как истый любитель «закидывания тони» считался одним из самых тороваейших гостей. Он, например, за варку ухи платил не десятирублевую, а сотенную бумажку, вливал не по бутылке клико в глотки рыбаков, а накачивал их шампанским до тех пор, пока они не упивались до положения риз; наконец, вместо шатра ставил целый складной домик-шале, причем дюжина прибывших в его свите работников-садовников, вооруженных заступами и пешнями, принималась тотчас хозяйничать по-своему в ближайшей роще, и — глядь! — часа через полтора переносный домик был окружен премиленьким садиком с дорожками из малинового искусственного песка (с собою же привезенного), с клумбами цветов, также привезенных на катере. У Яковлева между его желанием и исполнением этого желания никогда не было большого пространства времени, так как, рычал он, *the times is money* (время — деньги).

Из всех безобразий, какие чинил Яковлев во время своих вакханалий на тонях, самым памятным для Михеича было безобразие, учиненное в 1837 году. «Савва Алексеевич были уж чересчур выпимши, когда изволили проделать его», — говорил Михеич.

После жженки Яковлев почти голый лежал в зальце своего американского переносного домика на пушистом ковре, окруженный цветущими олеандрами и листьями физиономиями своих прихвостней-прихлебателей. Долго он только пыхтел, наконец зарычал:

— Мне пришла одна из самых богатых мыслей, какая самому лорду Байрону, конечно, никогда не приходила в голову. Я хочу, чтобы сейчас сюда явились пять, шесть, ну, десять, двенадцать гетер из Зеленой улицы и с Крестовского острова. Привезти их сюда на катере! Когда катер будет причаливать уже к этому берегу, приготовить здесь невода и мережи и с катера столкнуть в воду крестовских сирен. Ха! Ха! Ха! То-то будет криков и воплей! Ха! Ха! Ха! В Петербурге будет слышно. Тогда, рыбаки, не зевать; они проспались, я думаю, после шампанского и пусть они живо и ловко ловят в сети этих размалеванных красавиц. Каждая из них на берегу обсохнет в мощных объятиях рыбаков, их поймавших... Ну же, Бем, ну же, Элькан, живо марш в экспедицию, и чтоб мне видеть теперь же наяву здесь все то, что я вам рассказал. Я все это во сне видел после жженки.

Нечего и говорить, что приказание самодура-Креза при помощи его в то время не истощавшегося кошелька было в точности исполнено такими старательными лейтенантами, каковы были Бем и Элькан: на катере было привезено 12 дачных гетер, оглашавших воздух и окрестности самыми скабрзными песнями, сменившимися вслед за тем ужасными криками и воплями, когда несчастные жертвы дикой потехи самодура летели в воду и путались в рыболовных сетях громадной мотни. На берегу с некоторыми из них сделались припадки легкой истерики, лечить которую Яковлев велел стаканами рома, и лекарство это подействовало так успешно, что на последующую часть яковлевской вакханалии следует опустить густой занавес.

В 40-х годах Яковлев выстроил на Черной речке огромную дачу, под которую купил пять или шесть соседних дач. Дача эта была построена архитектором Боссе вроде не то швейцарского шале, не то русской избы на берегу мутной Черной речки, где до поселения этого самодура жилось сколько патриархально, столько приятно, незатейливо, семейно. Большая часть жителей Черной речки состояла преимущественно из членов так называемой французской колонии, в среде которой были учителя, гувернантки, актеры, актрисы, негоцианты средней руки, архитекторы, живописцы, хозяйки магазинов мод и пр. На другой же год после поселения здесь Саввушки началось бегство с Черной речки мирных ее обитателей. Они с отвращением отнеслись к шуму, гаму, крику, гвалту, вечному пьянству, самодурским проделкам и вовсе не остроумным выходкам необузданной молодежи, которая под защиту богатств своего патрона Саввушки чинила такие неистовства, что поневоле всякая семейственность, всякое умение при ограниченных средствах жить в свое удовольствие, всякая приличность и сдержанность в самых шаловливых веселостях должны были обратиться в бегство и искать для себя других приютов на летний сезон. Так и сделали французы, переселяясь с Чер-

ной речки в Лесной, наполненный в то время членами преимущественно немецкой колонии.

Яковлев, кроме своего бессменного Нептуна, имел несколько мартышек, которым надавал различных кличек, большей частью состоявших из фамилий обывателей Черной речки, с каким-нибудь нелестным прилагательным. Так, например, актриса мадемуазель Луиза, отличавшаяся своей чрезмерной полнотой, проходила мимо дачи Яковлева, сама видела одну из яковлевских обезьян, необыкновенно толстую и пузатую, вырядившуюся в тот самый туалет, в каком она, мадемуазель Луиза, прогуливалась на даче после ванны. Саввушка, заметив приближение толстой актрисы, захрипел на всю Черную речку по-французски: «Ну же, мамзель Луиза толстопузая, поцелуйте же понежнее этого бедного, рябого Вуту!» И при этом он тащил другую уродливую обезьяну в модном сюртуке, называя ее по фамилии тогдашнего известного столичного портного.

Все это были еще только цветочки, а к ягодкам принадлежит то, что ни мужчине, носившему парик, ни даме с фальшивыми буклями нельзя было пройти мимо яковлевской дачи: тотчас науськивалась которая-нибудь из выдрессированных для того обезьян — и в одно мгновение пляпа или чепец срывались, а с ними вместе парик, накладка или букли.

Гости Яковлева состояли преимущественно из тогдашней кутящей и богатой гвардейской молодежи. Но напрасно полагают, что это офицерство 30—40-х годов, по тогдашнему и очень ходовому выражению, «печоринствовало», то есть как бы прониклось духом Лермонтова. Это заблуждение следует развеять.

Масса этой гвардейской молодежи кутила вместе с Яковлевым, у которого, сколько известно всем знавшим Лермонтова, наш великий поэт, живший в Петербурге во время апогея яковлевских оргий, никогда не бывал, между тем как убийца Пупкина Дантес-Геккерен, этот бывший кавалергард и, следовательно, товарищ Яковлева по полку, до дуэли и высылки в 1837 году, по военному суду, из столицы был постоянным участником в оргиях Саввушки, у которого, как тогда ходили слухи, этот французский фат, начавший свою карьеру пажом герцогини Беррийской и кончивший впоследствии камергером второй империи, находил нередко удобным занимать крупные суммы. Скорее можно сказать, что масса наших юных гвардейцев той эпохи ставила своим кумиром этого Дантеса, бывшего совершенным антиподом всякого «печоринства».

Саввушка редко отлучался из Петербурга, считая, что ему только и житья что в столице, с которой он свыкся, да и Петербург с ним свыкся. Раз, однако ж, он слетал в Париж, в то время, когда в России еще не было железных путей, да и в Европе их было немного. В столице вселенной наш самодур прежде всего, разумеется, занялся лоретками, попойками и картами. Эти наслаждения, как известно, часто группируются вместе, так что, не выпуская Цирцей из объятий и не отнимая бокала от уст, можно было весьма приятно ставить на карту все что угодно. Покрываемый поцелуями красавицы, сидевшей у него на коленях, запивая их бокалами пенящегося шампанского, Яковлев не задумавшись

поставил на карту миллион франков — и проиграл!.. Он откровенно сознался, что с ним нет столько денег, что визировать на своего банкира он тоже не может, потому что не аккредитован на такую сумму от отца.

— Но ведь имя нашего дома в Петербурге, надеюсь, не тайна, он всегда отвечает уплатою всякого требования, каково бы оно ни было. А вот вам и мой документ!

Оригинал во всем, он и документ дал оригинальный, написанный им мелом на зеленом сукне ломберного стола и выраженный по-французски так: «Миллион франков, проигранный в Париже. Долг чести, уплачиваемый в Петербурге. Савва Яковлев».

Сукно было тщательно срезано и отклеено, вставлено под стекло и отослано в Петербург, где миллион франков был в тот же день уплачен предъявителю в конторе Алексея Ивановича Яковлева на Васильевском острове в Загибенином переулке. Самодурный этот поступок не без задней был мысли: Саввушка рассчитал, что кредит в денежных делах стоит миллиона.

В Петербурге Саввушка любил посещать публичные маскарады, где его постоянно окружали гетеры всех возможных сортов и разрядов, все же мало-мальски порядочные женщины бегали от него как от чумы. Однако ж как-то раз одна порядочная женщина рискнула подойти к нему.

— Я тебя знаю, — сказала она Яковлеву.

— Ну, это тебе не делает чести: меня, кроме публичных женщин, ни одна не знает.

Из маскарада Яковлев отправлялся домой в сопровождении кучи гостей. Каждый гость обязан был привезти с собой *взятую напрокат*. Иных дам Яковлев не терпел. Устраивался самый циничный вечер: каждая дама обязана была явиться пред толпою в костюме прародительницы и плясать *патагонский танец*. Это называлось: «Не выезжая из Петербурга, быть в гостях у дикаря в Южной Америке».

Вечер заканчивался великолепным ужином, при котором лакеи служили в пудре и в шелковых чулках с бальными башмаками. Дамы же кушали в натуральных костюмах, даже без «виноградного листка». На этих-то «вечерках», как называл их Саввушка, разыгрывалась проделка с *серебряным гробом*.

Не все проказы Саввушки были дики, грубы и циничны; случались иногда просто забавные. Раз, гуляя по Невскому с целою ватагой своих постоянных гостей, по большей части его прихвостней, Яковлев зашел в одну из модных парикмахерских. Здесь он выстригся совершенно гладко, под гребенку, хотя за пять минут перед тем щеголял и хвастался густою сен-симонистской гривой. Выстригся, встал и осмотрелся.

— Хорошо? — спросил он у друзей-прихлебателей.

— Прелестно! — отвечали ему.

— Нравится?

— Как нельзя больше, — отвечало несколько голосов.

— Ну, а коли нравится, стало быть, нечего разговаривать. Стригите их всех под корень, как меня. А я между тем выкурю несколько штук пахитос.

Он расселся, закурил соломенную испанскую сигареточку, пока

пожницы кривого Грильона* и трех его помощников прекоротко выстригли всех этих господ, хотя некоторые из них, как, например, актер Максимов (некогда лучший наш Гамлет), сбившийся с круга и умерший от злой чахотки, никогда коротких волос не носили.

К числу шуточек другого рода принадлежала, например, следующая. Саввушке пришла шальная фантазия велеть повару приготовить весь ужин для многочисленных гостей на касторовом масле. Это сделано было так тайно, что ни Бем, ни Элькан, яковлевские наперсники, ничего об этой шутке не знали и вместе со всеми сделались ее жертвою. Между тем Саввушке подавали особенные блюда: бульон, крылышко цыпленка и компот, — так как он прикинулся нездоровым и не имеющим потому возможности ужинать. Затем Савва Алексеевич изволил кататься от хохота, видя, как все эти господа, один за другим, бледнели и стремительно убегали из залы. Как ни гадка эта потеха, но все-таки она была цветочком перед, например, следующим безобразием.

В ряды Саввушкиных завсегдатаев поступил один замечательно умный и образованный человек. В 1826 году, то есть за 20 лет до участия в яковлевских сатурналиях, эта личность могла быть изображена только в светлом и симпатичном виде остроумного и образованного человека. Но в эпоху знакомства с Яковлевым этот несчастный до крайнего излишества предался пьянству, которое привело его к ужасному концу: он умер в 1849 году на улице, сгорев, как нередко сгорают люди, предающиеся слишком неумеренному употреблению спиртуозных напитков. То был отставной действительный статский советник Николай Иванович Серов, отец нашего знаменитого композитора**.

В 1846 и 1847 годах Николай Иванович сделался, как я уже сказал, одним из завсегдатаев Яковлева, который восхищался его неистощимым запасом всегда забавных анекдотов из общественной жизни, его блестящею начитанностью и его находчивым остроумием. Все это, однако ж, нисколько не мешало Саввушке потешаться над Серовым, пользуясь его непомерной страстью к вину, водке, грогу, пуншу и жженке, и он делал при этом часто из умного человека своего, как он говаривал, «превосходительного Балакирева»***. Раз зимою, во время масленицы, Яковлев днем повез всю свою ватагу, разумеется, в пяти или шести пошевнях, запряженных тройками с колокольцами и бубенчиками, на свою чернореченскую дачу, где гостей ожидали ледяные горы, устроенные на речке против Саввиных летних палат, блины с зернистой икрой, только что полученной с яковлевских уральских заводов, и попойка на славу с жженкою, в которую вошло чуть ли не полсотни ананасов, залитых едва ли не ведром рома, коньяку, арака и шампанского. Во время поездки Яковлев заметил, что на Серове старая, вся вылезшая и истертая енотовая шубенка.

— Мне гадко сидеть с твоим превосходительством в одних

* Модный петербургский парикмахер.

** Следовательно, дед художника В. А. Серова.

*** Балакирев — шут Петра Великого.

пошевнях, — сказал Яковлев, — Меня тошнит от твоей шубенки! Брось ты ее на дорогу.

— Нет, брат, молода, в Саксонии не была, — смеялся Серов, еще довольно трезвый. — Вот выдумал что — бросать мне мою шубенку на дорогу и ехать по морозу в одном сюртучонке. С ума ты, Саввка, спятил или креста на тебе нет!.. Дай мне твои бобры, так и перестанет тебя тошнить от моей бедной, заслуженной шубенки.

— Изволь, — сказал Яковлев, — изволь, ваше превосходительство, одарю тебя бобром; отдам тебе сейчас же, как ты кинешь свою пакость; да только с условием: когда приедешь на дачу и примешься за блины, ты должен будешь исполнить то, что я от тебя потребую. Обещай — и моя бобровая шуба сейчас с моих плеч перейдет на твои, хотя она тебе будет не впору, так как если у тебя много ума и способности пить хмельное с раннего утра до раннего утра, то ростом ты вышел совсем карапуз. Ха! Ха! Ха!

— Ну, так вот, — продолжал Яковлев, — ничего такого особенного мы от тебя не потребуем, а предложу я тебе, мой превосходительный Балакирев, чтоб ты совершил за эту бобровую шубу подвиг по спиртуозной части. Идет, что ли?

— Как не идти, конечно, идет, — отвечал Серов, — по спиртуозной все что хочешь, лишь бы только не по вокальной, от которой решительно отказываюсь. Итак, за шубу я на все спиртуозное согласен.

Яковлев велел кучеру остановиться; Серов, сняв с себя изношенную шубенку, бросил ее из саней на дорогу; Саввушка, исполняя свое обещание, также сбросил с плеч свой бобровый тулуп, надетый внакидку, и закутал им Серова. Между тем камердинер достал для своего барина запасную ильковую шубу, которой тот и заменил отданную им сейчас Серову бобровую, стоившую около тысячи рублей.

После катания с гор, причем Серов раза три упал, запутавшись в своей шубе, слишком огромной для него, компания вошла в комнаты. Здесь пыдал камин и на столике стояли графинчики со всякими водками, игравшими на солнце своими радужными цветами; щеголевато одетые лакеи в ливреях со штiblетами готовы были идти за блинами. Серов, прозябши на горах, устремился было к столику с водками, но Яковлев удержал его за руку, сказав серьезно:

— Стоп, ваше превосходительство! Благоволите, прежде чем приступить к шельхен, который не уйдет от вас, выпить стаканчик вот этого.

«Вот это» было не что иное, как изрядный стакан одеколona.

С мороза, да и желая скорее отделаться, Серов принял стакан со жгучею спиртовою ароматической жидкостью и опорожнил его залпом до дна, только побагровел, крикнул и как ни в чем не бывало привялся за графинчик с изумрудным абсентом и затем начал философически проходиться по хересам.

Выпив водки и закусив, компания принялась за уничтожение блинов с икрой, причем все наперерыв стали восхвалять силу «почтеннейшего карапузика-питуха Николая Ивановича».

— Молодец превосходительный, — говорил Яковлев. — Я

думаю, он закрепит мой дар шубы еще стаканчиком если не одеколону, то оделаванда. А, Николай Иванович, как думаешь?

Николай Иванович уже изрядно осовел и почти лыка не вязал; но когда ему подан был стакан оделаванда, он принял его, стал медленно пить и, не допив до половины, со стаканом грохнулся на пол, к счастью, покрытый густым ковром. С ним, бедным, сделался припадок вроде припадка падучей болезни; его било, трясло, он посинел, пена показалась около рта. Его осторожно отнесли в одну из дальних комнат на широкий диван и приставили к нему внимательного наблюдателя из комнатной прислуги.

— Отлежится, — заметил Савва хладнокровно.

Серов действительно отлежался, встал как встрепанный, съел несколько селедок, выпил жбан квасу и повеселел. Но после этого случая он еще более прежнего пристрастился к спирту, к голому, чистому, 90-градусному спирту, что довело его наконец в 1849 году до последней трагической катастрофы — смерти среди белого дня на улице.

Однако ж он почти годом пережил своего бывшего амфитриона Яковлева, умершего в конце 1848 года. Но куда жизнь еще продолжалась.

В эту пору Иван Иванович Излер, знаменитый петербургский увеселитель, выписал лучший московский хор цыган под управлением не менее знаменитого цыганского старшины и регента Ильи Соколова*, который прибыл в Петербург с супругою, более чем знаменитой Матрешею, сводившею когда-то с ума всю Москву, и еще 64 души цыганских. Примадоннами были Груша, Аня и Люба; две последние — удивительные плясуньи.

Саввушка посетил их табор, помещавшийся в нескольких новодеревенских дачах, нарочно для них нанятых Излером. Потом цыгане пели и плясали у Саввушки на даче. Это стоило ему многих тысяч; но вопрос был в том, чтобы разгулялся загрустивший Саввушка и чтобы черная хандра его оставила. Для этой цели он засыпал не иначе, как с своим знаменитым «серебряным гробом» в руке, на коленях у смуглых красоток Ани и Любы, убаюкивавших его своими песнями и разжигавших поцелуями. Но, увы, ничто не помогало, и опухший Саввушка, со всеми признаками водяной, угасал и таял.

Вдруг Саввушке пришла счастливая мысль поехать в обновленный цирк Лежара и Кюзана у Александринского театра. Хозяева: Кюзан и его сестра, замечательные наездники, их зять Лежар, великолепнейший вольтижер и дрессировщик; клоун Виоль и его помощник, пригоженький мальчик Пачифико Авиноли, отличавшийся и в вольтижировке, — все это личности, с которыми порядочный и образованный человек мог с удовольствием проводить время. Женский персонал был весь очарователен, но розою и царевною из этой группы выдавалась прелестнейшая и милейшая Людовика Спалачинская, полька-французенка, очаровавшая Саввушку, вытянувшая от него многие сотни тысяч в один какой-нибудь год, никогда не любившая его, постоянно ему изменявшая и даже бывшая причиною той последней скандаль-

* Отсюда — «соколовский хор у Яра».

ной сцены с оплеухой, последствия которой свели нашего самодура в могилу.

Саввушке нелегко было уговорить м-ль Людовику сделаться его подругой. Для этого Элькан истрачивал все свое красноречие чуть не на пяти диалектах, на двух же, польском и французском, старался особенно. Наконец Людовика согласилась принять у Яковлева на даче блестящий обед, для которого выписано было чуть не пять поваров разных национальностей. Этот званый обед, стоивший несколько тысяч рублей, был съеден всею труппою, причем весельчак Виоль пил за здоровье присутствующих и гостеприимного хозяина из бокала, держа его не в руке, а пальцами правой ноги, разумеется, на этот раз разобутой. Перед обедом для развития аппетита решена была общая блестящая кавалькада, отчасти на лошадях цирка, отчасти на лошадях яковлевской конюшни. Саввушка уже давно не садился в седло, отвык от езды и как-то отяжелел, но из угождения очаровательной Людовике, в которую втюрился по уши, решился поехать верхом да еще, уверял он, на таком коне, который подобно Буцефалу Александра Македонского никому не дозволяет на себя садиться. Дело закулисное, известное только одному шталмейстеру Саввушки, бывалому и ловкому кавалергардскому вахмистру, вышедшему из полка в отставку вместе с «господином поручиком», как он выражался, и получавшему у Яковлева всего до трех тысяч рублей содержания. Фортель, изволите видеть, состоял в том, что на яковлевской конюшне был великолепный заводской английский караковый жеребец, довольно степенных лет и с совершенно утраченными страстями, успокоенными разными искусственными средствами. Кличка его была Буцефал; он имел необыкновенно свирепый вид, громадную гриву, густую холку, закрывавшую налитые кровью глаза; он вечно грыз удила, с них валила пена, но не потому, что добрая лошадь злилась, а потому, что она жевала какой-то корень, имевший свойство источать массы чего-то похожего на пену.

Выводили Буцефала на цепях четыре конюха; он ржал, храпел, визжал, вырывался из рук. Но ведь этот Буцефал был Кин, Гаррик, Тальма, Мартынов лошадиной породы; он, шельма, актерствовал, и актерствовал так хорошо, что все эти специалисты — кавалеристы, французы — были проведены, надуты, и Яковлев со своим шталмейстером Зеленчуком переглядывались, замечая восхищение и удивление всех этих берейторов и дрессировщиков, не понимавших, что Буцефал просто теля. Однако ж уснувшие инстинкты Буцефала пробудились, когда он почувал присутствие нескольких юных кобылиц, на хребтах которых сидели юные же вольтижерки и амазонки цирка, особенно перламутрово-серая очаровательнейшая Ариадна, сегодня подведенная Яковлевым м-ль Спалачинской в дар, привлекла к себе внимание звероподобного ловеласа, который устремился к красавице.

Наездница, видя нешуточную опасность, пустила свою изящную и грациозную лошадь вперед, прямо к запертым воротам, заставила ее сделать лансаду, и в одно мгновение м-ль Людовика с своей лошадью оказалась на чернореченском берегу, а тяжелый Буцефал, ударясь грудью о ворота, упал навзничь и, когда его

подняли, стоял на трех ногах — четвертая была если не совсем переломлена, то ненадежна для употребления. Знатоки-французы обступили красивого коня, цену которого, пять тысяч рублей серебром, громко, во всеулышание заявлял его владелец. Французы Кюзан и Лежар уверяли, что лошадь можно вылечить и что со временем хромота ее будет неприметна. Яковлев ничего слушать не хотел; он решительно объявил, что, во-первых, он терпеть не может иметь у себя больных животных, а во-вторых, Буцефал осмелился испугать м-ль Людовику, почему следует казнить этого негодяя. Мигом в руке Саввушки оказался заряженный пистолет, приготовленный заранее камердинером, в то самое время, как начались дерзкие проделки Буцефала. Саввушка подошел к коню, смотревшему на все и всех с удивлением, и, громко сказав, чтоб повяли французы:

— *Meur, coquin, puor avoir chagrine mademoiselle Ludovique Spalathinska**, — выстрелил в упор, и, разумеется, пяти тысячный конь, который мог быть вылечен еще или поправлен по крайней мере, окошел у ног его в предсмертных корчах.

— *Cest un trait chevaleresque***, — говорила м-ль Людовика. Хотя, правду сказать, убить собственноручно беззащитное животное не заключает в себе ничего рыцарского. И вот этот-то нелепый подвиг завоевал Саввушке симпатию красавицы, хотя, по справедливости, гибель бедного Буцефала последовала лишь за то, что он дерзнул восчувствовать к четвероногой Ариадне совершенное то же самое чувство, не совсем у него ветеринаром притупленное, какое Саввушка, при всей своей истасканности, восчувствовал к м-ль Людовике. Последствия симпатии милой наездницы к нашему самодуру известны.

**Публикация, подготовка к печати
АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.**

* — Умри, негодяй, за то, что осмелился опечалить мадемуазель Людовику Спалачинскую.

** Рыцарский поступок.

Вот уже год, как Левин работал в частном сыскном агентстве «След». Тут занимались чем угодно: разыскивали пропавших людей и породистых собак, охраняли коммерческие и промышленные тайны кооперативов и совместных предприятий; сотрудников агентства нанимали для охраны складов и баз, для соц. обслуживания во время перевозок особо ценных грузов, для обеспечения личной безопасности новоявленных богатых бизнесменов; случались заказы и попикантней: выслеживать неверных мужей или жен, их любовниц и любовников...

Первое время Левина тяготила непривычная работа. Не думал он, бывший прокурор следственного управления областной прокуратуры, профессиональный криминалист и следователь, что, уйдя на пенсию, придется вертеться в подобных малопочтенных сферах нынешней суматошной жизни. Начальник агентства Иван Михальченко, в недавнем прошлом оперативник городского угрозыска, подмечал тоскливое недовольство Левина и, боясь, что тот не выдержит и уволится, старался, если удавалось, подключить его только к делам, где требовался опыт следователя и криминалиста. Но удавалось это не всегда, и Михальченко говорил:

— Ефим Захарович, потерпите маленько, все утрясется, наберем оборотов, и я избавлю вас от шелухи.

— Во-первых, Иван, будь реалистом, ни от чего мы не избавимся, коль уж ты затеял это так масштабно, а во-вторых, я ведь не жалуюсь, — деликатно отвечал Левин.

— Да вижу я, как вам муторно! Обещал же беречь и делить вас, как реликвию.

— Я не реликвия, Иван, я мумия, — отшучивался Левин, не желая огорчать своего молодого коллегу-начальника и ценя давнюю его славу шустрого опера...

ЗАПАХ

ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ

Рисунок ЛЬВА РЯБИНИНА

В это время в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Левин.

В кабинет вошел высокий мужчина лет сорока. Голубовато-серый костюм в большую клетку, низкий седой ежик волос и модные очки придавали ему вид значительный, уважаемый.

— Моя фамилия Чекирда. Это я звонил, — сказал посетитель.

— Мы договорились к десяти, а сейчас двадцать минут одиннадцатого. — Левину, в сущности, было наплевать на эти двадцать минут, но хотелось сразу погасить спесь клиента.

— Простите, так получилось... не по моей вине...

— Садитесь... Что у вас за проблемы? — смиростивился Левин.

— Мы с чехами создали совместное предприятие по выпуску баночного пива. Наше сырье, а главное — наша вода, мы нашли источник с водой очень высокого качества, чехи сделали анализы и сказали, что такая же у них используется для пльзеньского. Договорились, что часть продукции пойдет на экспорт, часть — на наш внутренний рынок. И им, и нам выгодно. Производственные корпуса почти готовы, чехи начали поставлять оборудование, жезь для банок. Вот тут и пошли неприятности...

— Какого рода?

— Сперва исчезли два ящика с электроникой для линии розлива. Затем было похищено несколько картонных коробок с дорогими красками для фирменной раскраски банок.

— Вы обращались в милицию?

— Нет, сразу к вам.

— Почему? — поинтересовался Левин, хотя догадывался: бизнесмены не любят иметь дело с милицией, не желают, чтоб она вникала в их деятельность, да и милиция не слишком симпатизирует этой публике.

— С вами, говорят, надежней, — ответил Чекирда.

СТОЙКОГО
ПОСЬОНА

— Что вы имеете в виду?

— Волокиту. Милиция перегружена работой. А если вы соберете необходимый материал и мы преподнесем его милиции, они вынуждены будут подсуеетиться.

— Хорошо. Идите в комнату номер три, оформите все как положено. Условия наши знаете? Мы берем за услуги дорого.

— Найдем любые деньги.— Несколько успокоившийся Чекирда вытащил из нагрудного карманчика пиджака визитную карточку, протянул ее Левину и выпел.

«Чекирда Артур Сергеевич. Президент совместной фирмы «Золотой ячмень»,— прочитал Левин и покачал головой: «Меньше, чем президентами, они быть не желают, вся их суть в безвкусице, одно название чего стоит: «Золотой ячмень»! А почему не «Золотое просо» или «Серебряный овес»?.. Хотя кем бы ни был этот пизжон, а дело затеял хорошее: почему не напоить людей приличным баночным пивом? Да-а, кто-то хорошо наживется на украденной электронике и красках! Либо здесь пустят налево, либо угонят в другой город или в другую республику... Воруют уже не по штукам, а оптом — контейнерами, вагонами. Скоро девятиэтажки будут разбирать на кирпичи, чтоб продавать на дачи и гаражи... Ну где же он, господин Чекирда? Что он так долго? Торгуется с Иваном, что ли?..»

Фирма «Золотой ячмень» размещалась в жилом доме; под офис была приспособлена четырехкомнатная квартира, с толком переоборудованная и хорошо отремонтированная. В приемной за пишущей машинкой сидела миленькая девушка-секретарша, на отдельном столе — факс и портативный копировальный аппарат. Все японское.

«Неплохо устроились,— подумал Левин, входя в кабинет Чекирды.— Чтоб получить такое помещение в центре города, надо в горисполкоме густо помазать кому-то ручку».

Чекирда с улыбкой поднялся с кресла и гостеприимным жестом указал на два других у круглого журнального столика, на котором стояли маленькие кофейные чашечки, две рюмки, фигурная бутылка шотландского виски «Dimple», электрический чайник, еще сопевший паром, и пачка кофе «Fort».

— Виски? — предложил Чекирда.

— Нет, спасибо, я пью только неразведенный спирт.

Чекирда не понял: всерьез это или в шутку, но на всякий случай сказал:

— К следующему разу приготовлю. Импортный.

— Помещение арендуете? — спросил Левин.

— Нет, выкупили. Один человек уезжал в Узбекистан. Это была его квартира. Заплатили «зелеными».

— Хорошо. Приступим к главному. Артур Сергеевич, мне нужно ознакомиться с бумагами на ваш пропавший груз. Хочу проследить его движение.

— Но похищено было не на железной дороге.

— Я знаю, вы мне уже говорили.

— Думаю, обыкновенная кража обыкновенной шпаны с целью перепродажи.

— Возможно. Но заплатили нам, чтоб об этом думал я, а вы думайте о том, что понятней вам... Паспорт на похищенную систему имеется?

— Да. Паспорт мы получили отдельно, ценной международной бандеролью.

— Вот эти бумаги мне и дайте. В паспорте должны быть про- ставлены номера изделий. Они же и на самих изделиях.

Чекирда порылся на письменном столе и передал Левину тоненькую папочку:

— Здесь все.

— Где хранился груз?

— Мы арендуем складской модуль у базы «Промимпортторга», своих надежных помещений у нас нет.

— Контейнеры вскрывали при вас?

— Да. В присутствии представителя таможи. Были мой заме- ститель, а также завкладом базы.

— На какой день после поступления и складирования элек- тронные приборы и краска исчезли?

— Не знаю. Через две недели после поступления мы собира- лись начать монтаж. Мой заместитель поехал на склад, тут про- пажа и обнаружилась. Он на всякий случай поинтересовался коробками с краской. Но и ее след простыл. Электроника и краска поступили с разрывом в неделю.

— Какая краска идет на художественное оформление пивных банок?

— В каком смысле?

— Масло, синтетика или нитро?

— Синтетика. Пищевая с металлоэффектом.

— А цвета?

— Белая, красная, золотисто-желтая, голубая.

— Бумаги я возвращу... Теперь вот что, Артур Сергеевич, к вам зайдет человек по фамилии Михальченко.

— С которым я подписывал договор?

— Он самый. Считайте, что он — это я. На все вопросы — подробно и откровенно. Тем более что Михальченко возглавляет наше бюро.

Вернувшись в агентство, Левин пошел сразу к Михальченко. Тот сидел за столом, грыз соленые палочки и запивал пивом из яркой банки.

Левин не выдержал и рассмеялся:

— Вкусно, Иван?

— Пиво что надо!

— Почем банка?

— Ужас!

— Хочешь, чтоб оно было подешевле?

— Еще бы!

— Тогда займись делом. Чекирду помнишь? Ты с ним договор заключал.

— Помню. Не в подробностях, но знаю, что их обворовывают.

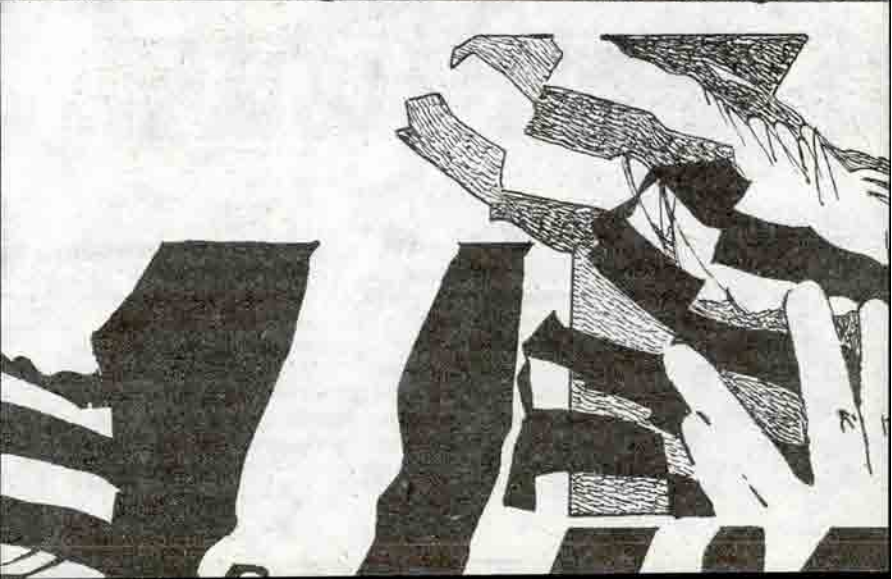
— Теперь — некоторые подробности и мои соображения. — И Левин изложил то, что узнал от Чекирды и что, по его мнению, следовало выяснить оперативным путем. — Это твоя часть работы. А я по твоим результатам спланирую свою.

— Хорошо. Вам куда ехать не надо?

— Пока нет.

— Тогда я забираю Стасика. — Михальченко выглянул в окно, «уазик» стоял во дворе. Шофер Стасик, бывший сержант-погра-





ничник, открыв капот, обтягивал синей изоляционной лентой какой-то проводок. — Стасик! Заводи, едем!..

Когда они уехали, Левин, вертя в руках пустую цветастую банку от пива, размышлял, куда и на что могла пойти похищенная краска. Затем позвонил в центральный мебельный магазин и попросил столяра Мишу.

— Слушаю, — ответили в трубке.

— Миша, здравствуйте. Это Левин Ефим Захарович. Помните? Вы у меня собирали болгарскую спальню и кухню, ремонтировали в прошлом году диван, а мой сын Виталик ставил вам декодер на телевизор.

— Все помню, Ефим Захарович, не надо перечислять. Хороших старых клиентов я не забываю. Что у вас за нужда?

— Чисто служебная. Синтетическая краска, такая, как на импортных пивных банках, в вашем деле может быть использована?

— Свежую новую столярку ею покрывать нельзя, течет из-под кисти. Распылить тоже не очень годится, надо несколько слоев. Чтоб обновлять покрашенную уже столярку, ее класть опасно, старая краска может под ней вздуться.

— А куда можно приспособить такую краску?

— На металлические поверхности. Возможно, годится для автомашин.

— На кузовные работы?

— Во-во!

— Спасибо, Миша.

— Всегда готов, Ефим Захарович! Виталику привет!

Положив трубку, Левин прошел в кабинет, где сидели еще два сотрудника бюро.

— Степа, удели пять минут, — обратился он к немолодому человеку в милицейской серой сорочке, но без погон.

— Только по-быстрому, Ефим Захарович, много работы.

— Мне нужен список автосервисных станций ВАЗа и «Универсалавтосервиса», где делают покраску машин, а также адреса подобных кооперативов. Всех, что есть в городе.

— А по СНГ вам не нужно? — усмехнулся Степа.

— Послать тебя, Степа? Без командировочных.

— Я ведь тоже могу послать, Ефим Захарович. Спешу, готовлюсь к командировке, Иван подрядил сопровождать ценный груз какого-то хмыря из фирмы «Алмаз»... Так что у вас? Зачем вам эти станции?

Левин кратко объяснил.

— Государственные — ВАЗа и «Универсалавтосервиса» — вам не нужны. Они получают свою краску, специальную автомобильную, централизованно, хотя нынче и в мизерных количествах. Никто там не захочет химичить с левой краской, да еще неизвестно какой. Занимаются ремонтом и кустари в гаражах. Но народ этот в основном небогатый и прижимистый, чтоб скупать такую партию краски. Есть частники, имеющие патент, некоторые завели себе подъемники, сушильные камеры, работают широко и солидно, к ним очереди. Эти тоже не станут рисковать с незнакомой краской, дорожат своей репутацией. Сомневаюсь, что и кооперативные мастерские захотят приобрести партию краски сомнительного назначения... Вот такой расклад, Ефим Захарович.

— Печальный расклад, Степа. Но ты, пожалуй, прав: чтоб скупить столько ворованной краски, надо точно знать, что это не кот в мешке. А в розницу, пожалуй, похититель гнать ее не будет.

— Но все-таки по гаражам походить надо. Вдруг где-нибудь проклонется, чем черт не шутит. Она в какой расфасовке?

— Бог ее знает.

— Список к концу дня я вам сделаю — названия и адресочки.

— Спасибо, Степан Петрович...

Под вечер, около пяти, вернулся Михальченко.

— Был я на базе, — начал он, усаживаясь в кресло. — Действительно, «Золотой ячмень» арендует у них складской модуль. За интересующее нас время, кроме хищений груза фирмы «Золотой ячмень», других не было. Хотя по мелочи воруют, как всюду нынче, на любой базе: то откинут в грузовик тюк с чем-нибудь, то ящик. В ряд обычных хищений можно поставить и наши два случая. А у вас какие новости?

— Степа сделал списки гаражных кооперативов. Их одиннадцать в городе.

— Верю в это слабо, но все же потолкаться надо. Лучше всего в субботу, — сказал Михальченко. — Частники любят в выходные дни проводить время в гаражах. Я проедусь со Стасиком.

— Хорошо. А я еще раз повидаюсь с президентом Чекирдой... Ты что сегодня вечером делаешь? Бери жену и приходи часов в восемь.

— По какому случаю?

— У внука день рождения. Народу будет немного: мой приятель с супругой, соседи — брат и сестра, медики, невестка, сын да я со своей. Детишки отдельно. Выпьем по сто грамм.

— А сколько внуку?

— На будущий год в школу.

— Приду, но один, моя в ночной смене.

— Жаль. — Левин знал, что жена Михальченко работает старшей телефонисткой на междугородной телефонной станции.

Михальченко глянул на часы и покачал головой:

— Что ж раньше-то не сказали? Подарок пацану надо, а магазины вот-вот закроют... — И он быстро выпшел.

Стасик во дворе чистил робу щеткой, драил суконкой высокие ботинки — собирался домой.

— Одолжишь полчаса? — спросил Михальченко, зная, что Стасик живет за городом, электричкой ехать час десять.

— Стряслось что?

Михальченко врать не стал:

— У внука Ефима Захаровича день рождения. Не заявишься же с бутылкой, надо пацаненку что-нибудь купить. Сгоняем в «Детский мир».

— Ни хрена вы там не купите, Иван Иванович. Разве что какого-нибудь плюшевого урода. Давайте лучше по коммерческим помотаемся.

— Заводи!

Детских игрушек не оказалось и в коммерческих. Лишь в одном из них Михальченко увидел на витрине маленький плоский японский калькулятор.

— Как думаешь? — засомневавшись, спросил он у Стасика. — Пойдет?

— Вещь! В школе сгодится.
— Значит, берем. А ты беги на свою электричку, я домой троллейбусом доберусь.

— По-моему, ты перебрал,— сказала Ирина брату, который никак не мог попасть ключом в замочную скважину.

— Нет, просто не надо было мешать водку с коньяком... Завтра смогу попозже встать, иду в ночь.

Наконец он отпер дверь.

Брат и сестра Костюковичи жили в трехкомнатной квартире, доставшейся им после смерти родителей. В тридцать шесть лет он был еще холост, сестра — бездетная разведенка. Разойдясь с мужем, спросила: «Марк, я переберусь к тебе. Не возражаешь? Не хочу заниматься судебным делом с той квартиры. Она — его, кооперативная, он выплатил». «Ради Бога, Ира,— ответил Костюкович.— Перебирайся сюда. Какие могут быть сомнения!»

Сестра окончила фармакологический факультет и заочно химфак университета, в тридцать четыре года защитила кандидатскую, вела одну из лабораторий в НИИ экспериментальной фармакологии. Костюкович знал, что за сестрой приударивает завлаб, очень способный химик-фармаколог Баграт Погосов. Но она не принимала эти ухаживания всерьез, посмеивалась: «Погос шалопай, выпивоха, трепач, любитель вкусно и много поесть. По нынешним временам это главный порок...»

2

На ночное дежурство доктор Костюкович приехал загодя, чтоб застать знакомого санитара из морга: тот обещал Костюковичу пластмассовую ручку для стеклоподъемника «Жигулей», которую Костюкович случайно обломал.

Дверь в ординаторскую была заперта. Открыв ее своим ключом, Костюкович переоделся в белый халат, легкие белые сабо, выложил из кейса пакет с едой, стетоскоп и тонометр, сунул молоточек в карман халата и мысленно попросил Бога, чтобы ночь прошла спокойно. Ночное дежурство — самое удобное время для приведения в порядок истории болезней, тем более сегодня четверг, канун выписок, а у него завтра выписывалось четверо постинсультных.

Заперев ординаторскую, он отправился на вечерний обход.

Больница — гигант на тысячу коек. Девятиэтажные корпуса соединялись застекленными переходами. И называлась она «Городская клиническая больница скорой помощи», куда везли круглосуточно. Пронизанный пассажирскими и грузовыми лифтами, комбинат жизни и смерти находился на высоком плато, фасадом корпуса были обращены к раскинувшемуся внизу городу...

Закончив обход и дав распоряжения дежурившей с ним сестре, Костюкович вернулся в ординаторскую, сел приводить в порядок истории болезней. Время шло незаметно, около двенадцати ночи вошла сестра.

— Марк Григорьевич, кофе?

— Не прочь.

Она налила ему из своего термоса полную чашку и вышла. Он ел принесенные из дому бутерброды, запивал горячим кофе. Затем снова принялся за работу. В начале второго по внутреннему телефону вызвали в приемный покой. Слава Богу, оказалось, только на консультацию. В два он прилег в маленькой комнатке, тут же, при ординаторской. И сразу заснул. Поднял его звонок — опять из приемного покоя. И опять консультация. Затем стало плохо трем больным, отправился к ним в палаты. Около четырех утра снова прилег, заснул глубоко, безмятежно, как дома...

В пять утра уже светало. В эту пору шоссе было пустынным. Белая машина, «Жигули»-шестерка, замигала указателем поворота — туда, отходя от магистрали, уходила дорога, затененная лесом. Проехав несколько метров, машина вдруг начала замедлять движение, сползла к кювету и, почти нависнув над ним правым передним колесом, остановилась. Водитель упал грудью на руль, бессильно уронив голову. Через какое-то время пассажир, сидевший рядом, выскочил из автомобиля и побежал к шоссе.

Так началось утро этой пятницы...

Очередной звонок-вызов разбудил Костюковича. Он вскочил, глянул на часы: десять минут седьмого, кончалось ночное дежурство, начинался новый день. Разгладив ладонями лицо и приведя в порядок волосы, Костюкович пошел к лифту. Внизу, в приемном покое, его уже ждал вызванный дежурный нейрохирург. На носилках лежал с закрытыми глазами молодой парень. Костюкович сразу отметил автоматические движения его левой руки и, приглядевшись, понял: коматозное состояние. И тут же нейрохирург подтвердил.

— Кома. Артериальное 220 на 120. Полагаю, инсульт. Заберите, коллега, он ваш.

— Все-таки была авария, — заметил Костюкович. — Так что мой он или ваш...

— Давайте в реанимацию, там и решим, чей он, — сказал нейрохирург.

Костюкович повернулся и только сейчас заметил стоявшего в стороне молодого человека с кровоточащей ссадиной на щеке.

— Что с вами? — спросил он.

— Мы были вместе в машине.

— Подождите здесь, не уходите. Промойте ему ссадину перекисью, — обратился Костюкович к медсестре.

Когда вместе с больным грузовой лифт поднялся на четвертый этаж, их уже поджидал дежурный реаниматор:

— Ну что, мужики?

— Авария.

— Давайте его на томограф, — по-командирски проаннес нейрохирург.

Через пятнадцать минут рентгенолог бесстрастно изрек:

— Геморрагический инсульт.

— Я пошел,— победно произнес нейрохирург и удалился.

«Куда же я его положу? — гадал Костюкович, помня, что ни в 1-м, ни во 2-м неврологических отделениях мест нет. — Хотя бы часов до двенадцати дня, сегодня выписка, места будут... Разве что в чуланчик возле манипуляционной?... Кровать, кажется, там есть...»

Он шел по длинному коридору своего отделения, давая на ходу указания дежурной сестре:

— Готовь набор для пункции... Заправь капельницу.

Закончив осмотр парня, сделав все необходимое, Костюкович вернулся в ординаторскую и взял еще свеженькую, незатрепанную историю болезни; в приемном покое заполнены были лишь строчки паспортных данных: Зимин Юрий Павлович ...20 лет ...студент Института физкультуры ...улица Вольнская, 17, квартира 4... Прежде чем начать подробные записи, Костюкович вспомнил, что внизу остался молодой человек, который был с Зиминным в машине. Он позвонил в приемный покой и попросил, если тот еще не ушел, подняться к нему.

— Болит? — спросил Костюкович, взглянув на лицо вошедшего. — Как вас зовут?

— Покатило Володя... Пустяки.

— Садитесь, Володя. Как это произошло?

— Мы были в гостях на даче, там заночевали. К восьми должны были вернуться на спортбазу в город. Ехали нормально, вдруг Юра ойкнул и повалился на руль, машину понесло в кювет, я рванул ручник, а потом через его ногу — по тормозам. Минут через сорок поймал на трассе патрульную машину ГАИ. Они нас отволокли к посту, оттуда вызвали «Скорую».

— Зимин не был выпивши?

— Да ну! Не пьем мы. Мы «сборники». Мастера спорта.

— По какому виду?

— По плаванию. Сейчас Юра готовился на Европу, а я в Будапешт на Кубок Дуная. Так что насчет спиртного вы не думайте.

— Вы оба студенты инфиза?

— Ну... так... числимся...

— Скажите, Володя, а Зимин накануне не жаловался, что плохо себя чувствует?

— Как-то говорил, что затылок болит, вроде отлежал шею или во сне неудобно повернулся.

— Вы его родителям сообщили?

— У него только мать... Сейчас поеду к ней... А что сказать, доктор?

— Пусть приедет.

— Что-нибудь опасное?

— Опасное.

— Так я больше не нужен?

— Да, идите...

Была уже половина восьмого утра. До конца дежурства оставалось полтора часа. Костюкович принялся заполнять историю болезни Зимина.

Перед самым уходом он еще раз заглянул к пострадавшему. Тот лежал под капельницей. Почти ничего в его состоянии не

изменилось, разве что чуть спокойнее дышал и несколько упало давление. Костюкович вернулся в ординаторскую, снял халат, открыл кейс, чтоб положить стетоскоп, тонометр и молоточек, и тут вошел офицер милиции.

— Разрешите?

— Входите.

— Старший лейтенант Рудько. Вы доктор Костюкович?

— Да. А в чем дело?

— Я следователь ГАИ. Ночью вы приняли Зимина Юрия Павловича?

— Принял. Утром.

— Мне нужно его допросить. Хотя бы кратко.

— Не получится. Он в тяжелом состоянии, без сознания... А по какому поводу?

— В двенадцати километрах от места, где наши сотрудники нашли Зимина в машине, произошла автокатастрофа. Погибли двое. Зимин мог быть свидетелем, он проезжал этот участок дороги.

— Зимин был не один. Вы поищите его приятеля, Владимира Покатило, он недавно ушел отсюда.

— А когда можно будет с Зиминим поговорить? Он скоро придет в себя?

«Милый ты мой, если за сутки он не выйдет из комы, боюсь, тебе уже никогда с ним не поговорить», — подумал Костюкович, а вслух произнес:

— На этот вопрос затрудняюсь ответить. Он в очень тяжелом состоянии. Удар, — употребил он старинное бытовое обозначение того, что произошло с Зиминим, полагая, что так будет понятнее собеседнику.

— Удара там не было, — понял по-своему следователь. — Как-то им удалось погасить скорость, они почти сползли в кювет, чуть-чуть крыло примяли... А в прошлый раз могло быть хуже.

— Что значит «в прошлый раз»?

— Зимин у нас на учете. Полгода назад врубился в «Урал», хорошо, что не в лоб, солдатик-шофер успел отвернуть.

— Был пьян?

— Нет. Кровь брали, ни капли алкоголя. Сказал тогда, что в глазах вдруг пошли круги, на мгновение сознание потерял и зрение... Мы ведь его знаем, он наш, из «Динамо», видели его на соревнованиях и по телевизору, когда из Варшавы показывали какой-то чемпионат. Он там первое место взял.

«Опухоль? — подумал Костюкович. — Нет, непохоже... Хорошо бы, конечно, сделать ангиографию*. Но как в таком состоянии? Он не выдержит...»

— Ну, извините, — козырнул старший лейтенант. — Подожду, пока он придет в себя.

Взяв кейс, Костюкович вышел из ординаторской, нащупывая в кармане сигареты, спустился лифтом и был уже в холле, когда его окликнули:

*Ангиография — рентгенологическое исследование артерий и вен после введения в них контрастного вещества. (Здесь и далее прим. автора.)

— Костюкович! Марк!

Он оглянулся: Олег Туровский, учились на одном курсе, с тех пор, как закончили институт, виделись не более двух-трех раз, а минуло уже двенадцать лет. Туровский куда-то исчез из поля зрения, и Костюкович вовсе забыл о нем, тем более что в студенческие годы дружбы не водили.

— Здравствуй, Марк... Мы разминулись, я наверх пешком к тебе в отделение, а ты лифтом вниз, еле догнал... — Олег говорил быстро, видно, запыхался.

— Ты по каким делам здесь? — спросил Костюкович.

— Зимин Юра... Дежурный врач сказал, что ты его ночью принял, вот и догонял тебя... Я с его матерью... Она в отделении ждет... Что с ним?

— Он родня тебе?

— Нет. Я врач команды. — Туровский протянул ему визитную карточку.

— У него инсульт.

— Да ты что? Тяжелый?

— Хуже не бывает.

— Господи, как же так?

— Он что, действительно хороший пловец?

— Наша надежда, скоро чемпионат Европы. Может, поднимемся, поговоришь с его матерью?

— Успокоить нечем, — пожал плечами Костюкович, и они двинулись к лифту.

В коридоре напротив ординаторской их ждала невысокая худощавая женщина, она комкала в руках маленький носовой платок. Костюкович заметил, что кисти у нее крупные, почти мужские пальцы с несколько деформированными суставами. Женщина подняла на Костюковича измученные страхом глаза.

— Юра в тяжелом состоянии, не буду скрывать. Делаем все возможное, — произнес он сотни раз говоренную фразу. — У него инсульт.

— А... к нему можно? — тихо спросила она. — Я бы подежурила, сколько надо, подала бы попить или еще чего, если захочет...

— Пожалуй, хотя сейчас он едва ли сможет с вами разговаривать.

— Как же такое случилось, доктор? Юра был сильный... Господи, за что же!..

— Случается, — развел руками Костюкович.

— Вы уж постарайтесь, доктор. Если что нужно, я все продам... может, лекарства какие заграничные... И вас не обижу... Юрочка ведь один у меня... Я сейчас съезжу домой, кое-что возьму и вернусь...

Они спустились в холл.

— Вы идите в машину, я задержусь с Марком Григорьевичем на минутку, — сказал ей Туровский. Когда она ушла, он обратился к Костюковичу: — Каков прогноз? Может, действительно требуются импортные лекарства? Мы это быстро перекинем через кордон — из Венгрии, из Польши, из Чехословакии, откуда хочешь.

— Сейчас ему нужно одно: выйти из комы. А дальше будет видно. Но плавать ему уже не суждено, даже если выживет.

— Надо же! Такой парень! Ты домой? Могу отвезти.

— Нет, у меня тут кое-какие дела. — Костюкович соврал, никаких дел у него больше не было, но ему не хотелось в машину, где сидела мать Зимина.

— Я буду тебе позванивать, — сказал на прощание Туровский.

3

Юрий Зимин, не приходя в сознание, умер в субботу после полудня. Мать, не отходившая от его постели, отлучилась на час: поехала за большой пуховой подушкой, чтоб заменить тощую больничную.

Ничего неожиданного в этой смерти для Костюковича не было, и все же — умер его больной. Он не сомневался в своем диагнозе, только не успел понять, откуда у молодого атлета такая гипертония, обследовать его, как полагается, не удалось. Вспомнив, что в кармане пиджака лежит визитная карточка, которую дал Туровский, Костюкович позвонил на спортбазу.

— Да! Кто нужен? — отозвался хриплый бас.

— Пожалуйста, Туровского.

— Кто спрашивает?

— Скажите, доктор Костюкович.

— А в чем дело?

— Это я изложу Туровскому.

— Сейчас. Он в бассейне.

Ждать пришлось долго.

— Туровский слушает, — наконец раздался голос в трубке.

— Что это у вас за кам сидит на телефоне?

Туровский хихикнул.

— Это наш старший тренер... Что-нибудь случилось, Марк?

— Да. Зимин умер.

— Когда?

— Два часа назад.

— Ужасно! Даже не представляешь, как это ужасно! — вырвалось у Туровского. — Ты дома? Я перезвоню минут через десять — пятнадцать. Надо посоветоваться и в коллективе, и с матерью.

Через полчаса он перезвонил:

— Когда можно будет забрать тело?

— Сегодня и завтра — выходные. В понедельник я все оформлю, и после вскрытия, во второй половине дня, до пяти, можете приехать. А лучше во вторник. Я завтра опять дежурю ночью, заполню необходимые бумажки, а во вторник к десяти-одиннадцати утра все будет готово.

— Ладно, — как-то неуверенно произнес Туровский.

Следующее ночное дежурство было вне графика, у коллеги в Донецке сестра выходила замуж, попросил подменить. Отказываться не принято, самого подменяли не раз. Хотя дежурить в ночь с воскресенья на понедельник не любили. В начале двенадцатого

удалось закончить все дела, и Костюкович начал собираться. Но тут позвонила начмед.

— Марк Григорьевич, где история умершего Зими́на?

— Я после ночи, Варвара Андреевна, только сейчас освобо-
дился, собирался к вам.

— Давайте быстренько...

Костюкович поднялся этажом выше.

— Садитесь, Марк Григорьевич, есть разговор, — сказала начмед. — Как прошла ночь?

— Кошмар, — коротко ответил он, подавая ей бумаги.

— Приезжали за трупом Зими́на, а у меня — ничего. Где его история болезни? Я сказала, что после трех все будет готово. Так что вот-вот...

— Но вскрытия еще не было, — перебил Костюкович.

— Я тут выдержала осаду. Почитайте. — Начмед протянула ему листок.

Это было заявление матери Зими́на с категорическим требованием не производить вскрытия, а немедленно выдать ей тело сына.

— Но мы же не имеем права без вскрытия, — удивился Костюкович. — Тем более если умирает молодой человек.

— Я все знаю, — раздраженно произнесла начмед. — Но мать закатила истерику, отпаивали валерьянкой. Это длилось час. И я сдалась: сказала, что не буду возражать, решу, как только ознакомлюсь с историей болезни.

— Нет, Варвара Андреевна, я возражаю, — твердо произнес Костюкович.

— Странно. А что так, Марк Григорьевич?

— Хотелось бы узнать причину дикой гипертонии у молодого здорового парня. Попросите доктора Каширгову, чтобы начали вскрытие сейчас. Родственников Зими́на поставим перед фактом. Скажете, что произошло недоразумение, забыли предупредить патологоанатомов и кто-то из них произвел обычную плановую аутопсию*. В крайнем случае подставляйте меня, мол, виноват лечащий врач, не знавший о вашем разрешении выдать тело. Пусть набрасываются, но не думаю, что для матери это будет существовадно.

— Что вы меня учите! Хотите аутопсию, чтоб все было официально, — будь по-вашему! Казалось бы, я должна требовать вскрытия, это мое право и обязанность, а мы вроде поменялись ролями, — недовольно произнесла начмед и позвонила в патологоанатомическое отделение. Трубку взяла заведующая — доктор Каширгова. — Сажу Алимовна, тут у нас возникла коллизия. В субботу умер больной доктора Костюковича, молодой парень, спортсмен. Труп у вас. Нужно срочно вскрыть. Доктор Костюкович сейчас принесет вам историю болезни, расскажет, в чем дело... Хорошо... Нет, он уверен, что диагнозы совпадут. — Закончив разговор, она обратилась к Костюковичу: — Идите, Марк Григорьевич, Сажу Алимовна ждет вас... И все-таки не пойму, зачем вам эти сложности? В конце концов ответственность несую я,

* Аутопсия — вскрытие умершего.

начмед, за то, что разрешила выдать тело без вскрытия. А вы мне не дали нарушить закон,— хмыкнула она.

Устало спускаясь вниз, Костюкович понял, что до обеда вряд ли вырвется домой...

4

Они сидели вдвоем в маленькой комнате, приспособленной под кабинет.

Старший тренер сборной Виктор Петрович Гушин, высокий, тяжелый, с мощно обвисающими плечами, разговаривал с врачом команды Олегом Константиновичем Туровским.

— Ты все уладила в больнице? — спросил Гушин.

— Да. Мать написала заявление. Начмед долго упиралась, кочевряжилась, мать с трудом умолила ее, — ответил Туровский.

— Поминки нужно по высшему разряду. Понял? Тут жмотничать нельзя. Надо дать Алтунину деньги, составить список продуктов, пусть садится в машину и шурует. Скажи ему, чтоб водку брал красивую, на винте, и минералки с запасом... Теперь вот что, Олег: матери надо помочь, единовременное пособие. Понял?

— Само собой.

— Да-а-а... Подвел он нас. Осенью Европа, потом игры «Дружбы» в Штатах... На него была вся надежда. Серебро как минимум. И на тебе — в самый пик...

— Надо готовить замену. Володю Покатило, — предложил Туровский.

— Потянет ли? Что он по сравнению с Зиминьим!

— А какой выход?

— Он всегда второй, если не третий. Будапешт ему отменим. Нельзя, если начнем готовить на Европу. Понял?

— Разумеется.

— Что ж, составляй графики для Покатило, — после некоторого раздумья заключил Гушин. — И хорошо продумай схему.

— Ты его предупреди, чтоб поменьше болтал. В команде пока не должны знать, — сказал Туровский.

— Все равно поймут, когда я займусь им вплотную... Ох, как нам нужна сейчас таможня!

— Там пока глухо. Ягнын звонил, сейчас ничего не может.

— Бабки просил?

— Да.

— Дадим?

— Дадим. Отработает. Он человек нужный, съезди к нему, одно дело по телефону, другое, когда глаза человека видишь... В общем, крутись, это и твои заботы... Пойду в бассейн, погоняю их. — Туровский вытащил из кармана секундомер, глянул и, зажав его в кулаке, вышел...

5

Костюкович не любил ходить на вскрытия, просто был обязан, если умирал его больной, поскольку должно быть неопровержимо установлено, совпадает или нет его клинический диагноз с диагнозом патологоанатома.

— Что за спешка, Марк? — спросила Каширгова, когда они вошли в прозекторскую.

Он объяснил.

— Зачем настаивали? — пожала плечами Сажки Алимовна. — Уверены в диагнозе?

— Сами сейчас увидите...

— Ну что ж, приступим. — Сажки откинула простыню, прикрывавшую тело Зимина, взглянула, покачала головой. — Да, этот экземпляр действительно был создан природой лет на сто жизни.

На локте левой руки Зимина белела небольшая наклейка из лейкопластыря. Костюкович оторвал ее и увидел чуть синеватый кружочек кожи, в центре которого приподнимался бугорок струпа размером со спичечную головку, а под ним была крохотная, как укол шила, воронка. «Похоже на свищ», — подумал он, глядя на побелевшую мертвую шелушившуюся эпидерму вокруг вороночки...

— Полюбуйтесь! — сказала Каширгова. — Я даже у стариков редко встречала такое, это же сухофрукты! — И она показала ему почки, сморщенные, как высушенные груши. — А что внутри них?! — Она скользнула скальпелем. — Из чего же они, а? Из застывшего цемента?.. Вот откуда эта гипертония... Видите, вот, вот и вот; наши диагнозы вроде совпадают. Но для полного спокойствия позволю вам после гистологии. Да и мне самой интересно, как это будет выглядеть под микроскопом...

Стасик заехал за Михальченко к десяти утра. Он все еще носил маскировочную куртку и такие же брюки с коричнево-зеленым накрапом.

— Тебе не надоела армейская роба? — как-то спросил Михальченко.

— Удобно: не пачкается, и много карманов...

Объезд гаражных кооперативов они начали по списку, переданному Левиным, но внесли в него свой порядок, дабы не гонять челноком из одного конца города в другой. Михальченко уже знал, что украденная краска расфасована в десятилитровые прямоугольные запаянные банки из белой жести с красивой этикеткой.

В некоторых кооперативах у Михальченко оказались знакомые автовладельцы из бывших сотрудников милиции, уволившихся в разное время, кто по возрасту, кто по другим причинам. Будучи человеком общительным, он и с незнакомыми автовладельцами, возившимися у своих машин, обменивался шутками, двумя-тремя пустыми фразами, успевая цепким и быстрым взглядом опустить полки открытых боксов.

Часам к трем дня Михальченко покинул последний кооператив. Ничего...

А в это время Левин заканчивал разговор с Чекирдой у себя в кабинете.

— Вернемся к началу, Артур Сергеевич. Груз вам вывозит машиной. Чья машина?

— По договору мы арендуем «КамАЗ» у автопредприятия номер 12145. Шофер один и тот же.

— Как его фамилия?

— Лукашин Антон Данилович.

— Вы его заранее предупреждаете о грузе?

— Нет. С вечера мы заказываем машину, а на следующий день утром Лукашин едет на склад.

— Сколько человек знает, что это груз вашей фирмы?

— Лукашин, конечно, завскладом — как приемщик. И еще мой заместитель. Человек абсолютно надежный. Мы знаем друг друга много лет, еще со школьной скамьи. К тому же он муж моей сестры.

— Вы предъявляли претензии завскладом?

— А что толку? «Заявляйте в милицию, — говорит. — Пусть ищут». А почему вас интересуют конкретные люди?

— Так уж я устроен, с детства любопытен.

В кабинет вошел Михальченко. Чекирда поднялся, поклонился, Михальченко ответил кивком.

— Я вам еще нужен? — спросил Чекирда. — У меня деловое свидание.

— Пожалуй, нет, Артур Сергеевич. Если что — я вам позвоню.

Когда Чекирда ушел, Михальченко, потирая больную руку, сказал:

— Подведем итог. Сперва о базе. Там сам черт ногу сломит. Склады идут на сотни метров: обувные, верхняя одежда, электро-радиотовары, химтовары, канцтовары и прочее, и прочее. Терминалы заставлены контейнерами. Протиснуться невозможно. Одни разгружают, другие загружают. База-то оптовая. Наверное, тысячи контейнеров. Бесперывно подъезжают машины, автопозвучики. Завскладом бегаёт от машины к машине, оттуда в конторку, из конторки снова на терминал. Всё в мыле. Мат стоит, хоть топор вешай. Я понаблюдал. Уволочь отсюда можно что угодно. Я говорил с завскладом. Плачется, разводит руками, мол, такого не бывало, чтоб по-крупному. Понимает: для него это кончится худо. В лучшем случае выгонят... Я вот о чем подумал: ну, объездил городские кооперативные гаражи, а что толку? Ведь в каждом райцентре области их тоже немало. Не гонять же по всей области!

— А если похищенное вывозили вообще за пределы области?

— Не исключено, — ответил Михальченко.

— Попробую проверить через ГАИ, не было ли подозрительных задержаний... Ну что, по домам? Все-таки суббота...

7

В конце дня, когда Костюкович делал записи в чьей-то истории болезни, в ординаторскую вошел следователь ГАИ старший лейтенант Рудько. Костюкович узнал его.

— Здравствуйте. Я опять к вам, доктор, — поздоровался Рудько.

— Догадываюсь. Садитесь, слушаю.

— Как там Зимин? Мне дело закрывать пора, побеседовать с ним надо коротенько. Это возможно?

— Умер Зимин.

— Да вы что! Когда?

Костюкович назвал число.

— Меня не было девять дней, к матери ездил в Винницу... Как же это произошло?

— Инсульт...

Когда Рудько поднялся, Костюкович вдруг спросил:

— Прошлый раз, когда были у меня, вы упоминали, что за полгода до этой аварии Зимин тоже попал в аварию?

— Да.

— Вы с ним разбирались потом?

— А как же?

— И как он объяснил? Вы говорили что-то о внезапной потере зрения.

— Когда я приехал к нему в больницу брать объяснения, он сказал, что его за рулем вдруг замутило, на секунду потерял зрение и врезался.

— А в какую больницу он попал?

— Мы вызвали «Скорую», и его привезли сюда. Кажется, в 1-ю нейрохирургию. У него было сотрясение мозга.

— Вы не могли бы установить месяц и число, когда это случилось?

— Попробую, если нужно. Я позвоню вам.

Рудько позвонил в пятницу.

— ДТП* произошло 19 января.

— Он был один в машине?

— Нет, с дружкой. В деле есть его показания. Тоже спортсмен: Владимир Анатольевич Покатило.

— Спасибо, старший лейтенант.— Костюкович опустил трубку. «Володя Покатило... Это тот парень, который был в приемном покое, когда я принимал Зимина»,— вспомнил он и, поразмыслив, отправился на шестой этаж в 1-ю нейрохирургию.

Завотделением была у себя, мыла руки, когда вошел Костюкович.

— Здравствуйте, доктор,— поприветствовал он.

— Здравствуйте. Вы ко мне? — Куцым вафельным полотенцем она принялась протирать каждый палец.

— Я с просьбой.— И Костюкович рассказал, в чем дело.

— Когда он к нам попал?

— 19 января.

— Хорошо, узнаю, у кого он лежал, поднимем из архива историю болезни.

— Буду очень признателен.

— Позвоните мне в конце дня, часа в четыре.

К трем Костюкович уже освободился, но он ждал назначенного нейрохирургом времени. Около четырех раздался звонок.

* ДТП — дорожно-транспортное происшествие.

— Слушаю.

— Доктор Костюкович? — спросил мужской голос.

— Да.

— Это из первой нейрохирургии Лернер. Вас интересовала история болезни Зимина? Она у меня, можете подняться, я в ординаторской. Только, пожалуйста, не задерживайтесь, мне нужно уходить. — Все это было произнесено недовольным голосом. Костюкович знал доктора Лернера. Они встречались, когда Лернер приходил консультировать в неврологию или когда в нейрохирургию на консультацию вызывали Костюковича, сталкивались они и в приемном покое. Это был угрюмый раздражительный человек, неуживчивый, коллеги его недолюбливали, но при этом признавали, что Лернер высокого класса оператор, золотые руки, хотя имел лишь вторую категорию...

— Вот. — Лернер указал на тоненькую папочку, едва Костюкович переступил порог его кабинета.

— Он был вашим больным? — спросил Костюкович.

— Разумеется, — усмехнулся Лернер, — коль мне велено рыться в архиве.

Костюкович сел, начал читать. Ничего особенного: сотрясение мозга, поступил с высоким артериальным давлением — 180 на 90, что в этой ситуации объяснимо.

Выписали Зимина через три недели. Артериальное в норме: 120 на 70...

— Все, доктор, спасибо. — Костюкович возвратил папочку.

Лернер пожал плечами, мол, стоило из-за этого морочить голову.

Поздно вечером Костюковичу позвонила начмед:

— Марк Григорьевич? Это Ильчук.

— Слушаю, Варвара Андреевна.

— Ну и камнепад вы устроили!

— С чем?

— Да с Зиминным, с этим спортсменом! Они пришли за телом, а когда узнали, что вскрытие все-таки было, подняли шум!

— Мать?

— И врач команды. Я сказала, что вы настояли. Когда они начали угрожать, что будут жаловаться, выставила их. Так что вам досаждают уже не станут... Просто имейте в виду...

Но она ошиблась. Через час позвонил Туровский:

— Зачем ты настоял на вскрытии? Начмед матери пообещала. А ты настоял! У людей свои предрассудки, мать не желала, чтоб кромсали тело ее сына, — шумел Туровский.

— Не ори! — осадил его Костюкович. — Мать — ладно. Но ты же врач и обязан знать, какой порядок существует, если человек умирает в больнице. Кроме того, этому человеку всего двадцать первый год, и умирает он от внезапного инсульта. О чем вообще может идти речь? Мы не имеем права выдавать труп без вскрытия. В данном случае к правилам прибавился и личный интерес: он мой больной!

— У тебя что, мало других погибает?! Тебе понадобился именно Зимин?!

— Жаль парня... Успокой мать, объясни, что иначе было нельзя. Будь здоров! — Костюкович положил трубку.

Через три дня в ординаторскую позвонила Каширгова, попросила Костюковича.

— Слушаю вас, Саж, — сказал он.

— Ваш диагноз подтвердился, Марк, — геморрагический инсульт. Гистология готова. Но тут вот что... Листок гистологических исследований передо мной, читаю. — Когда она закончила, стала комментировать и в итоге спросила: — Вы удовлетворены?

— Пожалуй, — задумчиво ответил Костюкович. — Спасибо вам, Саж.

Несколько дней назад между Левиным и начальником ГАИ области состоялся такой разговор:

— Привет, Миша. Это Левин.

— Здравствуй, Ефим.

— Задавать тебе вопросы типа «как живешь?» не буду. О вашей жизни представление имею. У меня к тебе просьба.

— Что, машину раскурочили или угнали?

— У меня машины нет. Мы с Иваном Михальченко заняты тут одним делом. Наш заказчик — совместное предприятие «Золотой ячмень». Они получают из Чехии оборудование, краску. Арендуют склад у базы «Промимпортторга». Так вот, с этого склада похищено несколько ящиков с электронным оборудованием и краской. Мне хотелось бы знать, не задерживали ли твои посты при выезде из города или из области какие-нибудь грузовики с этим добром. Документов на вывоз у похитителя быть не может.

— Я проверю. Оставь свой номер телефона...

И вот сегодня прозвучал ответный звонок:

— Ефим? Здравствуй. Я по поводу твоей просьбы. У нас ничего такого не зарегистрировано, хотя задержания были: левый сахар, шифер и прочее. На всякий случай я дал твой телефон старшему лейтенанту Рудько. Он следователь, парень толковый. Если что где проклянется, сообщит. Но ты особенно не обольщайся. Мы не в состоянии натывать посты на каждом километре. Объехать их по проселкам несложно.

— Добро, Миша, спасибо, утешил.

— Рад бы... Будь здоров...

Михальченко вернулся ни с чем. Тяжело опустившись в мягкое кресло, он вытер уголки губ и сказал:

— Пожилой человек, год, как вышел на пенсию, но еще работает. Шоферский стаж — тридцать восемь лет. Степennyй, спокойный. Очень аккуратно одет и гладко выбрит. Вот вам и весь Лукашин.

— Просто ангел.

— Не знаю. Но к хищению он вряд ли имеет отношение. Что входит в его функцию по фирме «Золотой ячмень»? Вывезти со склада груз на строительную площадку. Ездит он всегда вдвоем с замом Чекирды, доверенность, накладные и прочие бумажки у зама. Вот и все.

— Тогда разовьем другую тему. Краску у Чекирды увели всю, а электронику — два ящика из четырех. С чего бы такая доброта, а, Иван?

— Не успели? Что-то помешало?

— Ну уж!.. А ведь без содержимого ворованных ящиков оставшиеся в двух других монтировать нельзя. Это электроника. Так что, считай, уперли все. «Золотой ячмень» арендует весь складской модуль?

— Нет, только левую его часть. Там есть выгородка для их грузов.

— И много груза?

— Почти пусто. Груз по мере поступления с железной дороги за пять-шесть дней вывозится на стройплощадку.

— А что же в остальной части модуля?

— Склад импортной парфюмерии.

— Значит, случайный вор прогадал: вместо двух-трех коробок с импортной парфюмерией прихватил бесполезное, ибо некомплектное, электронное оборудование? А может, он специально шел за этим?

— На кой черт?! Ну, краску понятно, надеялся сбыть ее каким-нибудь дуракам под видом бытовой. А вот электронику зачем? Это же не видеомэгафон!

— Вот и я об этом подумал.

Зазвонил телефон, Левин снял трубку:

— Слушаю... Да... Он у меня... Что стряслось?.. Боже! Этого еще не хватало! Понятно... Хорошо... Звонили из аптекоуправления. У них со склада похитили какие-то лекарства.

— Ночью или днем? — взволновался Михальченко.

— Еще неизвестно. Выяснят подробности, позвонят. Подождем.

8

Сева Алтунин ездил на «девятке» тренера сборной Виктора Петровича Гущина по доверенности. Он работал помощником врача у Туровского и был еще как бы разгонным шофером. В общем — на подхвате. Веселый, общительный, исполнительный, он припелся по нраву и Туровскому, и Гущину...

— Едем к Погосову в институт, Сева, — сказал Туровский, усаживаясь в машину.

Они припарковались на маленьком пятачке возле НИИ фармакологии.

Постучавшись в дверь на втором этаже и услышав громкое «Прощу», Туровский вошел. Погосов сидел за письменным столом, заваленным бумагами и книгами, что-то писал. Белый халат оттенял его большое смуглое лицо с умными глазами. Крупный череп Погосова был почти лыс, легкий венчик седых волос на висках и затылке, черная, в мелких кудряшках, борода, закрывавшая пол-лица, делали его похожим на библейский персонаж.

— О, какой гость! — Погосов поднялся. — Давно не виделся! Жаль, угостить нечем, даже спирта нет — дефицит.

— Зато я могу угостить хорошим коньячком, Баграт Гургенович, — засмеялся Туровский и уселся на стул. — Бутылочка «Ахтамара» сохранилась. Поедем? Я на колесах.

— Не выйдет, Олег Константинович. У меня через час семинар.

— Это вам на сезон. — Туровский протянул ему пропуск в бассейн. — Форму надо блюсти, полнеете.

— Некогда следить за формой. Содержание бы сохранить. Но за пропуск спасибо. Может, выберусь... Какие заботы привели?

— Все те же.

— Сейчас не смогу, хоздоговорная тема, сулит большие деньги институту. А вам срочно?

— Да.

— У вас всегда срочно. Так нельзя, нервные клетки сторают, доктор. Надо жить спокойней.

— Не получается... Так когда же?

— Посмотрим по обстоятельствам. Постараюсь...

Они заканчивали разговор, когда вошла Ирина Костюкович.

— Знакомьтесь, Олег Константинович, — сказал Погосов. — Это Ирина Григорьевна Костюкович, еще один наш завлаб и мой антагонист. Ира, а это доктор Туровский.

— Погос, я же тебя учила, сперва представляют женщине мужчину, а ты всегда делаешь наоборот.

— Вы не родственница Марка Костюковича? — спросил Туровский.

— Сестра.

— Очень приятно. Мы с Марком учились вместе в институте, кончали в один год, правда, в разных группах. — Туровский внимательно посмотрел на нее и отметил про себя: «Она говорит Погосову «ты», хотя на вид ей лет тридцать пять, а Погосову пятьдесят четыре».

— Я не вовремя? Ты занят, Погос? — спросила Ирина.

— Мы вроде закончили, — взглянул на Туровского Погосов.

— Да-да, — закивал тот и, попрощавшись, пошел к двери...

На таможеню они приехали в конце перерыва. Ягньша на месте не оказалось, пошел обедать в рабочую столовую аэропорта. Туровский прохаживался у входа в таможеню, подстерегал Ягньшу, не желая торчать в коридоре на глазах у сотрудников. Сева, купив в киоске пачку газет, читал в машине.

Ягньш появился минут через пятнадцать. В форменной одежде он выглядел неподкупным и недоступным.

— Давай на скамеечке в скверике посидим, — предложил Ягньш.

— Ну что, Федор Романович? — спросил Туровский, когда они устроились на свободной скамейке в сквере.

— В перечне их нет, ты знаешь. Значит, надо ждать экспертизу.

— А если экспертиза наложит запрет?

— Тогда будем думать... Ты меня здесь застал случайно. Я уже две недели как откомандирован в другое место, пока коллега из отпуска не вернется... Слушай, Олег, а что насчет моей просьбы?

До осени дачу надо закончить, остались отделочные работы.
— Можешь приехать... Но и ты пойми, у нас горит.
— Да, понимаю. Никогда не подводил, но в этот раз количество больно уж заметное...

9

Покойный Зимин жил с матерью в двухкомнатной квартире. Поднимаясь по лестнице, Туровский, Гуцин и Алтунин думали каждый свою думу, хотя все сводилось к одному: как предстать им, здоровым, сильным, живым, перед убитой горем женщиной, потерявшей единственного сына, как пойдет разговор с нею.

Кнопку звонка нажал Туровский. Дверь открыли не сразу, сперва раздался тихий голос:

— Кто?

— Это мы, Мария Даниловна, доктор Туровский и Виктор Петрович.

Дверь открылась. В проеме стояла мать Зимина. Им показалось, что она стала еще тоньше, сморщенное личико, седые редкие волосы, завязанные сзади в небольшой узел. И странными выглядели для этого изможденного лица висевшие на мочках золотые сережки с небольшими рубинчиками. Туровский вспомнил: Юра Зимин покупал их для матери в Лейпциге, когда были на тренировочных сборах в позапрошлом году зимой...

— Проходите, — пригласила она, отступая от двери. — Коль зашли, соберу чего-нибудь.

Пить в жару не хотелось, но, с другой стороны, просто так сунуть ей конверт с деньгами и уйти — можно и обидеть. Туровский и Гуцин переглянулись.

— По маленькой можно, — решил Гуцин.

Зимина проворно принесла из кухни тарелки, приборы, поставила банку «Завтрак туриста», кабачковую икру, нарезала вареной колбасы, на тарелках — помидоры, огурцы, пристроила хлебницу, а в центр водрузила бутылку «Пшеничной».

— Вы уж извините, что так вот, — кивнула она на стол, — не ждала гостей.

Гуцин, вздохнув, налил в большие рюмки ей, Туровскому и себе.

— А ему что ж? — спросила Зимина, указав на пустую рюмку Алтунина.

— За рулем он, нельзя, — ответил Гуцин и по-деловому добавил: — Весной памятник ставить будем. Надо, чтоб земля осела.

Зимина согласно кивнула. Гуцин снова наполнил рюмки.

Когда бутылку прикончили, Гуцин, дожевывая кусок колбасы, выразительно посмотрел на Туровского. Тот понял, вынул из нагрудного кармана конверт:

— Мария Даниловна, это вам от всех нас. Тут пятьсот тысяч. Это еще не все, конечно, пока, на первый случай.

— Господь с вами, — робко произнесла Зимина. — Мне теперь ничего не нужно. — И глаза ее увлажнились.

— Мы понимаем, что никакие деньги не заменят вам и нам Юру, — продолжал Туровский, — но жить-то надо.

— Что поделаться, — перебил его Гуцин, — такая у нас медицина. Лучше к ним в руки не попадать. Да еще к таким врачам, как этот... Молодой, видать, и неопытный... Вот и прозевал, наверное, нужный момент... Гнать таких надо. Загубил он Юру. А мы ведь так его берегли. Да что с него, этого лекаря, сейчас возьмешь. — Тяжко дыша, Гуцин махнул рукой. — Хотя такое не прощают...

Алтунин за все время не произнес ни слова. Наступила пауза. Видя, что она затягивается, Туровский поднялся.

— Нам пора, Мария Даниловна. Извините за вторжение. Если что нужно будет, звоните.

— Да-да! — подтвердил Гуцин. — Вы с нами связь держите. Сева у нас всегда под рукой... В нужный момент — и он у вас... Спасибо за угощение.

— Вы уж извините, что скромно. И за деньги большое спасибо, придержу на памятник Юре.

— Не надо, Мария Даниловна. Тратьте их, а на памятник мы найдем, это наш долг, — сказал Гуцин.

Когда вышли и уселись в машину, Туровский произнес:

— Что ж, дело сделано...

Было около пяти, когда Костюкович спустился в подвал, взял последнюю канистру бензина из своего загашника, заправил машину и поехал на спортбазу.

Старик-вахтер, сидевший в дежурке, потребовал пропуск.

— Я к доктору Туровскому, — сказал Костюкович и, не останавливаясь, крутанул турникет. — Где мне найти Володю Покатило? — остановил он молодого человека в джинсах.

— В спортзале железо толкает.

— Вы не могли бы его позвать?

— А что сказать?

— Скажите, знакомый.

Костюкович сел на скамейку перед входом в здание. Покатило вышел, шурая от яркого солнца.

— Володя! — позвал Костюкович.

— А-а, доктор! Здравствуйте. Вы ко мне?

— К вам, Володя. Присядьте. У меня несколько вопросов. Вы говорили, что перед аварией у Зиминой болела голова, на несколько секунд он потерял зрение и вообще жаловался на головные боли.

— Да.

— Они часто его беспокоили после первой аварии в декабре?

— Случалось.

— Он обращался к врачам?

— Нет, зачем? У нас свой доктор, Туровский Олег Константинович. Давал ему какие-то таблетки.

— Следователь ГАИ сказал, что зимой вы были с Зиминым в машине...

— Да.

— Вы тогда тоже пострадали?

— Вывихнул плечевой... Перед ударом Юра пожаловался: «Что-то мутит меня», а в последний момент крикнул: «Глаза!.. Не вижу!»

Из-за угла на асфальтовой дорожке появился Туровский, держа в руках сумку, из которой торчала ракетка. Покатило вежливо попрощался и ушел, а Туровский подошел к Костюковичу.

— Какими судьбами? Поплавать решил? — спросил он.

— Да нет. Нужно было повидать Володю Покатило.

— Зачем? — удивился Туровский.

— Слушай, Олег, Зимин никогда не жаловался тебе на головные боли?

— Он был здоров, как бык.

— А Покатило говорит, что Зимин обращался к тебе по этому поводу.

— Да ты меньше слушай его. Мальчишка! Что он понимает? Болтает. После аварии зимой пару раз подскакивало давление. Я полагал, что это посттравматические явления... Ты-то как живешь?

— Наукой занялся, — хмыкнул Костюкович.

— Да ну? Правильно! Так у тебя что, кроме Зимина материала не хватает? Отделение, небось, забито инсультниками?

— Не такими.

— Хочешь пропуск в бассейн?

— Вряд ли смогу воспользоваться, времени не хватает.

— Где отдыхать собираешься?

— Куда сейчас поедешь? Всюду стрельба. Да и цены на путевки не для нашего брата.

— У нас хорошая база в Карпатах. Бери бабу — поживи недельки три. Я тебе устрою двухместный номер со скидкой. Только загодя скажи.

— Спасибо. Когда дело дойдет до отпуска, позвоню...

10

Чекирду в его конторе Левин не застал.

— Вы договаривались о встрече? — спросила секретарша.

— К сожалению, нет.

— Посидите, он вот-вот должен вернуться.

Действительно, не успел Левин развернуть свежий номер «Коммерсанта», как в офис быстро вошел Чекирда.

— О! Ефим Захарович! Давно ждете? Что ж не позвонили загодя?

— Ничего страшного, — успокоил его Левин.

Они прошли в кабинет.

— Порадуете чем-нибудь? — спросил Чекирда.

— Пока нет, — ответил Левин. — Как у вас движется?

— Начали отдельные монтажные работы.

— Артур Сергеевич, вам никто не угрожал, не шантажировал, может, есть враги или конкуренты?

— Ничего такого. Враги? Вроде ни с кем не враждую. Может, завистники и есть. Но так, чтобы... Нет, явного ничего определить не могу.

— Вы кто по профессии?

— Я? — удивился Чекирда. — Закончил институт инженеров железнодорожного транспорта. Факультет «Мосты и тоннели».

— Много мостов и тоннелей построили?

— Иронизируете? Вы в Доглядном бывали?

— Бывал.

— Железнодорожный мост через впадину и реку видели? Я один из его проектировщиков... Почему вы заговорили о возможных врагах, шантажистах, завистниках? Есть что-нибудь конкретное?

— Ничего. В вашей профессии, очевидно, многовариантность опасна, а в моей без нее не обойдешься... В ближайшее время вы должны получить из Чехословакии какой-нибудь груз?

— Да. Порошок, из которого делается легкая прозрачная пластмасса, из нее штампуются ящички-соты, в каждом — десять гнезд, в них ставится десять банок с пивом. В этой упаковке оно и поступает в продажу.

— В какой таре придет порошок?

— В трех полиэтиленовых мешках. По тридцать килограммов каждый. Для пробной партии.

— Когда вы ждете его?

— В конце месяца. Наши партнеры позвонят о точной дате отгрузки.

— Проследите, пожалуйста, день и час, когда мешки поступят с железной дороги на склад. И тут же уведомите нас. Сообщите так же завскладом, что забирать будете на следующий день утром. И сделайте так, чтоб на складе об этом знало как можно больше людей.

— Вы полагаете, что хищение электроники и краски — не случайность?

— Я уже вам говорил, что в моей профессии многовариантность — необходимое неудобство.

— Значит, отработываете один из вариантов?

— Допустим.

— На чем он основан?

— Ни на чем, Артур Сергеевич. Мне пора. — Левин поднялся. — «Ну, зануда, — подумал он, — все ему надо знать. И как я целюсь, и как промахиваюсь, и почему...»

Дежурств у Костюковича стало больше: кто-то ушел в отпуск, кто-то ехал на курсы, кого-то забрали в военкоматовскую комиссию. Остальным врачам отделения приходилось дежурить за убитых...

Ночь была теплая. Костюкович стоял у открытого окна ординаторской и курил, а с противоположной стороны у подъезда приемного покоя время от времени слышался шум работающих моторов — подъезжали и, разгрузившись, уезжали машины «скорой помощи». Окно выходило во внутренний двор. Он был темен. Лишь в конце, где находилась подстанция «скорой», ее гаражи и заправочные бензоколонки, ярко горели прожектора, захватывая в полосу света отдельно стоявшее здание патологоанатомического отделения.

На дежурство сегодня Костюкович приехал на своем «житуленке», завтра собирался на станцию техобслуживания — застучал задний правый амортизатор. Вспомнив об автомобиле, забеспокоился: машину поставил во внутреннем дворе в проеме между двух корпусов, противопожарную скобу надел, а вот хорошо ли запер ее, сейчас засомневался, надо бы проверить.

Он взял ключи, спустился вниз в цокольное помещение и пошел по гулкому тоннелю, ведущему во двор. И тут на фоне привычных больничных запахов вдруг ощутил инородный — стойкий, резкий, но приятный запах лосьона. «Кто-то прошел здесь недавно», — подумал Костюкович. Противопожарная скоба оказалась запертой. Он глянул в даль двора. По асфальтированной дорожке в сторону патологоанатомического отделения и подстанции «скорой» двигались две фигуры в белых халатах — мужская и женская. «Врачи со «скорой», — решил Костюкович, полагая, что это именно они только что прошли по тоннелю во двор, оставив за собой невидимое облачко запаха лосьона...

Костюкович вернулся в ординаторскую, включил приемник, чтобы послушать новости по «Свободе», но едва поймал волну, подстроился, как вызвали во 2-ю терапию на консультацию...

Утром следующего дня у Костюковича поднялась температура — 37,7. Он позвонил в больницу доверенному врачу, чтоб открыли бюллетень, затем — завотделением, предупредить, что заболел и на работу не выйдет.

Проболел Костюкович неделю, простуда, как говорится, пошла вниз, заложило грудь, поднялся сильный кашель, голос сел. К концу недели полегчало, но еще два дня — субботу и воскресенье — он пробыл дома.

В воскресенье вечером позвонил завотделением:

- Ты как, Марк?
- Уже в порядке. Завтра выхожу на работу.
- На тебя поступила жалоба.
- От кого?

— Не знаю. «Телега» лежит у главного недели две, но он был в командировке в Богуславском районе по заданию облздрава.

— Вернулся?

— Да. Но ты будешь смеяться: его свалил радикулит...

В понедельник после пятиминутки и обхода Костюкович поднялся в приемную главного врача. Секретарша сидела за своим столиком перед пишущей машинкой.

— У себя? — спросил он, кивнув на дверь, обтянутую дерматином.

— Болен. Будет в среду.

— Катенька, у меня к вам маленькая просьба: я уже знаю, что меня разыскивали по поводу жалобы. Не спрашиваю, кто автор, но хотя бы дату, когда она поступила...

— Хорошо. — Секретарша взяла толстую тетрадь, полистала и назвала дату.

Через несколько дней около полудня в ординаторскую Костюковичу позвонили из патологоанатомического отделения:

— Доктор Костюкович? Здравствуйте. Вас беспокоит доктор Коваль. Я замечаю Сажу Алимовну. Она уехала на курсы. Вы очень заняты? Не могли бы сейчас зайти?

— Я собирался пунктировать больного, — ответил он, удивляясь звонку и просьбе. — Минут через двадцать вас устроит?

— Хорошо...

Коваль ждал его в кабинете Каширговой.

— Что случилось, коллега? — спросил Костюкович.

— Завтра клинико-анатомическая конференция.

— Знаю. Начмед предупредила, хочет рассмотреть случай с умершим пловцом.

— Она попросила меня взять с собой протокол вскрытия с листком гистологических исследований. Так вот: бумаги исчезли из архива. Лаборантка при мне перерыла все, как в воду канули. Хотя у нас аккуратно — по годам. Но это еще не все. Исчезли блоки и стекла некропсии Зимина.

— Что же делать? — растерялся Костюкович.

— Надо доложить начмеду, — жестко произнес Коваль.

— У кого ключи от архива? — спросила начмед, выслушав сообщение патологоанатома.

— У меня и у старшей лаборантки, — ответил он.

— Как она объясняет пропажу?

— Сама в растерянности. Клянется, что посторонних не было.

— Она давно работает у нас?

— Третий год.

— Протокол вскрытия мог случайно попасть на другой стеллаж, но исчезновение блоков и стекол — уже не случайность, — сказал Костюкович.

— Будем называть вещи своими именами, — перебила его начмед. — Это не исчезновение, а хищение. И вор знал, что брать. Да брал так, чтоб, как говорят, с концами.

— Будем заявлять в милицию? — спросил Коваль.

— Едва ли милиция станет этим заниматься, — махнула рукой начмед. — Да и нам ни к чему реклама на весь город.

— Это явно кто-то из своих, осведомленных, что, как и где лежит. Но ради чего? — Костюкович повернулся к Ковалю. — А может, пропал материал не только Зимина?

— Проверить невозможно: в архиве хранятся блоки, стекла, протоколы сотен умерших во всех отделениях больниц города, плюс биопсийные* блоки и стекла тысяч больных из этих же больниц.

— Тем более нечего бежать в милицию, — сказала начмед. — И, пожалуйста, никому ни слова. Вор не должен знать, что мы хватились. Может, попадетсЯ на чем-нибудь другом...

* Биопсия — микроскопическое исследование тканей или органов больного.

В среду, едва Костюкович вошел в ординаторскую и натянул халат, позвонила секретарша главврача.

— Доктор Костюкович, Дмитрий Данилович просит вас срочно зайти.

— Хорошо, сейчас поднимусь.

— Разрешите? — Костюкович приоткрыл дверь в кабинет.

— Входите. Давно пора было прийти. На вас в облздрав поступила жалоба, ее переслали мне — разобраться и принять меры.

— От кого и в связи с чем жалоба?

— От матери умершего больного Зимина.

— Зимина?! — удивился Костюкович. — На что же она жалуется?

— Халатность, невнимание, а главное — ошибка в диагнозе, что привело к смерти ее сына.

— Чуть, Дмитрий Данилович! Во-первых, когда Зимин поступил к нам, дежурный нейрохирург, рентгенолог и я смотрели на томографе. Там был классический геморрагический инсульт.

— В спешке вы могли упустить самое главное, диагностировать инсульт, лечить от инсульта, а на самом деле...

— Можно взять историю болезни Зимина из архива.

— Она уже у меня. Я ознакомился. Да, лечили его от инсульта. А если диагноз изначально был ошибочен?

— Допустим, — еле сдерживаясь, произнес Костюкович. — Но есть же и высший судия — патологоанатом, ведь вскрытие подтвердило мой диагноз.

— Тогда представьте мне протокол вскрытия и листок гистологических исследований.

«Уже знает, что бумаги исчезли, — понял Костюкович. — Кто же настаивал?»

— Я знаю, что произошло, — продолжал главный. — У меня был разговор с начмедом. Я читал объяснение доктора Коваля. Жаль, что Каширгова уехала на курсы, сейчас она здесь очень нужна. Кстати, какие у вас с ней отношения?

— Нормальные, деловые, — удивился Костюкович, понимая, куда гнет главный.

— А я располагаю другими сведениями... Вот и мать Зимина пишет... Читайте. — Он протянул страничку машинописного текста.

«Я уверена, что в справке после вскрытия — ложь, протокол вскрытия сфальсифицирован патологоанатомом Каширговой. Она спасала своего любовника, доктора Костюковича...»

— Это клевета. — Костюкович на мгновение прикрыл глаза.

Главный развел руками, мол, что написано пером...

— Не знаю, любовники вы или нет, но ведь когда муж доктора Каширговой уезжал на полгода в командировку в Индию, вы довольно часто встречались с ней.

— Я не хочу ни с кем обсуждать наши с Сажи Алимовной отношения, — жестко произнес Костюкович. — Это не касается ни жалобщицы, ни вас, Дмитрий Данилович.

— Как видите, коснулось.

— Готов отвечать только за свою работу.

— Пишите объяснение. Там видно будет...

Спускаясь в лифте, а затем идя по коридору в ординаторскую, Костюкович расставлял все по местам: «А ведь жалоба матери Зимина написана не ею. Ей дали только подмахнуть! Простая школьная уборщица едва ли смогла бы сформулировать медицински последовательно и грамотно свои претензии. Тут чья-то более опытная рука. Чья? Кто-то в нашем отделении? Или в отделении Сажи? Месть? Мне или ей? Или нам обоим?»

12

Когда Левин зашел в кабинет Михальченко, тот, вальяжно развалившись в кресле у окна, читал какую-то тоненькую брошюрку в пожелтевшей выпцветшей обложке.

— Иван, ты был в аптекоуправлении? — спросил Левин.

— Был. Теперь это называется иначе: производственное объединение «Фармация». Пропавшие лекарства — это картонная коробочка размером приблизительно сорок на пятьдесят, в ней и были упаковки с лекарством. А попала она в объединение с таможни.

— Каким образом?

— Таможня задержала. Во-первых, больно внушительное количество. Во-вторых, в разрешительном перечне таких таблеток нет. Следовательно, к провозу на территорию страны они запрещены. И реализовывать через аптеки тоже возбраняется.

— И что же дальше с товаром происходит?

— Передают в налоговое управление. Создается комиссия из представителя налогового управления, таможни и «Фармации», составляется акт на уничтожение. Но в данном случае не успели.

— Да, кто-то оказался попустулей.

— Зав. информационным отделом «Фармации» взял накануне из упаковки один туб для образцов. Вот как эта штука выглядит. — Михальченко достал из кармана небольшую металлическую колбочку зеленого цвета. — Я у него выпросил, хотел вам показать.

Туб как туб, плотно закрыт красивой винтовой герметической крышечкой, чтобы сорвать ее, надо слегка нажать и повернуть вправо.

— Хитро, — усмехнулся Левин, отвинчивая колпачок с замысловатой резьбой внутри и высыпая на ладонь маленькие розовые таблетки. — Возьму-ка эту штуку домой, покажу жене, она все-таки провизор со стажем. А что если это связано с наркотиками?..

Костюкович допивал чай с вишней, когда раздался телефонный звонок. Второй, параллельный аппарат висел на кухне.

— Слушаю. — Костюкович снял трубку.

— Квартира доктора Костюковича? — спросил густой баритон.

— Да.

— Марка Григорьевича, пожалуйста.

— Я у телефона. С кем имею честь?

— Здравствуйте. Моя фамилия Думич. Я следовательно проку-

ратуры Шевченковского района. Марк Григорьевич, надо бы встретиться.

- В связи с чем?
- В связи со смертью вашего больного Зимина.
- Понятно... Жалоба?
- Угадали. Когда сможете зайти?
- Да хоть завтра после работы, около четырех.
- Годится. Жду вас, доктор, седьмой кабинет.

Следователь Думич оказался молодым человеком, почти ровесником Костюковича, но уже с лысиной, просвечивавшей сквозь редкие светлые волосы. Он вскинул на вошедшего близорукие глаза, казавшиеся испуганными за толстыми линзами очков.

- Садитесь, доктор... Ну что ж, приступим к делу...
- Уже и дело есть? — улыбнулся Костюкович.
- Во всяком случае, бумажка имеется, — сухо зато ответил Думич. — Ознакомьтесь. — И он вынул страничку из тощей папки. Костюкович пробежал глазами текст, усмехнулся и возвратил следователю.

- Все это я уже читал.
- Где?
- Аналогичная чушь поступила и к нашему главврачу. Автор тот же. Хотя не уверен, что это истинный автор. Я написал объяснительную.

— Значит, похищенное из патологоанатомического отделения — протокол вскрытия и некропсийные материалы — это единственное опровержение жалобы?

- Единственное.
- Плохо. — Следователь внимательно посмотрел на Костюковича. — Копию объяснительной перепишите для нас, пожалуйста. Два дня хватит?

- А что дальше?
- Жалоба на вас стала документом официальным. И я человек официальный. В жалобе говорится, что по вашей вине умер человек. Так что работы у меня прибавилось. — Следователь тоскливо вздохнул, встал, давая понять, что на сегодня все.

В перерыве они вдвоем пили кофе с рогалями, посыпанными маком. Кофе Погосов варил сам — из молотого зерна в настоящей медной турке на маленькой спиртовке.

— Твой кабинет можно найти по запаху, как духан, — засмеялась Ирина.

— Знаешь, сколько лет этой турке? — Погосов откинулся в кресле. — Лет сто. Еще прадед мой варил в ней. Мы, армяне, цепкие во всем, что касается домашнего очага, традиций, вещей. Ты свой виварий пополнила? — неожиданно спросил он.

- Да. А в чем дело? — удивилась Ирина.
- Запиваюсь, выручи. На двух группах животных я уже проверил. Мне нужно еще испытать взвесь на ингаляционное и аллергизирующее воздействие в третьей группе животных.

- По хоздоговорной теме?
- * — Да. Сделаешь?

- Ладно, доктор Фауст, сделаю. Хотя своей работы полно.
- Еще кофе? — предложил Погосов.
- Нет, хватит, очень крепкий.

Он начал убирать со стола, опрокинул чашку, густой черной ручеек потек на бумаги. Ирина кинулась поскорее отодвинуть бумаги, чтоб не промокли, как вдруг из-под них выкатился зеленый металлический туб, в каких обычно бывают импортные лекарства. Погосов схватил туб и сунул его в карман. Ирину удивила торопливость, с какой это было сделано, — туб металлический, не промок бы.

- Что это? — спросила она.
- Ерунда, — отмахнулся он. — Западногерманские витамины.
- Пьешь, что ли?
- Ага.
- Летом? Чего вдруг? Полно помидоров, болгарского перца, зелени. И ты все это любишь. Врешь ведь, Погос.

— Вру, — добродушно согласился он, куском марли промокая лужицу на столе.

Приоткрылась дверь, и в кабинет заглянула девушка-лаборантка в белом халате.

- Ирина Григорьевна, извините. К вам Суярко с химфармза-вода приехал.
- Иду! — отозвалась Ирина.

Костюкович вышел из застекленного тамбура, где толпились родственники больных, пытавшиеся проникнуть в неурочное время к своим близким, и спустился к трамвайной остановке. Неожиданно перед ним остановилась «девятка», и из приоткрывшейся двери высунулся Туровский:

- Марк! Домой, что ли? Садись!

Костюкович обрадовался оказии, на дорогу обычно уходил час из-за двух пересадок — с трамвая на автобус, а затем на троллейбус.

Едва он нырнул в «девятку», как почувствовал знакомый уже запах лосьона. Костюкович оказался на заднем сиденье рядом с Туровским. Водитель, полуобернувшись, поприветствовал:

- Здравствуйте, Марк Григорьевич. Не узнаете?

— Здравствуй, Сева, — коротко ответил Костюкович, все еще вытягивая носом парфюмерный запах. — Разбогател, «девятку» гоняешь?

- Гоняю, — усмехнулся Алтунин.

Рядом с Севой сидел здоровенный мужик лет сорока в серой безрукавке и в серых брюках.

— Знакомься, Марк, это наш тренер Виктор Петрович Гуцин, — представил его Туровский.

Гуцин молча кивнул Костюковичу, но голубовато-водянистые глаза под короткими белесыми ресницами смотрели настороженно.

- Ты спешешь? — спросил Туровский, повернув голову к

Костюковичу. — Мы едем с тренировочной базы, хотим где-нибудь пообедать. Составишь компанию?

— Денег с собой нет.

— Ерунда! Мы приглашаем, так что никаких проблем. Верно, Петрович? — обратился Туровский к тренеру.

— Порядок, — прогудел тот. — Жми, Сева, в «Голубой день».

Костюкович знал, что это гриль-бар, расположенный в лесном массиве, за городом. Ему не очень хотелось быть в роли приглашенного. С какой стати? Может, Туровский просто из вежливости пригласил, надеясь, что откажется. А услышав, куда они собираются, Костюкович совсем расстроился, знал, что в этом гриль-баре пены космические. Поэтому, когда добрались до развилки, попросил:

— Притормози, Сева. Сойду, пожалуй. Мы там засидимся, а дома кое-какие дела ждут.

— Да брось ты! Вот совковая психология! — махнул рукой Туровский. — Когда-то же и расслабиться надо! Не щепетильничай! Пригласили — не комплексуй. Знаем эту таверну, и знаем свои возможности. Так, Петрович?

— Порядок! Кати, Сева, — скомандовал Гуцян.

«А черт с вами! — подумал Костюкович. — Чего я в самом деле? Не напрашивался же!»

В гриль-баре народу было немного, поэтому официантка сразу подошла принять заказ. Похоже, она хорошо знала клиентов.

— Привет, подруга, — обратился к ней Туровский. — Как обычно, остальное из заглашника.

Стол быстро заполнялся: малиновые помидоры, маленькие огурдные огурчики, филе копченого карпа, обложенного каперсами, пучки свежего лука, армянская бастурма, лобио с копченой грудинкой, в глубоком квадратном блюде крабы, тарелка с пахучей кинзой и тархуном, бутылка коньяка «Славутич», а вместо хлеба теплый лаваш.

— Откуда у них все это? — удивился Костюкович.

— Бар теперь частный, трое их тут: хозяин, жена и сестра жены. Крутятся, в Армению ездят за бастурмой и травой, за фасолью для лобио и «Боржом» — в Грузию, за каперсами — в Азербайджан, за помидорами — в Молдавию... Ну что, приступим? — Туровский налил коньяк тренеру, Костюковичу, себе, а Сева Алтунину плеснул в фужер «Боржом». — Плохо, когда за рулем а, Сева?

— Ничего, компенсирую едой, — засмеялся Сева.

После бараньих ребрышек с жареным картофелем и очередной бутылочки коньяка разговор оживился. Говорили о спорте, о будущем хоккея и футбола, потом незаметно перескочили на медицину.

— Как твоя кандидатская движется? — спросил у Костюковича Туровский.

— Ни шатко ни валко.

— Что так, Марк Григорьевич? — поинтересовался Сева Алтунин.

— Времени не хватает.

— А кто вам лабораторные работы делает?

— Кто придется! Все дефицит, реактивов нет, приходится переплачивать, лаборантки шкуру дерут, как частный сектор. Правда, и зарплата у них символическая.

— Вам спонсор нужен, Марк Григорьевич, — подмигнул Сева.

— Для этого дела спонсоров не сыщешь, Сева, я кустарь-одиночка.

— Не скажите, — загудел тренер. — Наука не должна быть сиротой, — с умным видом изрек он, одним духом опрокинув в себя фужер с «Боржоми».

— Чем так интересен случай с Юрой Зиминим? — спросил Туровский. — Банальная история, у тебя же таких много.

— Не совсем банальная.

— Нам бы не очень хотелось, чтоб ты возился вокруг Зимина, — понизив голос, произнес Туровский.

— А мы бы могли выступить спонсорами Марка Григорьевича, как думаешь, Олег? — заговорил Гуцин, наполняя рюмку Костюковича коньяком, а свою водой.

— Конечно! — подхватил Туровский.

— Что вас смущает в моем интересе к смерти Зимина?

— Спортивный мир, Марк Григорьевич, это клановая система, свои тайны, их обсуждают только в своем кругу. Как у вас, у врачей. Вы ведь тоже не очень любите, когда со стороны кто-то проявляет интерес к вашим неприятностям. Нам ваше внимание не очень приятно, разговоры пойдут. Должны нас понять, Марк Григорьевич, — сведя брови, сказал Гуцин. — Что у нас на десерт, Олег?

— Мороженое с фундуком.

— Скомандуй подавать! Только пусть вареньем не поливают.

— Виктор Петрович прав, Марк, — закивал Туровский.

— Хотите, будем вашими спонсорами? Сколько надо? Если что, немножко «зеленых» наскребем. — Гуцин откинулся на спинку стула. — Только оставьте Зимина в покое...

«В чем же дело? — мучительно думал Костюкович, когда они ехали обратно в город. — Ведь меня, в сущности, пытались сейчас подкупить...»

Левин не хотел садиться обедать один, ждал жену с работы, но ее все не было. «Стоит за чем-нибудь в очереди», — решил он и отправился на кухню. Чистить картошку было лень, и он поставил на плиту кастрюлю с водой, чтоб сварить макароны.

В дверь позвонили. У жены были свои ключи, поэтому Левин спросил:

— Кто?

— Это Марк, Ефим Захарович.

— Входи, сосед. — Левин распахнул дверь. — Ты кстати, будем обедать. Мне одному неохота, скучно. Выпьем по пятьдесят грамм. Макароны любишь? Откроем кильку в маринаде. Есть борщ и котлеты... Проходи, садись.

— Спасибо, Ефим Захарович, я только что отобедал.

— Экий ты торопливый. Ира тебя, смотрю, обихаживает, животики наметился. Она хорошая девочка.

— Этой девочке уже под сорок, — засмеялся Костюкович.

— Но я-то помню ее пикольницей... Ты ко мне или к Виталику?
— К вам. За советом. У меня неприятность.
— Какого рода?
— Умер больной. Мать написала жалобу в прокуратуру, мол, халатность, ошибка в диагнозе, невнимание и прочее. Хотя я делал все, что мог, поверьте. У него был тяжелейший инсульт. Молодой парень, спортсмен. Даже если бы он выжил, а шансов там почти не было, то это «почти» означало, что он остался бы полным инвалидом: паралич, отсутствие речи, все это необратимо... Меня вызывали в прокуратуру.

— В какую?
— Шевченковского района. Следователь Думич.
— Этого не знаю. Наверное, новенький, из молодых... Что ты ему сказал?

— То, что и вам сейчас. Делал все, что нужно в этих случаях, все, что мог: капельницы, инъекции. Он прожил двое суток с небольшим и умер, не приходя в сознание.

— История болезни есть?
— Конечно. Но следователю этого мало.
— Почему?
— В жалобе сказано, что я ошибся в диагнозе.
— А вскрытие?
— Подтвердило мой диагноз.
— Так в чем дело? Надо снять копию с протокола вскрытия.
— Протокол потеряли. — Костюкович уклонился от подробностей на тему исчезновения протокола.

— Это хуже, — задумался Левин. — Тебя, конечно, потаскают, нервы потреплют. Тут еще многое будет зависеть от того, какую позицию займет руководство больницы: главврач, начмед. У тебя как с ними?

— С начмедом нормально. С главным похуже, он вообще дерьмо. Едва ли станет меня защищать, скорее отдаст на съедение.

— А зав. патологоанатомическим отделением?
— Она подтвердила мой диагноз. Вскрывала лично.
— Это важно.

Костюкович хотел было сказать, что это ничего не меняет, поскольку «они любовники», как сказано в жалобе на имя главврача, и подтвердить диагноз теперь нечем — все похищено, но передумал.

— Я написал объяснение в прокуратуру, хотел вам показать. — Он достал из кармана сложенный вчетверо листок бумаги.

Пока Левин читал, Костюкович размышлял: «Сказать ему или нет, что обе жалобы, конечно, инспирированы, что написаны, как он уверен, не матерью Зимина? Но где у него доказательства? Он не имеет права назвать тех, кого подозревает, они легко отпрутся: скажут, что у них нет и не было оснований обвинять Костюковича, что они испытывают к нему только уважение и дружеское расположение, недавно даже обедать его приглашали в гриль-бар. «А разве не так?» — «Приглашали с расчетом». — «С какой стати, зачем?» — «Да, нам не очень приятно, что после смерти нашего товарища Марк Григорьевич все еще копается в

этом. Да и мать Зимина недовольна. Вот и вся наша корысть. Тут любезнейший Марк Григорьевич загнул...»

— Ну что ж, бумага составлена нормально. Пусть Думич и возится: доказательств, что ты невиновен, нет, кроме твоих слов, но и у жалобщика, как я понимаю, тоже одни слова. Есть категория дел, особенно ненавистных следователям: заказные убийства, дела об изнасиловании и подобные твоему. Работы сейчас в прокуратурах по горло, захлебываются, есть дела покруче, которые надо разматывать немедленно, в срок, а с твоим можно и погодить, не горит. Вот так оно и будет, увидишь. В данном случае время твой союзник. Так что относи следователю эту писульку, не нервничай, работай спокойно, чтоб у тебя опять кто-нибудь не помер, — сказал Левин.

— Спасибо, Ефим Захарович.

— Пожалуйста, доктор. Кстати, у меня к тебе есть тоже профессиональный вопрос. — Левин вышел в другую комнату и вернулся, держа в руке небольшой зеленый туб, который Михальченко на пару дней взял в информационном отделе «Фармации». — Какое-то лекарство, показывал жене, но она с таким не сталкивалась. Посмотри и растолкуй мне, аннотация внутри.

Костюкович открыл туб, в котором оказались маленькие таблетки, там же аннотация. Он развернул листок.

— Это довольно мощный препарат. Сейчас такой только за валюту купишь. Решили принимать? Кто порекомендовал? В связи с чем?

— Объясни подробней, с чем это едят?

— Мы в невропатологии редко этим пользуемся. Но вообще в клинической практике он применяется довольно широко, оказывает стимулирующее влияние на синтез белка в организме.

— А конкретней?

— Стимулирует вес, улучшает общее состояние, при заболеваниях, когда организм истощен, назначают в предоперационном и послеоперационном периодах. Пользуются им в гинекологии и в кардиологии. В общем, препарат широкого спектра.

— Значит, не наркотик?

— Нет, нет... Вы можете дать мне его на один день? Хочу показать коллегам в больнице. Похоже, это новинка.

— Но только на один день, Марк. Мне срочно надо вернуть. Приятель достал себе, попросил, чтобы я показал жене, она все-таки опытный провизор.

— Чем он болен, ваш приятель?

— Перенес инфаркт.

— Пусть с лечащим врачом посоветуется, — заметил Костюкович. — Препарат сильный...

Вернувшись к себе, Костюкович еще раз прочитал черновую копию своей объяснительной записки, исправил несколько фраз, сделав их пригодными для прокуратуры, открыл пишущую машинку и начал печатать. Через какое-то время вошла сестра.

— Затеяла маленькую постирушку, дай свои грязные сорочки. Я воротники постираю вручную, — сказала она.

— Брось мучать руки, сунь в машину, ничего с этими сороч-

ками не делается... Возьми, они в правом шкафу, все на одной вешалке.

— Ты, конечно, крупный специалист прачечных наук, но не лезь в бабские дела... Что это? Где ты взял? — Она указала на зеленый туб, стоявший на письменном столе.

— У Ефима Захаровича. Хочу показать ребятам в больнице.

— Чем он интересен?

— Посмотри, по сколько миллиграммов! Такого я еще не встречал!.. Умеют немцы делать!

— Я видела на днях такой же у Погоса.

— Тоже достал? Ну, ему сам Бог велел, это, кажется, его хобби?

В другой комнате зазвонил телефон. Ирина вышла, затем крикнула оттуда:

— Марк, тебя! Нежный женский голосок, обрадуешься.

— Марк? Здравствуйте. Это Каширгова, — услышал он, взяв трубку.

— Вы же на курсах в Киеве, Сажи!

— Я приехала на субботу и воскресенье. Есть неотложные дела по дому... Тут, говорят, кое-какие новости появились за время моего отсутствия? Приехав, я позвонила коллеге из отделения, чтоб узнать, как там у них дела, а он мне и выложил: кража из архива, главный вызывал его и допрашивал о наших с вами отношениях. Что вообще произошло? Если вы свободны, подъезжайте ко мне, поговорим.

— Кое-что произошло. Но лучше, если мы встретимся где-нибудь в городе.

— Давайте тогда в сквере напротив агентства «Аэрофлота». Это мне удобней всего, близко от дома. Когда вы сможете?

— Минут через двадцать.

— Договорились. — Она положила трубку.

Костюкович обрадовался этому звонку, тому, что увидит Сажи, что сможет ей все рассказать и посоветоваться.

Сидя в сквере на скамье, он ждал ее появления из переулка, всматривался в его глубину, ему хотелось увидеть ее еще издали и наблюдать, как она идет. Но Сажи появилась с другой стороны, неожиданно, и когда она возникла перед ним, Костюкович даже растерялся. Он подвинулся на скамье, как бы предлагая ей сесть.

— Здравствуйте, Марк. Так что произошло? — спросила Сажи.

Он подробно пересказал ей жалобу матери Зимина, разговор с главным, наконец, о вызове в прокуратуру.

— Значит, мы с вами любовники? Что же, вы человек интересный, вполне могли бы быть в этой роли в моей жизни, как, надеюсь, и я была бы достойна занять это место в вашей, — усмехнулась Сажи. — Так что молва ни вас, ни меня не оскорбила. Что же касается остального, тут посерьезней... А вам не приходило в голову, что жалоба Зиминной в прокуратуру — это продолжение одного действия: сперва кража из архива, жалоба главному, наконец, — в прокуратуру. Нарастающее давление, кто-то спешит поставить точку, добить кого-то из нас — вас или меня?

— Нет, Сажи, тут последовательность иная, я высчитал: сперва жалобы, обе, а уж затем кража. Но против кого все это —

против вас или против меня? Или бьют так, чтоб по обеим мишеням?

— Сейчас мы на это не ответим, копать, чтобы защититься поодиночке, тоже бессмысленно. Нужно у этого человека или у этих людей выбить козыри.

— Каким образом?

— Есть такая возможность, Марк. По просьбе кафедры я всегда даю им по одному блоку из каждого органа, когда интересный, необычный случай. Они там делают учебные стекла для студентов.

— А у вас в отделении знают об этом?

— Знает старшая лаборантка. Обычно я звоню в кафедру, и от них кто-нибудь приходит и забирает у нее. Но в этот раз я отнесла сама — шла на кафедру и захватила с собой. Так что если я займу стекла, восстановить протокол вскрытия и патогистологический диагноз довольно просто. И никакого пробела в моем архиве не будет. Но сегодня суббота, завтра воскресенье, и после полудня я улечу. Можно, конечно, попросить на кафедре у их заведующей лабораторией Зиночки, чтоб мне сделали срезы с моих же блоков, забрать эти кусочки к себе и у меня же окрасить, сделать стекла. Но, во-первых, опять же сегодня и завтра выходные дни, разве что профессор Сивак там, кто-то из патологоанатомов да студенты; во-вторых, делать стекла у меня рискованно: тот, кто совершил хищение из архива, полагаю, следит за дальнейшим развитием событий в моем отделении, и сделать скрытно стекла у меня в лаборатории будет нелегко. Тут есть серьезный риск.

— Попробую повернуть на кафедре, — сказал Костюкович.

— Каким образом?

— Во-первых, у меня хорошие отношения с их заведующей лабораторией, поскольку я там довольно частый гость, и она знает, что мы с профессором Сиваком над чем-то вместе работаем. Мне только нужно знать регистрационный номер стекол.

— Это я сделаю по журналу. Сегодня же вечером поеду в отделение. Ключи от архива у меня есть. Вечером вы будете дома?

— Да.

— Я вам позвоню и сообщу номер. — Она поднялась первой. — Побегу, дел полно...

Работа над кандидатской шла медленно, свободного времени было мало, его съедала суетная жизнь больницы. Кроме времени, требовалось и много денег: частным образом добывать реактивы, платить лаборанткам из лаборатории Погосова, подрабатывавшим на диссертантах. С лаборантками Ирины Костюкович не связывался из этических соображений. Погосов, конечно, знал, что его сотрудницы делают «левые» работы, но по доброте душевной закрывал на это глаза...

Вот о чем думал Костюкович, идя на кафедру к профессору Сиваку.

Сивак был у себя.

— Здравствуй, гость. С чем пришел? Садись, а я буду слушать и складывать бумажки. Улетаю в Харьков, оттуда в Одессу, оппонирую на защите докторских.

— У меня умер больной, — сказал Костюкович. — Очень интересный случай. Привезли в коме. Геморрагический инсульт. Умер, не приходя в сознание.

— Чем же он интересен?

— Ему шел всего двадцать первый год, спортсмен, пловец-профессионал, член сборной.

— Ты был на вскрытии?

— Да. Но стеклов не видел. Их видела Каширгова, диагнозы наши совпали. Судя по ее словам, стекла представляют интерес. Для нас с вами, во всяком случае.

— Интригуешь. Каширгова передала нам блоки, не знаешь?

— Передала. Я даже знаю регистрационный номер.

— Пойди к Зиночке, скажи, чтоб сделала стекла. Приеду, посмотрим вместе... А сейчас извини... Да, вот что: к моему приезду хорошо бы повидать родных этого парня, выясни у них, чем болел в детстве, не был ли аллергиком, если да, то что вызвало аллергию. Коль он состоял в команде такого уровня, у врача команды должны быть какие-то карточки медосмотров, профилактики. Постарайся посмотреть...

С этими наставлениями Костюкович вышел из профессорской.

Заведующей лабораторией Зиночке было пятьдесят четыре года. Как пришла она сюда двадцать пять лет назад Зиночкой, так осталась для всех, даже аспирантов, Зиночкой. По отчеству ее никто не называл.

Костюкович нашел ее в большой комнате, где на полках, на столах, на полу стояли банки, баночки, бутылки и огромные бутылки со всякими химикатами и растворами, а на стеллажах от пола до потолка теснились регистрационные журналы за много десятилетий...

— Зиночка, я по просьбе профессора. К вам должны были поступить от Каширговой блоки номер 1282 для учебных пособий.

— Когда?

Он назвал дату. Она стала листать журнал.

— Есть. Зимин Юрий Павлович.

— Когда вы будете делать стекла?

— На этой неделе.

— Сделайте, пожалуйста, по одному лишнему.

— Со всех блоков?

— Нет. Главное — почки, сердце, надпочечники, поджелудочная и мозг. Я зайду к концу недели.

На спортивную базу Костюкович поехал без предварительной договоренности с Туровским. Когда он вошел в кабинет, Туровский стоял у книжного шкафа спиной к двери.

— Здравствуй, Олег, — произнес Костюкович.

Туровский обернулся и, как показалось Костюковичу, растерянно уставился на вошедшего, но тут же заставил себя улыбнуться.

- Здорово! Каким ветром?
- Я тебя ненадолго задержу.
- Ради Бога!
- Хотел взглянуть на медицинскую карточку Зимина.
- Никак не можешь уговориться. Дался тебе Зимин!
- Вы ведь ведете медосмотры, — настаивал Костюкович.
- А как же?! Следим за здоровьем пловцов, их питанием. Они

у нас, как цыплята в инкубаторе. Но карточку Зимина после его смерти я выбросил. Что конкретно тебя интересует? Я ее помню на память. Она была почти пуста, слава Богу. Ну, случалась ангина, ОРЗ, как водится; бывало, конечно, потянет на тренировках мышцу, связочку. А серьезного — ничего. Кормил его поливитаминами — югославский «Олиговит», западногерманский «Таксофит», швейцарский «Супродин», рацион тоже выглядел красиво: парная телятина, апельсиновый сок, икорка.

— Да, неплохо вас снабжают... Какое было артериальное давление?

- Норма! 120 на 70.
- На головные боли не жаловался?
- Вроде нет... А что тебя смущает?
- Знаешь, от чего он умер?
- От инсульта, ты же сам поставил диагноз.
- А этиология?
- Это уже по твоей специальности.
- Ладно...

— Как кандидатская?

— Двигается, но вяло.

— Защитишься, жду приглашения на банкет, раз уж нашего Зимина используешь для науки, — улыбнулся Туровский.

— У него что, свищ был на левом локте? Я содрал наклейку.

— Последствие бурсита. Однажды он ушиб локоть. У спортсменов часто бывает. Думали, консервативно вылечим, не получилось. На локте образовалась сумка, полная жидкости. Пришлось вскрывать. Не заживало полгода. Сочилось из дырочки. Несколько раз чистили, клеили повязки с маслом шиповника. Ничего не помогало.

— А как же он плавал?

— Носил тугую повязку из резинового чулка, чтобы прижать полость, а когда надо было в воду, накладывал кусочек лейкопластыря.

— Значит, ты мне больше ничего не скажешь?

— Рад бы, — развел руками Туровский и снова улыбнулся.

— Спасибо и на том, — поднялся Костюкович.

— Заходи.

Костюкович молча кивнул и вышел.

В конце длинного коридора из боковой двери душевой появилась девушка. Из торцового окна падал солнечный свет, и Костюкович увидел, что она очень милостива, прекрасно сложена, красоту фигуры подчеркивал откровенный купальник, высоко обнажавший бедра. На плече у девушки висело красное махровое полотенце. Костюковичу ее лицо показалось знакомым. Впрочем, такие лица попадались в уличной толпе, на трамвайных и трол-

лейбусных остановках, в их милovidности был какой-то стереотип... В этот момент из той же кабины душевой вышел Сева Алтунин. Он был в одних плавках. Костюкович отвернулся и быстро направился к выходу...

— Чего этот ученый приходил? — Гуцин подsunул здоровенный кулак под челюсть, уперев локоть в столешницу. — Что они, гении, могут определить по трупу?

— Если очень захотят, все смогут. — Туровский расхаживал по кабинету.

В углу сидел Сева Алтунин.

— Вряд ли, — заметил он.

— Помолчи, тебя не спрашивают, — грозно произнес Гуцин. — Ты уже наворотил. — И снова Туровскому: — А зачем ему хотеть, этому Костюковичу? Что ему надо от нас? Чего он нос сует?

— Занимается своим делом — наукой.

— Копает он, Олег, копает, помяни мое слово. Лучше бы Юру Зими́на спас! Живой он полезней был, чем покойником в диссертации.

— Я тебе объяснял, почему он ухватился за случай с Зиминым. И не шуми. Знаешь, с чего пошло? Вот с чего, — кивнул Туровский на Алтунина.

— Ты тоже уши не развешивай. Нам реклама не нужна. Наши заботы — это наши заботы, а для посторонних — «во дворе злая собака». Понял? Спорт — дело семейное. — Гуцин заматал головой и повернулся к Алтунину. — А все из-за тебя! Съездили мы к матери Зими́на, растолковали ей что к чему, внушили, подкрепили бабками. Поставили бы Юрке памятник, и все бы пошло путем. Так нет, тебе надо было высунуться вместе со своей раздолбайкой!

— Я же говорил вам, что она слышала, — тихо ответил Алтунин. — Хотел как лучше.

— Зато теперь все в ажуре.

— Нет, ты видал? — обратился Гуцин к Туровскому. — Он еще оправдывается! Инициативный, видишь ли!

— Ладно, — успокаивающе сказал Туровский. — Нечего толочь воду в ступе.

— Что Погосов?

— Пока ничего.

— Сева, ты звонил клиентам?

— Да. Приедут из Одессы, Москвы, Петербурга, Новосибирска, Днепропетровска, Киева.

— Себе оставим сколько нужно, остальное реализуем. Представляешь, Олег, какие бабки могли сгореть зеленым светом?! Мы ведь всадили «зелененькие», — хмыкнул Гуцин, довольный своим каламбуром.

Было начало пятого, когда Костюкович после очередного дежурства возвращался домой. В подъезде помог соседке спустить коляску с ребенком, поднялся к себе, в прихожей оставил кейс, прошел в комнату, и тут же в нос емушибанул какой-то парикмахерский запах — резкий, сильный, но приятный. «Лосьон, как

тогда в машине!» — вспомнил он. Из ванной доносился шум воды. Значит, Ирина дома. Вскоре сестра вышла из ванной с тюрбаном на голове. Костюкович еще раз потянул носом.

— Не принюхивайся. — Ирина сняла тюрбан и вытерла волосы. — От меня, наверное, разит. Мыла голову, чтоб избавиться от этого аромата... Сейчас посушу немножко феном, и сядем обедать... Сумасшедший Погос выплеснул на меня полфлакона лосьона!..

— Опять пьян был? Выгонят когда-нибудь твоего Погосова из института.

— Директор без него шагу сделать не может. Без погосовской лаборатории институт можно закрывать. А лаборатория и есть сам Погос. Он тянет наиболее интересные разработки и самые трудные хозяйственные темы...

15

В конце рабочего дня, когда Левин уже собирался домой, позвонил Чекирда:

— Вы просили поставить вас в известность, Ефим Захарович. Час назад прибыл груз — три полиэтиленовых мешка, в них порошок для пластмассы. Я сам ездил на склад, груз в сохранности, все проверено в присутствии таможенника и нового завскладом.

— А старый куда подевался?

— Снял с работы... Я сообщил новенькому, что завтра утром, часов в десять, вывезем со склада. В общем, сделал так, как вы рекомендовали.

— Хорошо. Но забирать эти мешки завтра не нужно.

— Почему? — удивился Чекирда.

— Подождем сутки-другие. Без нас ничего не предпринимайте. Понятно?

— Не совсем. Зачем все это?

— Мои фантазии, Артур Сергеевич. Так что, будьте любезны, потакайте им и не задавайте трудных вопросов... Всего доброго.

Складские модули различных баз и учреждений находились за городом. С магистрального шоссе был съезд на узкую грунтовую дорогу. Слева вдоль нее шел ров, за которым расстилась поросшая бурьяном низина, а справа километра на два тянулось высокое ограждение — местами из бетонных плит, местами из толстой проволоочной сетки. В стене имелось много широких железных ворот с будками вахтеров и надписями, какой именно организации принадлежат данные склады. В обоих направлениях — от шоссе и к нему — шли тяжелогрузные машины — крытые и открытые, пустые и с ящиками, контейнерами, мешками, тюками, картонными коробками.

Матерьясь и подскакивая на ухабах, Михальченко крепко держался рукой за скобу.

— Смотри не проскочи, — сказал он Стасюку.

— Я помню, где это, Иван Иванович.

Ворота складов универсальной базы «Промимпортторга» были

распахнуты. Из них выезжал «КамАЗ». За ним в очереди стояли два грузовика с высокими бортами.

— Я выскочу, а ты развернись, чтобы тебя не «заперли». Может, придется садиться на «хвост». — Михальченко почти на ходу выпрыгнул и, прикрытый «КамАЗом» и грузовиками, проскочил по другую сторону от вахтерской будки на территорию складов. Дальше пошел медленно, вальяжно, словно томился тут давно, ожидая, когда его машина то ли загрузится, то ли разгрузится. Он приблизился к нужному ему модулю. Народу и машин было много, но по терминалу туда-сюда разъезжали автопогрузчики и мототележки с бортами. Кто-то получал товар, кто-то опорожнял контейнеры. Содержимое вносили в темное прохладное нутро огромного ангара. Молодой парень носился по терминалу, заходил внутрь склада, в конторку, подписывал какие-то бумаги, возвращал часть из них шоферам и экспедиторам. Это был новый завскладом; по его заполошенному виду, по пачке бумажек, постоянно появлявшейся в его руках, Михальченко понял, что парень еще не обвык, нервничал. За ним степенно следовал высокий мордастый блондин в куртке таможенника. Никто не обращал внимания на Михальченко, он был для всех таким же ждущим очереди сдавать или забирать груз. Ему казалось, что они с Левиным промахнулись, ничего тут не произойдет.

Начался перерыв, территория складов опустела. Заперев ангар, ушел завскладом, куда-то исчез таможенник, шоферы и экспедиторы сидели, скучая в кабинах. Торчат одному на опустевшем дворе все равно, что голым становиться в очередь за молоком. И Михальченко пошел к проходной.

После двух он вернулся на территорию базы, где снова началась суета, а около трех у склада первым оказался «рафик», за ним другие машины. Михальченко в это время был в конце терминала. Когда вернулся и глянул в глубину ангара, обнаружил, что трех мешков нет. Растерянно озираясь, заметил «рафик» уже у ворот. Пока шофер совал какие-то бумаги вахтерше, пока та отворяла тяжелые ворота, Михальченко через турникет выскочил на дорогу и заспешил к своей машине.

— Заводи, Стасик, — велел он. — Сейчас выедет «рафик» зеленого цвета, номер 14—72 МНО, пойдешь за ним. Когда выедем на шоссе, впритык за ним не иди, пропусти кого-нибудь впереди себя. Но смотри не потеряй его...

Они дали «рафику» уйти почти до поворота на шоссе, затем Михальченко, весело плюнув на ладони, потер их и скомандовал Стасику:

— Пошел!

Выехав на шоссе, «рафик» свернул вправо, в сторону города. Пропустив приближавшуюся белую «семерку», Стасик двинулся следом.

«Рафик» пересек город, по узким улочкам выехал к пустырю со стоящими далеко друг от друга металлическими гаражами и по грунтовой крутой дороге спустился к ним.

— Остановись, дальше не надо, — велел Михальченко, достал из «бардачка» армейский бинокль и распахнул дверцу. Отсюда хорошо были видны вся низина и «рафик», петлявший по разрез-

женной дороге. Михальченко подогнал окуляры, поймал «рафик» и увидел лицо шофера — скуластое, небритое.

«Рафик» подъехал к металлическому гаражу, выкрашенному яркой охрой, остановился. Шофер отпер сперва внутренний замок, затем два навесных, распахнул ворота, и Михальченко увидел затененное нутро гаража: у стены мотоцикл, а в глубине какие-то ящики — один на другом. После того, как водитель занес в гараж привезенные три мешка, Михальченко сказал Стасику:

— Все! Мотаем отсюда, больше тут торчат нечего, он у нас в кармане! Ну, Стась, молодцы мы! То-то Левин подпрыгнет!

— Он никогда не подпрыгивает, он пессимист, Иван Иванович, — хмыкнул в ответ Стасик.

16

— Стекла принес? — спросил профессор Сивак.

— Да.

— Ну, пойдём.

Они прошли в большую комнату, где на столах стояли микроскопы. В этой комнате раз в месяц патологоанатомы города собирались на прозекторские конференции, проводились консилиумы по биопсиям.

— Расскажи еще раз, кто он, твой больной, возраст, профессия, с чем поступил, — попросил Сивак.

— У спортивного врача карточка Зимина не сохранилась, но, по его рассказу, парень был абсолютно здоров, — сказал Костюкович. — С матерью, к сожалению, поговорить не удалось, не смог заставить себя пойти к ней.

— Жаль... Ну что ж, приступим. — Сивак взял коробочку со стеклами. — Ты понимаешь, что у него с сосудами? Разрушительной силы васкулит*. Ты почку видел? Это же не сосуды, а свечки, из которых вытаскивали фитили! И еще удивляешься, откуда у молодого парня такая гипертония... Не врал ли врач команды, что не замечал скачков давления? Относительно этого случая у меня есть предположение. В свое время я занимался васкулитами в связи с инфарктами в ранних возрастных группах, в группах риска, то есть у людей определенных профессий, связанных с химикатами, гербицидами, пестицидами, тяжелыми металлами, бензином. Попадались мне работники складов, баз, где хранятся моющие средства, бытовая химия, шоферы, ювелиры. И подтвердилось вот что... — Сивак стал излагать Костюковичу то, что могло произойти с Юрием Зиминим.

— Да, вот еще, — вспомнил Костюкович. — У парня на левом локте был бурсит. Его вскрыли, но ранка так и не зажила, осталась отверстие со спичечную головку, вроде свища.

— Это еще одно доказательство того, о чем я тебе сейчас говорил: у людей данной категории нарушена трофика*, раны плохо

* Васкулит — поражение стенок кровеносных сосудов.

** Трофические нарушения — патологические изменения в клетках и тканях как следствие нарушения доставки питательных веществ к клеткам и элементам ткани.

закрывают. Тоже хороший эпизод для кандидатской. Стекла сбереги, — сказал на прощание Сивак.

— Разумеется...

— Что ж, Иван, будем считать, нам повезло, — выслушав Михальченко, заметил Левин.

— Почему повезло? Просто мы правильно сработали, — подмигнул Михальченко. — Ах, как хотелось мне этого шоферюгу взять с личным!

— У нас с тобой, как в старом анекдоте: есть кого, но негде, есть где, но нечем.

— У меня получилось иначе, Ефим Захарович: есть где и чем, да нет кого, — засмеялся Михальченко. — Ну что, будем в ГАИ обращаться?

— Непременно. Стасик здесь?

— Да.

— Вот я и поеду в ГАИ. Начальник областной ГАИ сказал, что могут от его имени, есть там некий старший лейтенант Рудько...

В кабинете ГАИ сидели двое, оба в штатском. Они одновременно подняли головы, когда вошел Левин.

— Мне нужен старший лейтенант Рудько.

— Я Рудько.

— Моя фамилия Левин. Я сотрудник сыскного бюро «След». К вам по рекомендации начальника областной ГАИ.

— Садитесь. Чем могу быть полезен?

Левин рассказал.

— Что требуется от меня?

— Установить, какой организации принадлежит этот «рафик», и фамилию водителя. Вот регистрационный номер. — Левин протянул листок бумажки.

— И все?

— Не совсем.

— Хорошо. Посидите минутку. — Рудько вышел, но вскоре вернулся. — Машина принадлежит пивзаводу. Фамилия закрепленного за нею водителя Дугаев Равиль Гилемдарович.

— Кому? Пивзаводу?! — ахнул Левин.

— Что, не сходится?

— Нет, вот теперь вроде начало сходиться.

— Что еще от меня требуется?

— Можете нам помочь. А возможно, и себе, — схитрил Левин.

— Каким образом?

— Хорошо бы сделать вот что... — И Левин начал излагать свой план.

17

Доктор Каширгова прилетела в пятницу вечером. В воскресенье утром она позвонила Костюковичу:

— Марк, здравствуйте. Это Каширгова.

— Узнал вас, Сажу, здравствуйте. Вы совсем вернулись?

— Нет, на два дня, вечером опять улетаю... Есть новости?

- Есть.
- Какие?
- Неплохие.
- Давайте встретимся.
- Когда и где?
- Скажем, через час, у агентства «Аэрофлота».
- Хорошо...

Как и договорились, встретились через час. Костиюкович достал из кейса коробку со стеклами.

— Здесь почти все, что нам надо: почки, щитовидка, сердце и прочее.

Она открыла коробку, коротко взглянула на стекла, стоявшие ребром, и, закрыв крышку, возвратила их Костиюковичу:

— Держите у себя до моего возвращения. Вернусь через десять дней... Сивак видел их?

— Он увидел то же, что и вы. Даже несколько больше.

Она не придавала значения фразе «Даже несколько больше», ибо не знала, что существует причина, по которой Костиюкович произнес ее. Он же не стал говорить дальше, потому что еще не все и не до конца знал сам.

Домой Костиюкович пришел в хорошем настроении.

— Что это ты такой, словно под радугой побывал? — заметила Ирина.

— А тебе все надо знать! — ущипнул он ее легонько за щеку, обнял за плечи и уткнулся лицом в еще пахнувшие шампунем волосы. Вот оно! Запах стойкого лосьона! В машине, где сидели Туровский, Алтунин и Гуцин. Потом Погосов обрызгал похожим лосьоном волосы и одежду Ирины... Лосьон ему кто-то подарил... Погосова вообще можно бы вывести за скобки... Однако... В свете того, что говорил профессор Сивак, по-иному виделся и Погосов... В загородном ресторане были Гуцин, Туровский, Алтунин... Кто еще? Какой-то гаможеник... Что тут связывается, как? Чем? Запахом лосьона? Чуть! Связывается ли вообще? Или это просто больное воображение?..

— Ира, у меня к тебе просьба, — все же сказал он.

— Какая, братец?

— Ты не могла бы деликатно выяснить, кто подарил Погосову лосьон, которым он тебя поливал, и как он называется?

— Зачем тебе? — удивилась сестра.

— Нужно, — упрямо произнес он. — Придет время, объясню.

Туровский и Гуцин стояли у бассейна, наблюдая, как по дорожке плывет Володя Покатило. Гуцин держал в руке секундомер.

За их спинами защелкал гравий, и на дорожку, ведущую к бассейну, вышел Ягнъш.

— Чего он в форме ходит, сегодня же выходной? — недовольно произнес Гуцин. — С Володей Покатило повозимся еще месяц. Если застынет на этих результатах, пусть едет в Будапешт.

— А кого на Европу?

— Есть у меня на примете одно «свежее мясо». В «Трудрезервах». Подробности потом.

— Привет, мужики, — поздоровался подошедший Ягныш.

— Что это ты при параде, Федя? Сегодня день отдыха трудящихся, суббота, — заметил Гуцин.

— Мы, таможенники, христиане, у нас и в субботу совещания случаются.

— Понятно. Поплавать пришел?

— Нет. Был здесь недалеко, шел мимо, решил заглянуть.

— Потерпи, сейчас закончим, зайдем ко мне, пивка попьем.

— Спасибо, но не могу, обещал сына на аттракцион сводить. Как клиенты? Рассчитались?

— Быстрый ты, Федя, — ответил Гуцин. — Погодить маленько надо. Не нужно им сюда скопом ездить.

— А тебе что не терпится? Ты же знаешь, мы фирма солидная, слово держим, — сказал Туровский.

— Знаю. Просто некоторые обстоятельства прижали: долги, и дачу надо до осени закончить.

— Тихо! — оборвал его Гуцин, заметив, что Володя Покатило вышел из бассейна и направился к ним. — Ты пройдишь с Федей, Олег, а я с Володей поговорю... Извини, Федя, работа.

18

Михальченко приехал к Рудько к началу рабочего дня. Поняли друг друга быстро, через несколько фраз перешли на «ты».

— Так как разыграем, Богдан? — спросил Михальченко.

— Я пригласил Дугаева сюда.

— Как его по отчеству?

— Равиль Гилемдарович... Скажу ему, что по старому делу открылись новые обстоятельства.

— А что за дело? Судили?

— Нет. Кто-то отмазал. Видно, и свидетелям сунули — отказались от показаний. А был у него странный наезд. То ли сбить хотел, то ли поугатать. Это возле таможенного перехода в Польшу. Пострадавший — поляк. Он побегал из туалета к своему «BMW», через шоссе. Тут Дугаев и зацепил его своим «рафиком».

— Живой остался?

— Живой. Перелом тазобедренного, ребер, ключицы. У поляка нашли восемь тысяч «зеленых», две иконки и царских «рыжих» тридцать штук пятерками.

— Ты — следователь ГАИ. Для каждого водителя это звучит. А я в каком качестве? — спросил Михальченко.

— Это не его ума дело. Пусть гадает, кто ты и зачем, пусть нервничает. А скажу я Дугаеву вот что: в связи с утонами и раскурочиванием машин проверяли гаражи, хотели посмотреть в его гараж, тем более что на пустыре нашли распотрошенную «семерку».

— Годится, — согласился Михальченко. — А по ходу разговора будет видно, когда включиться мне...

Прошло полчаса. Дугаев, приглашенный к девяти, не являлся. Ждали еще минут сорок, наконец Рудько сказал:

— В прежние времена он бы за полчаса до назначенного маялся перед моей дверью.

— Богдан, не будем терять время. Давай на всякий случай смотаемся к его гаражу. Вдруг он там что-нибудь химичит. Дежурного предупреди: появится — пусть ждет.

— Поехали! — согласился Рудько.

Машину Стасик остановил там же, где и в прошлый раз, когда следили за Дугаевым.

— Смотри, дым, — обратился Михальченко к Рудько.

— Тут недалеко городская свалка, всегда что-нибудь горит, — отозвался Рудько. — Где его гараж?

— Вон, металлический, слева. Ну что, спустимся?

— Пошли.

Они вылезли из машины и двинулись в низину.

Гараж Дугаева был заперт на три висячих замка. Михальченко пытался найти какую-нибудь щель меж створками ворот, но не смог — все было плотно подогнано. Лишь на земле у входа валялось несколько белых комочков. Михальченко присел и поднял один.

— Это гранулы из похищенных мешков. Просыпал, когда вез.

— А может, когда вывозил в другое место? — предположил Рудько.

— Тоже справедливо.

— Едем к Дугаеву домой.

— Ты знаешь, где он живет?

— У меня в блокнотике все, что нужно...

Жена Дугаева открыла им сразу.

— Храбро открываете, так нельзя, — заметил Рудько.

— Я в «глазок» увидела, что милиционер... Что-нибудь с мужем случилось? — взволнованно спросила она.

— Вроде ничего. А что с ним могло случиться?

— За рулем всякое бывает.

— Нет, мы по другому делу. Возле вашего гаража нашли угнанную машину. Хотели поговорить с ним, может, он заметил что-нибудь... У вас в гараже машина?

— Старый мотоцикл мужа. Машину мы в позапрошлом году продали. Собирались новую купить. Муж хотел гаражную коробку на хороший фундамент поставить, утеплить...

Пока Рудько разговаривал, Михальченко молча и осторожно разглядывал хозяйку и комнату, в которую она их привела. Невысокая полная женщина лет сорока в длинном синем шелковом халате с большими розовыми цветами и широкими рastrубами рукавов. В комнате много ковров — на полу и на стенах, в двух сервантах полно посуды: фаянс, фарфор, хрусталь. В общем, ничего особенного...

— Нет, не сказал. Знаю, что сегодня утром собирался к вам в ГАИ, — отвечала женщина на вопросы Рудько. — А на рассвете срочно уехал.

— Куда?

— В командировку, на Вольню.

— Надолго?

— На два-три дня... Нет, вы что-то скрываете, что-то с мужем случилось. — Она обвела вопрошающим взглядом обоих.

— Что с ним могло случиться? — неопределенно ответил Рудько. — А с чего такая срочность ехать на Вольня?

— Ей-Богу, не знаю. В нашей семье не принято, чтобы женщина вникала в мужские дела.

— Ну что ж, подождем его возвращения.

— Я ему сразу же передам...

Она проводила их до двери...

— У себя? — спросил Костюкович секретаршу, входя в приемную главного врача.

— Заходите...

— Слушаю вас, доктор Костюкович. Что за экстренность? — как бы заранее раздражаясь, спросил главный.

— Вот. — Поставив на письменный стол коробку, Костюкович открыл ее. — Это стекла некропсий умершего больного Зимина.

— Где нашлись? Они же были похищены.

— Стекла сделаны в лаборатории профессора Сивака с блоков, которые передала доктор Каширгова. Когда вернется с курсов, восстановит по ним протокол вскрытия и бланк гистологического исследования.

— Каким образом блоки оказались на кафедре?

— Доктор Каширгова передает туда блоки наиболее интересных случаев. По просьбе профессора Сивака. Они делают стекла для учебных пособий. Надеюсь, вы не усматриваете в этом криминала? — Костюкович знал, что при всей напыщенности и хамстве сидевший перед ним человек страдал комплексом неполноценности из-за своего невежества и потому испытывал робость при словах «кафедра», «профессор». — Вот, собственно, и все. — Костюкович поднялся и бесперемонно забрал из-под носа главного коробку со стеклами.

— Вы уносите это? — спросил главный.

— Разумеется, стекла-то чужие, доктора Каширговой. Мне писать еще одну объяснительную в связи с новыми обстоятельствами?

— Ничего не надо, — буркнул главный.

«С этим все, — подумал Костюкович, спускаясь по лестнице. — Теперь — в прокуратуру...»

Следователь откровенно удивился, когда увидел Костюковича. Но сказал любезно:

— Садитесь, доктор.

— Я вас долго не задержу. — Костюкович извлек из кейса коробку со стеклами, объяснил происхождение и добавил: — Скоро вернется патологоанатом доктор Каширгова, и вы получите копии протокола вскрытия и гистологических исследований.

— Вот и прекрасно! — обрадовался следователь, и Костюкович понял, что радость эта относится не к нему, просто человек доволен, что избавляется от хлопотного дела и жалобу матери Зимина можно будет «похоронить» коротенькой отпиской. — Благодарю

вас, доктор.— Следователь вернул Костюковичу коробку со стеклами...

Рудько набрал номер телефона заводского коммутатора:

— Из ГАИ говорят, соедините с завгаром.

Сквозь треск и шелестение в трубке послышался голос:

— Я и есть завгар.

— Где находится ваш водитель Дугаев?

— В командировке.

— Когда уехал?

— Сегодня утром, в половине девятого.

— Куда?

— На Вольту за хмелем?

— На своем «рафике»?

— Нет, на бортовом «ЗИЛе».

— Номер, серия?

— МНО 44—86.

— Кто послал?

— Отдел снабжения и сбыта.

— Спасибо. Пока все.

— Случилось чего с ним? — спросил завгар.

— Пока все в порядке, — ответил Рудько и положил трубку.

Вернувшись в бюро, Михальченко пересказал Левину все, что они с Рудько выяснили и сделали.

— Значит, наследил? — спросил Левин, имея в виду те несколько гранул, которые Михальченко нашел у ворот гаража Дугаева.

— Только непонятно, когда они высыпались: когда привез мешки со склада или когда, возможно, перепрятывал их.

— Существенная разница, — заметил Левин.

— Уточним, как только прихватим его.

— Ну-ну...

— Есть два вопроса, — продолжал Михальченко, — которые Рудько не задал жене Дугаева и завгару. Я только сейчас подумал об этом. Давайте-ка сперва позвоню завгару, а потом съезжу к Дугаевой. — Он заглянул в свой блокнот и набрал номер коммутатора пивзавода. — Девушка, пожалуйста, завгара мне... Алло, гараж? Мне завгара... Это опять из ГАИ, старший следователь Рудько. Меня интересует, с какими документами поехал Дугаев на чужой машине? Так... Так... Ясно... А почему не хозяин грузовика? Что?.. Ага, понятно... А как звонить начальнику отдела снабжения и сбыта? Как? 5—13? Ясно... А фамилия?.. Деркач?.. Спасибо. — Михальченко положил трубку и обратился к Левину: — У него техталон, серия «С», копия техпаспорта водителя грузовика, который уже неделю бюллетенит, доверенность и прочие документы. Номер телефона начальника отдела сбыта 5—13. Фамилия Деркач. Можете звонить, а я подскочу к мадам Дугаевой.

Звонить в отдел сбыта Левин передумал, решил дождаться возвращения Михальченко, а позвонил Чекирде. Тот оказался на месте.

— Артур Сергеевич, вы кого-нибудь на пивзаводе знаете? — спросил Левин.

— Замдиректора по строительству и начальника отдела снабжения и сбыта.

— Какие у вас с ними отношения?

— В сущности, никаких.

— Кто-нибудь из них интересовался, как идут у вас дела?

— Нет.

— Кто первый получает сведения о прибытии груза и его характере? Завскладом?

— Нет, прежде всего таможня.

— Мощностъ вашего будущего завода велика?

— Достаточная, чтобы через год-два обеспечить город и область баночным пивом. А потом, когда смонтируем еще две линии, будем иметь резерв для других регионов, по бартеру, скажем, за сахар.

— А какова будет стоимость банки пива?

— Точно мы еще не скалькулировали, но, думаю, процентов на десять дешевле, чем государственное.

— За счет чего?

— За счет себестоимости, современной технологии, минимального количества людей... А почему вас все это интересует?

— Такой уж я уродился, любопытный... Договариваемся так: Боже вас упаси появиться в эти дни на складе. Понятно?

— Не совсем.

— Не страшно. Главное, чтобы вы мои слова поняли, а что за ними — это уж мои заботы.

— Не возражаю, лишь бы был результат.

— Вот и славно. До свидания...

На этот раз Дугаева открыла не так быстро. Она была уже не в халате, причесана, подмазана, в коридоре стояла сумка.

— Еще минут пять, и вы бы меня не застали. С мужем ничего не случилось?

— Нет-нет... Извините, что я опять... У меня вопрос: вы не слышали, чтобы вчера или сегодня утром муж разговаривал с кем-нибудь по телефону?

— Вчера он на работу не ходил, у него зуб разболелся, пошел к стоматологу, почти целый день устроил. А вечером куда-то звонил. Наверное, на работу, громко кричал, просил: «Девушка, девушка, вы слышите меня? Дайте 5—13». У них там коммутатор — жуть!

— А с кем говорил, о чем?

— Вот этого не слышала, я вышла к соседке, у меня соль кончилась.

— А где муж держит ключи от гаража?

— В ящичке, в кухонном серванте.

— Вы не могли бы посмотреть, на месте ли они?

— Конечно, могу, одну минутку.— Она пошла в кухню, Михайльченко слышал, как выдвигался и задвигался ящик. Когда вернулась, сказала: — Вы знаете, ключей нет, наверное, он забыл выложить.

— Наверное, — улынулся Михальченко. — Извините за беспокойство.

— Ничего, пожалуйста. — Она проводила его до двери...

Когда сестра пришла с работы, Костюкович был дома. Сели обедать.

— Ты сегодня идешь в ночь? — спросила Ирина.

— Да.

— Отделение забито?

— Нет, места есть. Тебе положить кого-то надо?

— Упаси Бог! Так просто спросила.

— Я был у главного и в прокуратуре. Показал им стекла.

— Чем кончилось?

— Следователь обрадовался, а наш жлоб проглотил ежа, но сделал вид, что это гладкая устрица.

— Я узнала, кто подарил Погосу лосьон.

— Кто же?

— Шустрый Сева Алтунин.

— Странно. Что может связывать Погосова с этим прохиндеем?

— Я уже говорила, что общительность Погоса не знает границ, он обрастает людьми без разбора. Почему тебя это так интересует?

— Просто возникла одна ситуация. Хочу разобраться.

— Что за ситуация? При чем здесь Погос?

— Пытаюсь понять. Пойму до конца — расскажу.

— Так что, господин Михальченко, будем делать? — спросил Левин. — Рискнем?

— В ваших соображениях нет ни одного изъяна. Кроме одного.

— А именно?

— Все вдруг окажется не так. Можем напороться.

— Давай еще раз пройдемся по моему сценарию. Я буду говорить, а ты сокрушай его, возражай, предложи что-нибудь свое. Не обижусь.

— В том-то и дело, что у меня все вразброс, а соединить нечем. Что ж, давайте рискнем. Вы Чекирде высказывали свои предположения?

— Нет, еще рано.

— Значит, делаем так: я отправляюсь с Рудько к посту ГАИ на Вольнском шоссе, перехватываем Дугаева. Вы сидите здесь и ждете моего звонка. Если наш разговор с Дугаевым что-то даст, я звоню вам, и вы сразу же — на пивзавод. И Бог нам в помощь!

— Дрожат коленки?

— У меня всегда, когда хожу втемную, начинается нервная зевота. А у вас?

— Закладывает уши.

— И сейчас?

— Вроде еще нет, слышу тебя хорошо.

— Значит, завтра мы с Рудько едем встречать Дугаева.

Минут за тридцать Михальченко и Рудько добрались до стелкишки — будки поста ГАИ на Волыньском шоссе. Дежуривший рябой старшина, поняв, что от него требуется, вышел и занял место у разделительной линии на «островке безопасности» — овальном пятачке, возвышавшемся над шоссе сантиметров на пятнадцать-двадцать.

— Ну что, будем загорать? — вздохнул Михальченко и глянул на часы. Была половина девятого утра. — Знать бы, сколько.

— Кто знает? Тут Дугаев нами распоряжается, — отозвался Рудько. — Но завгар сказал, что Дугаев сегодня должен обязательно вернуться.

Около часу дня они пошли в придорожный буфет, сколоченный из толстых фанерных щитов. Буфет был почти пустой — всех отпугнули цены, а прежде тут всегда было полно шоферов-дальнобойщиков. Взяли по две чашечки кофе и по пачке вафель. Когда вышли, заметили, что старшина, остановив какой-то «ЗИЛ», разговаривает с шофером, сидевшим в кабине. Лица его Михальченко не видел, но по номеру на борту понял: машина, которую они ждали.

— Вот, товарищ старший лейтенант, ездит, а техосмотр не прошел. Уже три месяца просрочено, — сказал подошедший к ним старшина и протянул Рудько документы Дугаева.

Рудько стал медленно перелистывать бумажки, нарочито долго читал, а Михальченко осторожно разглядывал Дугаева.

— Что же это вы, Дугаев? — спросил наконец Рудько.

— Машина не моя, товарищ старший лейтенант.

— Куда вы ездили?

— На Волынь. Надо было в одном хозяйстве получить хмель.

— А кто вас послал?

— Начальство.

— Кто именно?

— Начальник отдела снабжения и сбыта.

— Фамилия?

— Деркач Алевтина Сергеевна.

— Она разве не знала, что машина не прошла техосмотр?

— Наверное, нет.

— А почему завгар ей не сказал?

— Не знаю.

— Ну а вы-то сами? Не дитя ведь. Почему не сказали ей?

— Да как-то так вышло, вроде срочно.

— Вы когда узнали, что предстоит ехать на Волынь?

Дугаев задумался. Явно прикидывал, как ответить, поскольку не знал, что на уме у Рудько. Наконец произнес:

— За три дня до поездки.

— Вот видите, а говорите «срочно». Мы ведь вас ждали, Дугаев. Это я вас приглашал к девяти утра. Моя фамилия Рудько. А вы сели и уехали. Если знали за три дня о командировке, почему не предупредили, что не явитесь?

— Вы уж извините, товарищ старший лейтенант.

— Накладная на груз имеется?

— А как же! — Дугаев извлек из бокового кармана тонкие листки.

Просматривая их, Рудько как бы между прочим спросил:

— У вас гараж есть?

— Личный, что ли?

— Личный.

— Есть. Правда, металлический.

— А машина какая?

— У меня сейчас машины нет. Продал. Там старенький мотоцикл.

Михальченко видел по глазам Дугаева, что он пытается понять, кто этот в штатском, какова его роль.

— Нескладно получается, Дугаев, — произнес молчавший все время Михальченко. — Говорите, что о поездке знали за три дня, а жене сказали накануне вечером, что собираетесь в ГАИ. Но позвонила Деркач, и утром вы укатили на Вольнь. Так кто врёт, Дугаев, — вы или ваша жена?

— Давно были в своем гараже? — спросил Рудько.

— Давно, месяца два назад.

— Что в нем хранится?

— Кроме старого мотоцикла — ничего.

— Может, сдавали гараж в аренду?

— Нет.

— Дугаев, я давненько работаю в угрозыске, — вдруг мягко проговорил Михальченко. — Да и следователь Рудько тоже, как понимаете, не пальцем деланный. Как думаете, кому из нас сейчас легче — вам или нам?

— Вам, — тихо ответил Дугаев. — Вы власть.

— Не поэтому, — покачал головой Михальченко. — Нам легче потому, что мы знаем правду, а вы, прежде чем ответить, вынуждены гадать, сойдется ли ваш ответ, и от умственного напряжения мысли ваши потеют, а язык чуть городит.

— Я что? Я ничего... Все по правде... — нервно крутил Дугаев брелок с ключами от машины.

— Где храните ключи от своего гаража? — спросил Рудько.

— Дома, на кухне в ящичке.

— И сейчас они там?

— Должны быть.

— Сколько у вас пар ключей?

— Одни.

— А вот ваша жена говорит, что ключей в этом ящичке нет. Может, вы забыли и случайно захватили с собой? Пройдитесь по карманам, поищите.

Сбитый с толку, растерявшийся Дугаев начал шарить по карманам и извлек из куртки ключи.

— Забыл выложить, — задергал он головой.

— И два месяца таскали с собой?

— Зачем? — искренне вырвалось у Дугаева. — Он обычно в ящичке... А... Ну да... — понял он свой промах и умолк.

— Облегчить вашу душу, Дугаев? — подмигнул Михальченко. Тот не ответил, сидел понуро.

— Тогда слушайте. Вы сделали три ходки со склада «Промим-

портторга». Первый раз вывезли ящики с электроникой, во второй — коробки с краской, а на днях — пластиковые мешки с гранулами. Все это засунули к себе в гараж. Позавчера вы взяли ключи из ящичка и уехали на Вольнь. У меня все складно, Дугаев? Что в гараже? Только не врите, мы же поедem проверим.

— Некоторая аппаратура... Чужая...

— И все?

— Да.

— С аппаратурой разберемcя. А вот куда девалась краска? Когда и куда вы перепрятали мешки с гранулами? Мы ведь нашли несколько гранул возле вашего гаража. Конечно, вы можете сказать, что мы вам подложили. Есть такой соблазн, Дугаев? А что если немножко гранул высыпалось и в гараже? Он заперт, и ключи от него у вас. Все поняли теперь? — закончил Михальченко.

— Понял, — сильно ответил Дугаев.

— Так где же коробки с краской?

— Отвез на Вольнь... Продал одному слесарю по кузовным работам.

— А мешки с гранулами?

— Высыпал на свалку.

— Остается рассказать, кто скомандовал вывезти, а вернее, выкрасть груз со склада, как вы узнавали, когда надо приехать на склад за грузом. Ведь брали именно груз фирмы «Золотой ячмень». С чего бы?

Дугаев долго молчал, возможно, припоминая весь разговор, места, где он «влетел в ловушку». Убедившись, что их достаточно много, слегка кивнул.

— Только письменно, Дугаев, так вам легче будет. Подробно, но без фантазий.

21

Ночь выдалась тяжелая: до половины третьего вызывали несколько раз на консультации: в хирургию, в терапию, в кардиологию, а затем подряд привезли четырех с инсультами, да все тяжелые. Утром, когда ординаторская заполнилась, коллега сказал Костюковичу, что его разыскивала Каширгова. Он удивился, не знал, что Сажки вернулась. После пятиминутки позвонил ей в отделение.

— Здравствуйте, Марк. Я уже на месте. Вернулась на неделю раньше. Вы с ночи?

— Да. Но я зайду.

— Заходите, угощу вас кофе...

Он шел по внутреннему двору уставшей походкой, опущая от бессонной ночи тяжесть в затылке и резь в глазах. Он уже был у двери в отделение патологической анатомии, когда она отворилась. Костюкович машинально шагнул в сторону, чтобы пропустить выходявшего оттуда человека. Им оказалась миловидная стройная девушка в белом халате и в белой шапочке. Он узнал ее,

правда, не сразу. Она тоже придержала шаг, видимо, от неожиданной встречи, смутилась.

— Что вы тут делаете? — вырвалось у него.

— Работаю.

— Кем?

— Лаборанткой.

— Как вас зовут?

— Аня... Извините, я спешу, — вдруг заторопилась девушка.

Каширгова ждала его. Шнур чайника свисал из розетки, на столе стояла банка гранулированного кофе «Пеле», две чашки и сахарница.

— Совсем приехали, Сажки? — спросил он, усаживаясь.

— Да. Нас отпустили на неделю раньше... Что у вас слышно?

— Был у главного, в прокуратуре. Все нормально.

— И я была у главного. Получила удовольствие, показав ему стекла.

— Обрадовался?

— Изобразил, во всяком случае... Подала ему заявление, Марк.

— Какое?

— По собственному желанию.

— То есть?

— Ухожу на кафедру. Там есть ставка ассистента. Сивак берет меня. Я все же кандидат, — усмехнулась она.

— Зачем, Сажки?

— Надоело. Буду наукой заниматься и читать лекции.

— Интересный поворот, — не скрывая огорчения, произнес Костюкович.

— Но будем видеться, Марк. Из вашего отделения до кафедры даже ближе, чем сюда... И потом — у вас есть мой телефон, а у меня ваш.

— Ну разве что, — хмыкнул он.

— Еще кофе, Марк?

— Нет, спасибо... Сажки, у вас работает лаборантка Аня? Беленькая, смазливенькая, с хорошей фигурой.

— Да, есть такая, — удивленно ответила Каширгова. — Понравилась?

— Внешность — весьма... Вы не могли бы пригласить ее сюда?

— Сюда?! Зачем?!

— Пригласите, пригласите.

— В чем дело, Марк?

— Она у вас старшая?

— Нет. Исполняла обязанности, пока старшая была в отпуске.

— А когда это было?

— Около двух месяцев назад. — Каширгова взяла трубку внутреннего телефона. — Так что, звать?

— Да-да. Непременно!

— Вы меня заинтриговали... Алло, Света? Скажи, чтобы Аня Минеева срочно зашла ко мне... Разыщи ее...

— Пишет он неграмотно, но за это сочинение я ставлю ему пятерку — брехни вроде нет. Ладно, проверим, — сказал Левин, дочитав последнюю страничку излияний Дугаева. — Где он сам?

— Рудько поехал с ним в его гараж. Я попросил Богдана подольше продержатъ этого писателя, чтобы вы успели к Алевтине Петровне Деркач до того, как он появится там.

— Ну что, начнем? — Левин набрал коммутатор пивзавода. — Будьте добры, 5—13... Алло!.. Алевтина Петровна? Здравствуйте. Моя фамилия Левин... Нет-нет, я не врач, я другой Левин. Мне срочно нужно повидать вас... Нет, по телефону долго и не в ваших интересах, коммутатор дело ненадежное... Интригую?... Нет, я не интригую... Есть такое бюро, занимается всякой всячиной... Уверю вас, отлагательства не терпит. Поверьте, тут не мой, а ваши интересы... Это при встрече... Да, прямо сейчас, скажем, минут через тридцать — сорок... Левин Ефим Захарович... Какая? Ага, второй этаж, седьмая. — Он опустил трубку и повернулся к Михальченко: — Дама наша очень занята, упиралась, хотела, чтобы все по телефону или завтра-послезавтра. Уговорил... Я поехал...

— Если Чекирда объявится, что ему сказать?

— Пока ничего. Сперва послушаем Алевтину Петровну...

Пропуск ему был заказан. Пройдя через двор, Левин зашел в здание заводоуправления, поднялся на второй этаж. На двери комнаты «7» висела табличка «Начальник отдела снабжения и сбыта».

Алевтина Петровна Деркач оказалась женщиной весьма представительной. Было ей около пятидесяти, лицо спокойное, холерное, слегка подведенное косметикой, волосы ухожены, умеренная седина не скрывалась, и ростом хозяйка кабинета была высока, и фигурой ладна. Все это Левин оценил сразу и подумал: «Властна».

— Я — Левин, — кратко представился он.

— Садитесь. Итак, из какого же вы бюро?

— Частное сыскное бюро или агентство, как угодно. Называется «След».

— Многозначительное название.

— Алевтина Петровна, сперва маленькое предисловие для того, чтобы ни я, ни вы не сетовали потом, что наша встреча оказалась зряшной потерей времени. Так вот: около сорока лет я проработал в прокуратуре следователем, а ушел на пенсию в должности прокурора следственного управления.

— К чему эта преамбула? — перебила она.

— Если вы поверите, что у меня есть опыт, мы не будем морочить друг другу голову.

— Дальше, — спокойно отреагировала она, словно приняв его условие.

— Вот это, так сказать, исповедь шофера Дугаева. — Левин вынул из папочки сцепленные скрепкой серые странички. — Она весьма многословна, но я всегда любил подробности, лишние слова меня не угнетали. Прочитайте, пожалуйста. Потом, если захотите, прокомментируете.

— А где сам Дугаев?

— Его повезли в гараж, где он кое-что хранит.

Ничего не сказав, Деркач начала читать. И снова на лице ее Левин не увидел ни смущения, ни волнения.

— Что же требуется от меня — опровержение или подтверждение? — спросила она наконец.

— Ни то, ни другое. Некоторые уточнения, поскольку опровергать — затея безнадежная, а подтверждать или нет — дело ваше. Я ведь не из прокуратуры, не из милиции, протокол вести не собираюсь. Просто выполняю договорные обязательства перед нашим клиентом.

— Какие возможны варианты? Вы же сразу побежите в милицию.

— Я уже стар бегать, Алевтина Петровна. У меня артрит, ноги болят, поэтому чаще пользуюсь телефоном. Но, даже если бы я поленился снять телефонную трубку, есть шустрый и обиженный вами Чекирда и еще одно, уже официальное лицо, некто Рудко, следователь ГАИ, задержавший вашего Дугаева.

— Какие вы даете гарантии за мою откровенность?

Он понял, что она имела в виду.

— Алевтина Петровна, все ваши ответы я передам Чекирде, своему клиенту, подписывать вам ничего не придется, всегда сможете отказаться от своих слов, даже заявить, что вы меня в глаза не видели.

— Что вы юлите? Не боитесь неприятностей?

— За что и от кого? — спросил Левин.

— От милиции, прокуратуры за то, что не зафиксировали письменно.

— Это уже мои заботы. Вас они не должны волновать. Что же касается Чекирды — это выходит за пределы моих функций. Вы не боитесь с его стороны шантажа?

— Не боюсь! — воскликнула Деркач. — Мы с ним в некотором смысле впряжены в одну телегу. Так что, если одна из лошадей падает, телега все равно перевернется и потянет за собою вторую лошадь.

— Значит, вы знакомы с Чекирдой?

— А разве он вам не сказал? — удивилась Деркач.

— Я его об этом не спрашивал, — уклончиво ответил Левин.

— Знакомы. И давно. Прежде он занимал этот кабинет, а я была его заместительницей. Восемь лет...

— Странно для его профессии железнодорожника...

— Садись, Аня, — сказала Капиргова, когда девушка вошла. — Марк Григорьевич хочет задать тебе несколько вопросов.

— Вы хорошо плаваете, Аня? — спросил Костюкович.

— Учусь, — удивленно ответила девушка. — А почему вы спрашиваете?

— Я видел вас в бассейне. Где работает Сева Алтунин. Кстати, вы не знаете, каким лосьоном он пользуется?

— Откуда мне знать? — смутилась девушка.

— Тогда я вам скажу: «Шанель «Эгоист».

— Может быть... Я с ним не очень хорошо знакома.

— Разве? Мне показалось, довольно близко, если после плавания выходите из одной душевой кабины. — Костюкович взглянул на девушку. Она густо покраснела и опустила голову. — Я и Сажи

Алимовна сразу поняли, что похитивший протокол вскрытия и листок гистологического исследования знал, что к чему, поскольку прихватил с собой стекла, а главное, исходный материал — блоки. Это был человек, кое-что понимающий в медицине. С запахом лосьона я встречался потом не раз, и постоянно он был как-то связан с Алтуниным. Когда же я увидел, как вы вместе с Алтуниным выходили из душевой, а сейчас узнал, что вы работаете здесь, мне все стало ясно, тем более старшую лаборантку вы замещали именно тогда, когда была совершена кража.

— Да, — еле шевельнула она губами.

— А кто помогал матери Зиминой сочинять жалобы в прокуратуру?

— Я и Сева.

— Зачем?

— Я была у Сажи Алимовны, когда она по телефону читала вам листок гистологических исследований Зиминой...

— И?

— Рассказала об этом Севе. Он решил внушить матери Зиминой, что виноваты в смерти Юры вы, намекнуть, что хорошо бы подать на вас жалобу. — Она приложила ладони к горящим щекам.

— Туровский и Гуцин знали об этом?

— Сперва нет. А потом Сева им рассказал. Они всполошились, страшно его ругали, мол, зачем привлекает внимание. Но они знали содержание нашего разговора с Сажей Алимовной, и деваться было некуда: велели Севе и мне украсть из архива все, что нужно, они знали, — подняв заплаканные глаза, тихо закончила лаборантка.

— Да, забыл: вы ведь с Алтуниным были и в загородном ресторане, где веселились вместе с Туровским, тренером Гуциным, каким-то таможенником и Погосовым. С последним пришла одна дама, моя сестра. Она передала привет от Алтунина и довольно точно нарисовала портрет его подруги — вап, Аня. — Костюкович откинулся на спинку стула. — У меня все, Сажи.

— Это правда? — спросила Каширгова у лаборантки.

— Да, — едва слышно произнесла та.

— Тебе заплатили? Сколько?

— Нет! — Аня замотала головой. — Я не брала никаких денег... Он попросил... Мы любим друг друга... Скоро поженимся... Он обещал...

— Обещал! Эх ты, дура! Сейчас же пиши подробную объяснительную на мое имя. И приложи заявление, что увольняешься по собственному желанию. Большого я для тебя сделать не могу. Иди!..

Как умная женщина, Алевтина Петровна поняла: этот пожилой, не очень опрятно одетый человек знает все или почти все, морочить ему, опытному следователю, голову бессмысленно, а главное, опасно — встанет и уйдет разозленный... Он поймал главное — какой смысл похищать, чтоб тут же уничтожить? — и уже тянул за это звено.

— Завод, который затеял строить Чекирда, становился для нас костью в горле.

— Для кого «для нас»?

— Для меня и руководителей четырех из шести райторгов города. Ну и для сошки помельче — продавцов. Вы представляете, что такое продавать пиво на улицах из железных бочек на колесах? Тут не только недолив, но и «левое» пиво. Вы видели в сезон, какие очереди жаждущих выпить кружку? И вдруг возникает завод, делающий хорошее баночное пиво в достаточном количестве, и цена понижее. Чекирда просто уничтожил нас своим заводом.

— Серьезный конкурент, — заметил Левин.

— Еще бы! И мы решили: заводу не быть! Соплились во мнении, что единственный путь — уничтожить оборудование, которое он получает за валюту. Чекирда не выдержит, разорится, валюты у него не хватит. Не буду говорить, сколько мы теряли, если бы он одолел нас. Скажу только, что мы можем предложить вашему бюро, скажем, миллионов двадцать.

Левин, мысленно усмехнувшись, прикинул: «Купил бы Виталику видеоманитофон. Японский «Панасоник». Осенью с Раей поехали бы в круиз по Средиземному морю. В коммерческом купили бы ей сапоги осенние. Лучше всего австрийские фирмы «Габор», а мне — добротные ботинки на толстой каучуковой подошве. Может, что-то еще осталось бы на ремонт квартиры...»

— Почему вы так срочно отправили Дугаева на Вольнь? — спросил он, покончив со своими мечтами.

— Во-первых, Дугаев нашел хороший способ избавиться от ящиков с краской. А главное — мне позвонили с Волыни, что надо немедленно забрать хмель. Он-то «левый». Так что совпало, — ответила она, поняв, что предложенные миллионы вроде отвергнуты.

— А где в дальнейшем вы собирались хранить и уничтожать грузы Чекирды?

— Что-нибудь придумали бы.

— Каким образом вы узнавали о поступлении грузов на склад базы «Промимпортторга»?

— Из таможи.

— От кого именно?

— Ягныш Федор Романович.

— Платили ему за услуги?

— Разумеется. Последнее время он был удобен тем, что на месяц его откомандировали непосредственно на базу.

— Вы хоть приблизительно представляете себе, на какую сумму понес убытки Чекирда?

— Это его заботы — подсчитать. Но, полагаю, на большую. И это важно, поскольку застопорит пуск завода минимум года на два. Купить заново, в особенности электронику для линии по разливу, — напрямья надо, валюта ведь.

— Ваша прямота восхитительна, — улыбнулся Левин. — А если Чекирда все же даст делу официальный ход?

— Следовательно прокуратуры от меня ничего не услышит. Протокола мы с вами не ведем, подписывать мне ничего не придется.

А слова — вы лучше меня понимаете, что им, не подтвержденным моей подписью, грош цена. Я от всего откажусь.

— Резонно, — заметил Левин. — Что ж, Алевтина Петровна, мы неплохо побеседовали. Если мне понадобится что-нибудь уточнить, надеюсь, вы согласитесь?

— Возможно, — ответила она. — Мне нужен ваш совет... Знаете, на всякий случай. — Лицо ее вдруг стало растерянным, голос просительным. — Если все же... случится, что вы мне посоветуете?

— Ежели вам действительно необходим совет, имеется лишь один вариант: явка с повинной, Алевтина Петровна. Все всегда нужно делать вовремя...

22

Костюкович, согнувшись, втиснул руку между стеной и телевизором, пытаясь на ощупь вставить в гнездо штекер дециметровой антенны.

— Ты понимаешь, что говоришь? — спросила сестра, продолжая разговор. Она стояла в дверном проеме и медленно вытирала кухонным полотенцем тарелку. — Уверен в этом?

— Абсолютно, теперь уже абсолютно. Погосов, тренер Гуцин, Туровский и Алтунин не совмещаются: он — доктор наук, человек талантливый, находится совершенно в ином социальном и интеллектуальном ряду, да и по возрасту... Слишком велика разница. Твое объяснение, что Погос компанейский и не разборчив в выборе знакомых, не подходит. И тут скорее не он их нашел, а они его. А вот почему согласился — вопрос другой. Он любит деньги? Жаден, скуп?

— Любит, но только для того, чтоб их тратить. Да и то не на себя, а на других. Он одинок. Тряпками не интересуется. У него даже мебели приличной нет — книги на каких-то досках, которые он называет стеллажами. Знаю, что посылает деньги овдовевшей сестре в Армению, в Степанаван.

— Ты даже такие подробности знаешь?

— Не твое дело!

— Возможно.

— Не пойму, зачем им Погосов? — спросила сестра. — Есть же готовые, апробированные, с разрешительным сертификатом Минздрава?

— А если Погосов делает специально для них что-нибудь покраще, не серийно, а, так сказать, штучно, в небольших количествах? А может, отечественные, разрешенные, почему-либо не устраивают их, а импортные достать сейчас очень сложно. Ясно одно — они прибегали к услугам Погосова.

— Что ж, у меня есть личные основания проверить это до конца, — жестко сказала Ирина и вышла...

Володя Покатило шел по длинному пустому коридору. Несмотря на дневное время, здесь было темно, свет падал лишь из дальнего торцевого окна в конце коридора, где находились душевые кабины с общей раздевалкой. Его вызвал к себе Гуцин, и

Володя знал, зачем. Перед дверью остановился, услышав громкие голоса в кабинете. Оглядевшись, решил не входить, послушать.

— Ты хоть знаешь, что там наболтала твоя девка? — грозно спросил Гуцин.

— Выложила все, — растерянно ответил Алтунин.

— А кто был при разговоре?

— Завотделением и Костюкович. Он и давил ее.

— Что теперь будет?

— Да ничего не будет, — вступил в разговор Туровский. — В случае чего скажем, что усомнились в официальных результатах вскрытия. Мать Зимина, допустим, не поверила, а другого пути проверить у нас не было, нужны были стекла и на всякий случай блоки. Вот и все. Вернуть на место уже не смогли: старшая лаборантка выпла из отпуска, и Анька возвратила ей ключи от архива, потому вынуждены были уничтожить, не успев воспользоваться, мол, не нашли патогистолога, который бы частным образом посмотрел все и открыл нам истину. И еще: испугались, что вернуть на место не сможем, и уничтожили.

— Кто поверит в этот бред? — усмехнулся Гуцин.

— А пусть докажут другое! У них ничего, никаких следов от Зимина не осталось. Ты же все забрал, Сева? — спросил Туровский.

— Все.

— Ну вот, видишь! Что ж они, эксгумацию проводить будут?! Да никогда! Не тот случай. Зимина не убили, а он умер в больнице. Какая тут может быть эксгумация?! Смехота!.. Хуже другое, — продолжал Туровский, — Ягныша вызвал начальник таможни, допрашивал его насчет каких-то складов.

— Ты откуда знаешь? — спросил Гуцин.

— Ягныш позвонил.

— Ну и что?

— Назначено служебное расследование.

— Ты предупреди его, чтобы не вякнул о коробке с «Фармаци». Иначе не получит ни цента. Скажи, что реализация идет хорошо, осталось сбить всего несколько упаковок, основные бабки уже у нас. А он бабки любит, в особенности «зеленые», так что должен помалкивать. Понял?

— Он бонется, что могут выгнать с работы.

— Найдет другую. Поможем.

— Жалко, человек нужный. Все-таки таможня! Ищи потом новое «окно».

— Найдем. Бабки все любят... А ты, Сева, гони свою девку в шею. Чтоб духу ее здесь не было! Понял? Найди кого поумнее.

— Хорошо, — еле слышно ответил Алтунин.

— Ты окончательно решил с Покатило? — спросил Туровский.

— Да, застыл он. Вот график, посмотри. Никакого сдвига. Нельзя его брать в Европу. Провалит. Пусть съездит в Будапешт на Дунайский кубок. Сейчас я ему окончательно объявлю.

— А кто вместо него?

— Нашел в «Трудрезервах». Парню девятнадцать, но совершенно «чистый», клялся.

— Успеем подготовить?

— Успеем, успеем. Теперь успеем. Все есть...

Покатило понял, что разговор окончен. Надо было входить. И постучав, подумал: «Ты еще меня попомнишь! Я вам всем горячего сала за шкуру залью!..»

— Входите! — крикнул Гуштин.

— Садитесь, Артур Сергеевич, — любезно пригласил Левин, едва Чекирда открыл дверь кабинета.

— Что слышно, Ефим Захарович? Как я понял из нашего телефонного разговора, есть новости.

— Что вы просили и что нам полагалось, мы сделали, а вот порадовать вас нечем. Вот здесь все изложено, прочитайте. — Левин протянул собеседнику несколько машинописных страниц, скототых скрепкой. — Так сказать, наш отчет...

По мере того, как Чекирда читал, лицо его как бы усыхало и серело, заметно дергался кадык.

— Сволочь! — только и сказал он, дочитав последнюю страничку, и уставился на Левина.

— Я с нею мало знаком, — увернулся Левин от комментариев. — Что вы намерены делать?

— Обращусь в прокуратуру! — решительно произнес Чекирда.

— Деркач предполагала такой исход, но мне показалось, что она не очень верит в это. Что-то она имеет в виду, — деликатно намекнул Левин.

— А мне теперь плевать! Мы разорены!

— Что ж, вам виднее.

— Я могу забрать? — Чекирда указал на странички отчета.

— Разумеется. Это ваш экземпляр... У вас есть к нам претензии, Артур Сергеевич?

— Нет.

— Тогда, пожалуйста, зайдите к Михальченко, закруглите с ним все формальности... Я вам очень сочувствую, поверьте.

Ирина Костюкович не вошла, влетела в кабинет Погосова.

— Погос, это правда?

Он в этот момент что-то писал. Подняв тяжелую широколобую голову, удивленно посмотрел на нее, затем медленно спросил:

— Ты о чем, дорогая?

— Ана-бо-ли-ки*! Ты обманул меня! Сказал, что это хоздоговорная тема. Выходит, и я, и кто-то еще готовили препарат, а ты испытывал его на людях! И не в клинических условиях! Значит, я соучастница?!

— Никакая ты не соучастница, — отложив ручку, спокойно произнес Погосов.

— Но ведь я по твоей просьбе проверяла взвесь на трех группах животных и, получив хороший результат, тем самым благословила твои подпольные фокусы!

— Сядь, Ира, успокойся и выслушай. К этому анаболику я шел четырнадцать лет. Пять лет назад он был готов. То, что он на

* Анаболики, анаболические стероиды — группа стероидных соединений, стимулирующих синтез белка в организме.

порядок выше отечественных аналогов и кое-каких зарубежных, я доказал. Я ведь не студент химфакультета. Все эти годы я стучался в двери фармкомитета бывшего Минздрава. И постоянно получал от ворот поворот, отписки. Как же! Какой-то провинциальный завлаб фантазирует! А главное не в этом. Главное, что у них в Москве в лаборатории профессора Звягинцева работали над аналогом. Я сделал это на два года раньше, и то, что сделал я, лучше, потому что не пренебрег качеством наполнителя. Но одобрили препарат Звягинцева. И в управлении по внедрению новых лекарственных препаратов утвердили звягинцевский. Я же остался с носом. Но я упрям, поэтому продолжал работу, совершенствовал...

— А знаешь ли ты, что некто Зимин, пловец из команды, которую тренируют твои приятели Гуцин и Туровский, умер? А ведь он глотал твои анаболики!

— Он что, отравился ими? Да, и мой анаболик токсичен, как всякое лекарство, если его принимать в лошадиных дозах.

— Нет, он не отравился. Но, видимо, принимал его длительное время и действительно в лошадиных дозах. В результате — поражение стенок кровеносных сосудов, васкулит, тяжелый гипертонический криз, инсульт — и смерть. Все, как видишь, в логической последовательности!

— Не может быть! Откуда ты знаешь?

— От брата. Зимин — его больной. Ты разве не знал, что Гуцин, Туровский и этот дерьмец Алтунин скармливали Зимину твой анаболик?

— Знал, разумеется. Но они клялись, что дают его разумно.

— В результате их «разумного» погиб человек. Кто следующий после Зимина?

— Они пользовались не только моим, везли и другие стероиды из-за границы. Но мой препарат давал лучший эффект. Я долго работал над наполнителем. Важно было создать такой, чтоб он не только придавал форму порошку — в виде таблетки или капсулы, — но и быстрее растворял стероид в организме, снижал кислотность, а главное — быстро выводился из организма. Та взвесь, которую ты испытывала на трех группах животных, — совершенно новый наполнитель. Они предпочитали мой анаболик еще и потому, что зарубежные новинки стоят безумно дорого. А я им обходился дешевле... Вот тебе вся правда.

— Не знаю, чем все это кончится для тебя, если узнает руководство института. Да и вообще... Они много платили?

— Много, но я платил и тем, кто помогал мне здесь. Вот только тебе не уплатил, — усмехнулся Погосов.

— Хватит паясничать!.. Кто еще с тобой работал?

— Фамилии тебе не нужны. Семь человек.

— И ты — восьмой?

— Нет, я первый. А работали со мной биолог, токсиколог, морфолог и другие профессионалы.

— И все из института? Из нашего?

— Нет, разумеется, из других институтов тоже.

— Целая лаборатория! Остановись, Погос, остановись!

— Скоро остановлюсь: я уже не Погос, а погост. Здесь, — он

потер ладонью свой огромный лоб, — уже началось торможение, Ира. Жизнь вошла в плотные слои атмосферы, не за горами склероз.

— Пей больше! — Она махнула рукой и быстро вышла...

— Ты был прав, — сказала Ирина. — Погос снабжал их своим анаболиком.

— Говорила с ним? — спросил Костюкович.

— Да.

— Как он объясняет свое участие? Как выглядел?

— В общем, жалко. Это что, уголовно наказуемо?

— Не знаю.

Зазвонил телефон. Костюкович снял трубку:

— Слушаю... Да, Володя... Ко мне? Сейчас? По какому случаю? Что ж, зайдите... Гайдамацкая, двенадцать, квартира шесть... — Положив трубку, Костюкович повернулся к Ирине: — Ко мне сейчас придет один пловец, Володя Покатило, приятель Зимина. Хочет о чем-то срочно поговорить.

— Я буду мешать?

— Ну что ты!

Покатило явился минут через пятнадцать.

— Быстро вы, — сказал Костюкович, открыв дверь.

— Меня знакомый подвез.

— Проходите.

— Вы один дома? — спросил Покатило, когда вошли в комнату.

— Нет, с сестрой, но она у себя. У меня от нее секретов нет, — ответил Костюкович, гадая, что привело парня.

— Хорошо. — Покатило сел. — Доктор, вы точно знаете, от чего умер Юра Зимин?

— Знаю. У него был тяжелый васкулит, приведший к инсульту.

— Что такое васкулит?

— Поражение стенок кровеносных сосудов.

— А отчего оно бывает?

— Причин много. Но тебя интересует, наверное, почему это случилось у Зимина?

— Да.

— Он принимал анаболические стероиды.

— Они ядовитые?

— Это очень хорошее лекарство, Володя. Но если его принимать длительно и в неумеренных дозах, стероиды из лечебных препаратов превращаются в убийц, — старался попроще объяснить Костюкович. — Почему тебя это вдруг заинтересовало?

— Больно они суетились.

— Кто?

— Гуцин, Туровский, Алтунин... У нас кто хорошо плавает? Тот, у кого в кармане аптека.

— Да, я понял, что анаболические стероиды Зимин принимал, как допинг.

— С чего вы поняли?

— Один умный человек объяснил.

— Спортсмен?

— Нет, профессор... У Зимина был бурсит.

— Я знаю. На локте. Не заживал почему-то.

— А потому же: кто долго принимает стероиды, у того травмы очень плохо заживают. У Зимина даже свищ образовался... Ты тоже сидишь на допингпрепаратах? — Костюкович в упор посмотрел на Покатило.

— Туровский мне балду гнал, мол, пей, это витамины. Название не говорил. Но я спер одну колбочку, показал знакомому аптекарю, там по-немецки написано на вкладыше, что это анаболик. Я и сказал себе: «Все, Володя, теперь ты допинговый мастер».

— Все спортсмены сидят на стероидных допингах?

— Зачем все? Те, кого готовят для престижных соревнований, в общем, лидеры. Многие олимпийцы, сборники.

— Значит, Гуцин и Туровский...

— Они мужики крутые и деловые. К ним ездят тренеры из многих дальних городов. Гуцин и Туровский снабжают их анаболиками. За валюту. Потому что и сами покупают на валюту за границей. У них там уже есть свои люди.

— Смотри, как поставлено! — удивился Костюкович.

— А вы думали!

— Володя, а на вас у Туровского медкарта заведена?

— А как же! На каждого. Он их не прячет. Но там вы ничего не найдете. Главное у него в блокноте, все графики на нас.

— И много они платят продавцам за допинговые анаболики?

— Наверное. Они в цене наркотиков. Но расходы окупаются: ведь выигрыш на престижных соревнованиях — это шмотки фирмовые, видики, музыкальные центры, магнитолы. Им много денег требуется: ведь надо «золотить мохнатые лапы» на самом верху.

— Но ведь есть допингконтроль. Разве не ловят?

— Горит в основном середняк. Наш Туровский такие графики лепит, что ко дню, когда могут взять пробы, организм уже чист. Во всяком случае, у него и у Гуцина не было ни одного прокола. Тут даже на денек ошибиться нельзя — влетишь! Почему они не пускали меня в Будапешт на Кубок Дуная? Потому что готовили на Европу, собирались кормить «химией», но по графику так, чтобы к началу Европы я уже был бы «чистый». Одно из условий, чтоб стать сборником, — быть «чистым».

— А что у вас делает Алтунин? — спросил Костюкович.

— Это «шестерка»! Но пару раз он им здорово услужил: смог подменить пробирки с анализом мочи Юры Зимина во время допингконтроля. А еще он мастер с помощью катетера «выкачивать» мочу спортсмена, а «закачивать» чистую донорскую. Все — за пять минут в раздевалке, и — пожалуйста, берите на допингконтроль! Еще помогает сбывать анаболики, которые они привозят из-за кордона. Гоняет по всему СНГ. У него крепкие связи.

— А если Гуцин, Туровский, Алтунин попадутся? Рискует же!

— Им есть ради чего рисковать: бесплатный могучий харч с черной икрой, спортодежда лучших мировых фирм, опять же поездки за кордон. Все, что везется оттуда, — фирмовое, потом толкается здесь за «зеленые». А если уж крепко влетят, их пожу-

рят для вида, на какое-то время могут турнуть, могут Гущина звания «заслуженного» лишить. Но потом все равно поднимут со дна, потому что они нужны тем, кто на самой главной верхотуре. Им бо-о-ольшие бабки нужны! И берут они «на лапу» густо.

— Откуда вы такие подробности знаете, Володя? — спросил терпеливо слушавший Костюкович.

— Давно верчусь в этом казане... насмотрелся, наслушался от олимпийцев, от сборников, в раздевалках, в душевых... Только и разговору про все это да про «химию»... Вот она, наша «аптечная» сила. — Он извлек из кармана знакомую Костюковичу зеленую колбочку из легкого металлического сплава, свинтил пробку и высыпал на ладонь маленькие таблетки.

— Это дал вам Туровский?

— Да. Если нужно, возьмите. Не хочу рядом с Юркой Зиминым лежать! Туровский, правда, потребует, чтобы я вернул. Скажу, что потерял. Пошел он... Это новинка.

— Я знаю.

— Откуда?

— В справочнике лекарственных средств еще не значится. А где они взяли этот анаболик, Володя?

— У них есть на таможне свой человек, какой-то Ягныш. С его помощью как-то достали... То, что я рассказал вам, доктор, держите в секрете, пока не вернусь из Будапешта.

— А потом?

— Потом делайте, что хотите.

— Они же вас выгонят, Володя.

— Плевать. Уйду. Я уже решил!

— Куда? Чем станете заниматься?

— Пойду на курсы автослесарей, устроюсь куда-нибудь на сервисную. Дам бабки — возьмут. Там тоже можно хорошо жить, правда, вкалывать придется. Вот и все, доктор. Заговорил я вас.

— Ничего, Володя, спасибо...

После ухода Покатило Костюкович минут десять что-то обдумывал, затем крикнул сестре:

— Ира, я поднимусь ненадолго к Левиным.

— Хорошо. Захлопни дверь и возьми ключи, — отозвалась сестра из другой комнаты.

На звонок открыл сын Левина Виталик.

— Отец дома? — спросил Костюкович.

— Дома. Заходи.

Левин сидел в старой полосатой пижаме, в тапочках на босу ногу и вырезал что-то из бумаги, на столе перед ним лежало несколько листов и стоял пузырек с клеем.

— Садись, Марк, — поверх очков глянул Левин на Костюковича.

— Чем это вы заняты? — спросил Костюкович.

— Виталик купил Сашке модельки самолетов, а клеить поручено мне. Но моего интеллекта что-то не хватает. Либо я дурак, либо инструкция дурацкая, а внук требует. — Он отложил ножницы, снял очки. — Чем кончилась история с жалобой? Был в прокуратуре?

— Да. Обошлось, все в порядке.

— Ну и слава Богу.

— Ефим Захарович, если можно доказать, что тренер и врач команды пичкали спортсмена допинговым препаратом, в результате — поражение стенок кровеносных сосудов, а в итоге — смерть от инсульта, это подсудное дело?

— В общем-то, конечно. Разумеется, сперва следствие, нужны очень веские доказательства... Что давали спортсмену, какой допинг?

— Анаболический стероид. Хорошее лекарство, если в умеренных дозах и определенный срок, оговоренный врачами. — Костюкович рассказал все, что приключилось с Зиминым. — Я хочу обратиться в прокуратуру. Как вы считаете?

— Это, разумеется, твое право и, если говорить красиво, твой врачебный долг. Негодяев, конечно, полезно бы проучить, чтоб другим неповадно было. Но... Понимаешь, Марк, не любят следователи такие дела.

— Почему? Тут все ясно!

— Кому? Тебе? Нужны солидные экспертные заключения, возня большая. Да и прецедентов таких я что-то не слышал. Боясь, что результата не даст. Милиция и прокуратура будут тянуть резину. А ты выглядишь вроде как лицо заинтересованное и в ином смысле: жалобы на тебя были. И хотя они закрыты, как полная чушь, адвокат противной стороны не преминет воспользоваться этим. Вот какая картина может получиться. Ты ведь даже не знаешь, какой анаболик давали.

— Знаю. Вот этот. Узнаете? — Костюкович вынул из кармана зеленый маленький туб.

— Где ты его взял? — удивился Левин.

— Один спортсмен принес. Тренеру и врачу команды это досталось с помощью таможни. У них там есть свой человек, некий Ягньш.

— Ягньш?! — воскликнул Левин. — Приятная новость. Ну-ка посиди. — Он встал и, шаркая шлепанцами, подошел к телефону, завертел диск.

— Иван? Это я. Чем занят?

— Пылесосу ковер, — отозвался Михальченко.

— Оторвись на минутку. Картонную коробку с «Фармации» помнишь? А Ягньша с таможни не забыл? Так вот, это его рук дело. Ты начальника таможни Борового знаешь?

— Кима Петровича? Конечно, знаю!

— Позвони ему, может, он еще на работе, а нет — домой. Попроси, чтобы выяснил по своим каналам, у кого была изъята коробочка. Скажи, что это в его интересах. И перезвони потом мне.

— Добро...

Левин вернулся к Костюковичу.

— Слышал? — спросил он.

— Да, но ничего не понял, — ответил Костюкович.

— Недавно на таможене была конфискована картонная коробка с упаковками анаболиков. — Левин указал на зеленый туб. — Поскольку именно это лекарство не значится в разрешительном перечне и реализации через аптечную сеть не подлежало, оно должно было быть активировано, то есть уничтожено в присутствии

представителей объединения «Фармация», налоговых органов и таможи. Но за день или два, не помню, коробка была похищена с одного из складов «Фармации»...

Минут через двадцать позвонил Михальченко:

— Ефим Захарович? Борового я поймал на работе. Он как раз собирался уходить. Немножко кочевряжился, мол, поздно уже, устал, жрать хочет. Но когда я ему сказал, что дело важное для них, а не для нас, да еще связано с Ягнышем, согласился. В общем, коробка с лекарствами была задержана до выяснения у врача команды пловцов Туровского Олега Константиновича.

— Ясно, — сказал Левин. — Завтра утром я поеду к Боровому с подробностями насчет Ягныша. Пусть добивают его. Он и в этом деле был наводчиком. А шофера с «Фармации», который развез в тот день лекарства со склада по аптекам, наверное, за хорошую взятку согласился упереть ящик для господ спортсменов... Теперь все в порядке. Будь здоров, прости, у меня гость...

— Коробку из-за границы вез Туровский, — сказал Левин Костюковичу. — Остальное, надеюсь, ты понял...

Через полчаса они сели ужинать, все еще обсуждая происшедшее.

— Бардак, — проговорил Костюкович, очищая кожуру с картофеля и дуя на пальцы.

— Бардак, — согласился Левин. — Причем плохой бардак. Но, к сожалению, это тот случай, когда бандершу не уволишь... Что ж, поехали! — Он поднес свою рюмку с разбавленным спиртом к рюмке Костюковича, чокнулся, выпил и крикнул. — Хорошо!



ПЕС С НАМИ

...**А**в России сегодня собачий бум.

В больших и малых городах за последние годы открылись тысячи собачьих клубов, секций, ассоциаций, федераций. Из-за рубежа к нам везут новые породы, о которых в прежние годы и слыхом не слыхивали. От нас едут за рубеж, чтобы породниться с их кобелями и суками. Правительство Москвы вынуждено издать постановление, запрещающее показ собачьих боев. Одна собачья выставка сменяет другую. Цены на породистых щенков растут, обгоняя темпы инфляции. Россия наконец-то принята почти ассоциированным членом Всемирной кинологической федерации.

В России — собачий бум.

Еще сравнительно недавно два выдающихся наших хирурга не могли решить между собой, кто из них лучший, а кто — первый. От этого страдала медицина.

В наши дни примерно то же самое не могли решить два политика. От этого пострадали все мы.

Сейчас с той же проблемой маются два хороших кинолога.

От этого плохо отечественному собаководству.

Но это так, к слову.

Заведите с владельцем или владельцем собаки разговор на любую тему: о доме, о семье, о соседях, о работе, о политике — о чем угодно, и, уверяю вас, через несколько минут разговор все равно плавно пе-

ретечет в разговор о собаках. С владельцами птиц, хомяков и прочих пресмыкающихся такого разговора не получится, а вот с собаководом...

Необъяснимое интернациональное явление.

На планете насчитывается сейчас почти 400 пород собак. В названии одной всего три буквы — дог, другую сразу и не выговоришь — уэст-хайленд-уайт-терьер. Есть собаки абсолютно голые, настолько голые, что их кожу нужно смазывать детским кремом, чтобы она не трескалась и была гладкой на ощупь. А есть такие лохматые, что, кроме кончика носа, больше ничего и рассмотреть не возможно. Есть Аполлоны собачьего рода, а есть, которые легко могут разместиться в обыкновенном фужере. Я уж не говорю о том, в какие немыслимые окрасы разукрашена собачья шерсть.

Сейчас точно установлено, что прародителем всех собак, живущих на Земле, был не шакал, а волк.

Первые останки собак, найденные археологами, относятся к эпохе мезолита. Это 12—15 тысяч лет назад. Именно этот период ученые склонны считать тем самым временем, когда начала складываться робкая дружба между человеком и собакой. Двухное существо первым почувствовало необходимость в такой дружбе: собака могла предупредить о приближающейся опасности, помочь во время охоты, наконец, стать надежным

сторожем жилища. Ученые считают, что первая собака была размером с современную овчарку. На Земле были две обширные области происхождения собак — Малая Азия и Индия. Однако и в других местах на планете шло приручение собак.

Нельзя сказать, что жизнь собак всегда складывалась благополучно. Так, если древние египтяне видели в собаке божество, то израильтяне считали ее нечистым животным. А в Риме начиная с 390 года до н. э. ежегодно несколько собак принародно казнили. Собравшимся объясняли, что делалось это «в знак мести за то, что Капитолий спасли не собаки, а гуси».

В Древней Греции собаки считались лучшими защитниками военных лагерей и крепостей. Специальные собачьи батальоны в греческом войске являлись передовыми ударными частями.

Псы-ратники были в войсках Ассирии и Вавилона. Говоря современным языком, собачьи «отряды особого назначения» были и у Александра Македонского. Свирепых догообразных собак выпускали на противника кимвры и тевтоны.

От войны к войне расширялся диапазон использования собак. В первую мировую собаки были призваны на военную службу в качестве санитаров и связистов. Во вторую — наряду с этими обязанностями они выполняли роль подрывников воинских эшелонов и истребителей танков, саперов, участвовавших в разминировании целых городов.

И уж, конечно, не перечислить мирных собачьих профессий. Многими своими успехами медицина обязана собакам — точнее, миллионам собачьих жизней. Первопроходцами космоса тоже были собаки. Четвероногие помогают отыскивать

под завалами людей и находить тщательно запрятанные наркотики. Хорошо натренированная собака может безошибочно указать место разрыва в газопроводной трубе, уложенной в земле.

Я уже не говорю о том, что без собаки и охота не охота, и поход к Северному полюсу не поход, и служба на границе не служба, если рядом нет чутыстого носа и ушей-слухачей.

Один американский режиссер заметил, что любому фильму успех гарантирован на 50 процентов, если 20 минут экранного времени будет связано с собакой. Вспомним хотя бы «Джудльбарса», «Белого Бима Черное Ухо», «Ко мне, Мухтар», «Лесси».

Не счесть собак — литературных героев.

Соображают ли собаки?

Трудно сказать, соображают и думают ли собаки, лежа на диване или в будке. Но, видимо, соображают, если, заслышав звук вставляемого в замок ключа, быстренько перебираются на свою подстилку, дабы не застучали нежащимся на неполюженном месте.

Собаки очень хорошо чувствуют настроение хозяина. Вот он открывает дверь и входит в квартиру. На пороге усердно виляющее хвостом и повизгивающее от избытка чувств четвероногое существо. Но у хозяина плохое настроение, он расстроен, ему не до собаки. Заметьте, она не будет продолжать лезть, навязывая свои чувства, отойдет в сторону или отправится на свое место. Собака поняла: сейчас не до нее. Но спустя какое-то время она снова предпримет попытку напомнить о себе. Однако делать это будет по-иному: осторожно, вкрадчиво. Вот она подходит к хозяину и внимательно смо-

трет на него, определяя, не изменилось ли его настроение. Но он не обращает на четвероногого приятеля или приятельницу никакого внимания. Может быть, не заметил? И тогда пес легонько носом толкает под руку своего двуногого обожателя. Вновь никакой реакции. В этом случае следует последняя попытка: очень осторожно собака кладет голову на хозяйские колени. Иногда это сопровождается тяжелым вздохом. Если в этот момент вы бросите взгляд на своего питомца, то увидите полные печали и надежды глаза. Так, с положенной на колени головой, собака может сидеть очень долго в ожидании того счастливого момента, когда вы обратите наконец на нее внимание.

Мой доберман однажды, выскочив из московской квартиры, пустился обегать наш длинный дом, чтобы оказаться рядом со мной, занимающимся машиной. Причем обежал он его не по длинному, а короткому пути. Случайность? Может быть. Но примерно такой же случай приключился и на даче. Там тоже было два пути, как добраться до меня. Один — длинный, другой — короткий, но не очень удобный. Тем не менее пес вновь избрал именно короткий путь.

И уж совершенно фантастическую историю рассказал мой знакомый, тоже владелец добермана. На даче он чинил крышу сарая. Пес принялся с лаем носиться вокруг сарая, соображая, видимо, как на такую высоту могло занести его любимого хозяина. И тут собака заметила приставленную сбоку лестницу. Через минуту верный друг был уже на крыше. К этому следует добавить, что именно доберману ничего не стоит совершить «восхождение», скажем, по пожарной лестнице, которые есть у каждого старого дома. Дело в том, что

пальцы у этих собак особенно подвижные, и доберман — подобно человеку — может обхватывать ими круглые прутья-ступени лестницы.

Так соображают собаки или нет? Данные, которые получили сотрудники лаборатории физиологии и генетики поведения биологического факультета МГУ, однозначно свидетельствуют — да. Говоря научным языком, «рассудочная деятельность у животных, следовательно, и у собак, существует».

Вам никогда не приходилось видеть, как бездомные собаки нынче переходят улицу, по которой сплошным потоком несутся автомобили, готовые подмять под себя не то что собаку, но и нас с вами? А вы понаблюдайте. Редкая кудлатая бестолочь кинется наперерез потоку — разве что опаздывающая на свидание с таким же лопухим недоумком со двора на противоположной стороне или если просто в голову что-то стукнуло. В большинстве же своем эти кудлатые, облезлые, худые стоят у края тротуара и ждут. Ждут, когда пойдем мы с вами. Вот тогда станут переходить улицу и они. И, заметьте, никто не говорит им «Стоять!», потому что они просто не поймут этой команды — их никто не учил. Зато они усвоили и понимают другое: раз пошли люди, значит, безопасно, можно переходить и ничего им в этот момент не грозит.

Ум и сообразительность свойственны подавляющему большинству бездомных собак.

Но и живущие с нами в доме четвероногие тоже неглупы. Ум-разума они набираются от нас, и в этом отношении именно от нас зависит, насколько умный, сообразительный будет питомец. Выдающийся кинолог А. Мазовер считал, к примеру, что во время прогулки с собакой нужно каждый раз менять маршрут, чтобы животное

постоянно узнавало что-то новое и тем самым развивало свой собачий интеллект. Способствуют этому и регулярные игры.

Тот же А. П. Мазовер советовал чаще разговаривать с собакой. Этот совет кому-то может показаться странным. Но только не собаководу. Замечено, что в результате таких общений верный четвероногий приятель начинает понимать не только многие слова, но и целые фразы. «Подожди, — говорю я своему доберману, — сейчас вынесу мусор, и тогда пойдем с тобой». Пес стоит на месте, терпеливо ждет, только с лапы на лапу переступает: скорее бы. Или: «Иди на место и жди, я тебя позову, когда надо будет». Со вздохом, но идет на свою подстилку. Так же с тяжелым вздохом ложится и, вытянув морду в сторону двери, терпеливо ждет, когда его позовут. Он понимает очень и очень многое и адекватно реагирует на сказанное мной. Есть слова и фразы, которые в присутствии Ферри без надобности лучше не произносить, потому что отреагирует на них так, как и следует реагировать, понимая, что стоит за этими словами и фразами.

«Обращайтесь с собакой как с равным собеседником, и она станет лучше понимать вас без всякой специальной дрессировки. — советуют известные кинологи Е. Непринцева и М. Корнилова. — Чем чаще вы будете просто разговаривать с собакой, тем больший материал для анализа своего поведения вы ей предоставите. А это значит, что вы сделаете еще один шаг к взаимопониманию».

Загадки, которые еще предстоит разгадать

Некоторые поступки собак нередко просто озадачивают. Выво-

ды — потом, а пока одна из таких загадок: как собака, оказавшаяся вдали от родного очага, находит дорогу к дому.

Много читал я о таких случаях, о собаках-возвращенцах. Читал, улыбался и думал: «Красиво придумано». Но вот история, которой сам стал свидетелем.

В Москве, на Севастопольском проспекте, где жил раньше, в соседнем доме жила семья пожилых людей — муж и жена. И была у них собака. Невзрачная такая дворняжка, белая с черными отметинами. Я видел ее каждое утро бегающей у дома. Что уж там в этой семье произошло — не знаю, но решили они от собаки отделаться. Благородно отделаться, на их взгляд: оставить в Зюзиноском лесу, что неподалеку. Уж не знаю, как хозяин ее там оставлял, только к вечеру она была дома. Тогда он отвез ее на электричке и оставил на какой-то станции в надежде, что найдутся сердобольные и приютят бездомную псину. Но, видимо, сердобольные на той станции не жили, и собака через несколько дней заявила о своем благополучном прибытии поскуливанием у двери.

Видимо, два эти возвращения собаки никак не растрожили душу семейной пары, потому что было принято решение отвезти пса (видимо, в качестве дорогого подарка) к родственникам на Украину. Несколько месяцев после возвращения с Украины пара «отдыхала» от собаки. Именно в эти беззаботные дни сосед и рассказал мне о псе, который «черт его знает какой-то странный: все приходит и приходит».

— А он и опять придет. Ждите, — сказал я тогда просто из желания насолить бесчувственному человеку.

Вышел, что я как в воду смотрел. Пес вернулся. Видимо, это

третье возвращение собаки что-то перевернуло в душах пенсионеров. В очередную нашу встречу он заявил:

— Прав ты был. Вернулась. Еле пришла. Три дня спала. Даже есть не стала. Во преданная! Я старухе сказал: все, больше никуда не поезу. Пусть живет тут.

Тяжело пришлось собаке доказывать свою преданность.

Более фантастический случай произошел с подполковником, с которым свел меня случай в купе поезда «Москва — Варшава». В тот год я вез своего первого добермана Айку в Польшу, на Международную выставку собак. Попутчик мой служил в Германии, где и приобрел немецкую овчарку. В отпуск он забрал ее с собой в Москву, а когда возвращался, на границе у него не оказалось какого-то документа на собаку и он вынужден был оставить ее пограничникам. В Германии ему пришлось поменять квартиру раз, потом еще раз. А пес сбежал от пограничников и отыскал своего хозяина, придя к дому, в котором никогда не был.

Третий случай. Знакомый возвращался из командировки на день раньше. Как потом рассказала мне его мать, пес с утра того дня буквально не находил себе места: метался от двери к окну, подолгу смотрел в него, скулил. Словом, ждал. И дождался.

Ну, а то, что собаки узнают о подходе к дому любимого хозяина, возвращающегося с работы, так это просто обычное явление.

Как это у них получается? По какому такому незримому телефону, телеграфу или факсу получают они известие о смерти своего хозяина, находящегося за сотни, а то и тысячи километров? И выть начинают в ту самую минуту, когда душа покидает брненное тело. А какой внутренний компас указывает собаке путь к дому?

Пес спит в соседней комнате. Я работаю. Смотрю на часы — надо бы идти гулять с ним. Поворачиваю

голову — он уже рядом: обрубком хвоста виляет так усердно, что тот того гляди оторвется, морда улыбкой светится. Каким таким способом «долетела» до него моя мысль?

Отважусь поделиться своей догадкой. Безусловно, спорной. И тем не менее.

Где-то прочитал я однажды, что в очень и очень далекие времена, когда языка как средства общения еще и в помине не было, первобытные люди передавали друг другу информацию методом телепатии. Может быть, и в мозгу собаки запрятан какой-то биологический микроприемник, который и улавливает нужную информацию, исходящую от любимого хозяина. Конечно, не между всеми парами «человек — собака» существует эта невидимая связь. Но между некоторыми, у которых привязанность друг к другу особенно крепка, она точно существует.

О верности и преданности

В природе нет ни одного другого животного, кроме собаки, которое было бы так фантастично предано человеку. Именно это великое свойство во все века и привлекало человека к собаке. Доказательств такой преданности с незапамятных времен и до наших дней превеликое множество.

Несколько лет назад по телевидению был показан короткий сюжет из Италии. Кладбище. Надгробная плита с фотографией покоящегося в земле человека. И собака, лежащая у могилы. Много месяцев изо дня в день приходила она туда. Кинокамера запечатлела момент появления собаки: вот она подошла к плите, лизнула портрет и легла рядом с могилой.

Скажите, а когда вы в последний раз были на могиле друга или подруги?

Описаны случаи, когда во время пожара собака бросалась в дом и буквально выволакивала из огня ребенка, хотя ее никто этому не обучал.

Трудно объяснить подобные поступки собак только инстинктом, рефлексом или каким-либо другим научным понятием. Почему крохотный чихуахуа, которого, конечно же, никакому общему курсу дрессировки или защитно-караульной службе никто не обучал, с львиной отвагой готов брестись на защиту своего хозяина, если заметит, что кто-то поднял на него руку. Это, наверное, сторожевая собака? — спросите вы. Отвечаю: чихуахуа — рост 15—20 см. Вес — 0,5—2,5 кг. А отвага?!

Почему пес, жестоко избитый нерадивым хозяином, тем не менее будет плестись за своим обидчиком и преданно глядеть ему в глаза в надежде отыскать в них хоть искру любви? И если, не дай Бог, кто-то нападет в ту минуту на единственного и обожаемого, он бросится не раздумывая на его защиту и будет защищать до последнего вздоха.

Несколько лет назад «Комсомольская правда» рассказала об одной собачьей трагедии, происшедшей в аэропорту Внуково. При посадке в самолет не пропустили человека с собакой. И тогда этот человек оставил собаку у трапа, а сам улетел. На Север.

Собака долго жила под открытым небом, спала возле ангаров, а когда прибывали самолеты, бежала к трапу и встречала, потому что не могла поверить, что ее предали. Она ждала ЕГО, но ОН не появлялся. Только спустя месяцы удалось войти к ней в доверие одной женщине, которая и приютила собаку.

Но я уверен, появившись ОН спустя годы и позови ее, собака без раздумья кинулась бы к НЕМУ, потому что все эти годы носила в себе па-

мять о НЕМ — любимом и неповторимом.

В семье, куда попадает собака, она сама выбирает себе хозяина, которому и вверяет свое сердце. Конечно, и других членов семьи она любит, и защищать их будет, если понадобится, и на ласку ласковой ответит, но необыкновенной преданностью одарит только одного — своего избранника. И умирать приползет к его ногам.

К сожалению, мы не всегда замечаем эту преданность и любовь животного. А вот в Италии и поныне ежегодно вручаются специальные награды собакам, выказавшим особую преданность человеку. В разных городах мира стоят памятники собакам, заслужившим этот почет своим умом, служением и верностью человеку.

Несколько десятков путников, попавших в снежные заносы, спас в Альпах сенбернар по кличке Барри. На собачьем кладбище в Париже (есть у них и такие кладбища) стоит памятник этой замечательной собаке.

Трудягам — ездовым псам, погибшим в суровой Арктике, сооружен памятник в японском городе Осаке.

Восемь лет оставалась собака на могиле хозяина, покидая ее лишь на короткое время, чтобы поест в расположенном неподалеку доме у одинокой женщины. Этому верному четвероногому другу сооружен памятник в городе Эдинбурге в Шотландии.

Пять дней и ночей сквозь пургу в сильный мороз пробивалась собачья упряжка, ведомая псом по кличке Балт, в город Номе, на Аляске, где вспыхнула эпидемия дифтерии. Упряжка везла вакцину. Балту сооружено два памятника: один — в Номе, а другой — в Нью-Йорке.

Лауреат Нобелевской премии академик Иван Павлов сам разра-

ботал проект памятника Собаке. Памятник ей установлен в Колтушах под Ленинградом. Надпись на постаменте гласит:

«Пусть собака, помощница и друг человека с доисторических времен, приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства».

«Тайны» собачьего носа

Собачий нос — «прибор» уникальный, и вряд ли когда-либо удастся создать что-то подобное искусственным путем.

Обоняние собаки в полтора миллиона раз превосходит человеческое. Наш четвероногий друг чует запахи, о которых мы — самое совершенное существо на свете — даже понятия не имеем. В этом отношении собака перещеголяла даже своих диких родственников.

Нос нашего питомца дает возможность ему быть в курсе всех дел собачьей братии: и тех, кто проживает в одном с ним подъезде, и тех, кто вдруг появился во дворе. О том, какие сведения получает пес, можно понять по его поведению. Вот он внимательно обнюхивает стойку металлических перил. Даже пару раз хвостом махнул от приятного известия. А известие вот какое: несколько минут назад прошла знаемая сучка, с которой так весело играть. Надо поспешить, может быть, она еще не ушла со двора и тогда можно будет в удовольствие побегать.

Нередко можно увидеть владельца, который категорически против того, чтобы его собака что-то обнюхивала: он дергает пса за поводок, при каждом случае повторяя: «Фу! Перестань нюхать всякую гадость!» Но владелец в данном случае поступает со своей, челове-

ческой, точки зрения. А с точки зрения собаки, это естественный процесс получения информации. И лишать ее этого права нельзя.

По мнению исследователей, в первую очередь собаку интересуют запахи сородичей и других животных. Любой владелец собаки подтвердит, как подолгу и тщательно его питомец на прогулке исследует предметы, на которых четвероногий сородич оставил метку. Чует же ее собака за несколько метров. Обнюхивая метку, собака получает массу информации. Она определяет возраст сородича, темперамент того, кто эту метку оставил. Наконец, метка — своеобразное предупреждение: это чужая территория. Но, оказывается, ее можно попытаться сделать «своей»: надо просто переменить эту метку. А для подтверждения своих серьезных намерений еще и с силой поскрести землю задними лапами.

Необыкновенные возможности чутыистого собачьего носа человек приметил очень давно. Так собака стала главным помощником на охоте.

Шли годы, и у собаки появилась еще одна профессия — ищейки. Один из первых опытов по выявлению способностей собаки отыскивать человека по следу был поставлен в 1885 году. Но, как считают специалисты, только очень хорошо обученная собака может по следу отыскать преступника. Именно такой собакой в дореволюционной России был доберман по кличке Треф. Собака с легендарным чутьем. Был случай, когда Треф шел по следу 115 километров и в конце концов настиг преступников. Как считают кинологи, доберман — прирожденная розыскная собака. Только ей под силу, например, разыскать спустя 90 дней след длиной в 1200 метров, законсервированный в лесной местности.

Сравнительно недавно собаки

овладели еще одной профессией — газовщика. Утечки газа эти «специалисты» обнаруживают на метровой глубине, да еще под асфальтом.

Есть и собаки-геологи. В Финляндии в 1965 году провели эксперимент. Собака по кличке Лари на площади три квадратных километра разведала 1330 образцов, представляющих промышленный интерес. Опытный специалист-геолог на той же площади обнаружил всего 270 образцов. Собаки-геологи способны находить ископаемые на глубине нескольких метров. Рекорд — 12 метров. Он принадлежит восточноевропейской овчарке по кличке Карат. Американский физиолог Нейхаус установил, что к запаху неорганических веществ собака чувствительнее человека в тысячи, а к органическим — в миллионы раз.

Современная таможенная служба немислима без специально обученных собак. За девять месяцев 1995 года на французских таможнях с помощью собак было обнаружено 18 тонн различных наркотических веществ. Об этом сообщила французская газета «Монд».

Сейчас обучают собак отыскивать огнестрельное оружие. В этой работе собаки ориентируются на запахи пороха и смазочных материалов.

Использовали собак и после страшнейших землетрясений в Армении и на Сахалине для розыска людей под завалами.

По данным Международного союза альпинистских ассоциаций, для поиска человека в снежном лавинном выносе площадью 100×10 метров методом зондирования двадцать человек затрачивают в среднем четыре часа. С помощью магнитометра один человек — тоже четыре часа, а проводник с собакой — всего двенадцать минут.

Вот на что способен обыкновенный собачий нос. Человеком пока не создано ничего подобного по точности и надежности.

Кто же они есть?

Среди 400 пород, официально зарегистрированных кинологами, есть породы хорошо всем известные, а есть практически и неизвестные. Немецкую овчарку, пуделя, дога знают все. А вот, скажем, кто знает, что это за породы — оттерхаунд, халден-стёваре или спиноне?

Итак, об известных и неизвестных собачьих породах.

Немецкая овчарка



Безусловно, самой популярной, самой узнаваемой и самой многочисленной породой является немецкая овчарка. Считается, что среди всех прочих четвероногих друзей человека она единственная сохранила черты своего предка — волка.

Впервые немецкая овчарка была показана на выставке собак в Ганновере в 1882 году. Звали эту собаку Грейф. Он первым удостоился чести быть внесенным в родословную книгу этой породы. «Отцом» современной немецкой овчарки считается полковник кавалерии Макс фон Штефанитц. Он в 1884—1899 годах провел тщательный отбор, занимаясь созданием породы. С тех пор и началось триумфальное шествие немецкой овчарки по странам мира. Так, в Ве-

ликобританию собака этой породы попала после первой мировой войны. А в Россию раньше — в 1904-м. Свое боевое крещение овчарки получили в русско-японской войне как санитарные собаки. С 1907 года приобрели профессию полицейских собак. Кстати, в первую мировую войну в русской армии «служило» 150 немецких овчарок.

Они хорошо идут по следу, проводят задержание, служат незрячим как проводники, отыскивают людей под завалами домов.

Собака очень способна к дрессировке. Трудяга и работяга. Выносливая и подвижная. Умна и преданна. В общем — одна из самых универсальных, если не самая универсальная.

Дог



Дога тоже знают многие. Во всяком случае, по росту собаку эту ни с какой другой не спутаешь — до 80 сантиметров в холке. Предками этих собачьих Аполлонов были боевые псы аланов — скифского племени, вторгшегося в V веке в Галлию, Испанию и Римскую империю. В средние века догов использовали для охоты на кабанов, травли быков.

Впервые они осчастливили своим присутствием выставку собак в Гамбурге. Произошло это в 1863 году. А в 1878 году было принято решение назвать породу «немецкий дог» и считать ее национальной породой Германии.

О доге очень точно сказал писатель Борис Рябинин: «И характер у него уравновешенный, как у хоро-

шо воспитанного гражданина».

В Голландии, к примеру, можно встретить догов, «прогуливающих» в колясочке детишек. А владельцы лавочек используют этих собак для развозки товаров по домам клиентов.

Считается, что с помощью специально выдрессированных догов англичанами были покорены марокканские негры на Ямайке. А у Александра Македонского был дог, который легко справлялся со слоном и львом.

Дог — противник опасный. Он атакует врага молниеносно и бесшумно. Сторож — бдительный и надежный, вот только слух у него слабоват. Слабовато и здоровье, если учесть, что болеет он всеми человеческими болезнями. Чаще всего собака погибает от заворота кишок. К сожалению, и долголетию дог не отличается.

Дог требует большого количества качественной пищи, что в наше время, согласитесь, дело непростое. Во всяком случае, у нас, в России.

Пудель



Пусть никого не удивляет, что следом за немецкой овчаркой и догом рассказ пойдет о пуделе. Вроде бы никакой логики. Но мы же договорились: вначале — о наиболее известных собаках, а уж пуделя-то знают все.

Пудель — одна из древнейших пород. Настолько древних, что когда-то пудель был собакой охотничьей: подавал дичь из воды. Кстати, слово «пудель» происходит от

немецкого выражения «pudelnass», что означает «промокший до нитки».

Охотником пудель был до XVII века, а потом «переквалифицировался» в модную игрушку для дам. Сама французская королева Мария Антуанетта изобрела стрижку «подо льва», которая и поныне остается одной из двух официальных, наряду со стрижкой «модерн».

Пудель — собака необыкновенно подвижная, смышленная и веселая. Многие держат пуделя как живую игрушку. Но вот Д. Палмер в книге «Ваша собака» рекомендует: «Пудель — отличная рабочая собака, не превращайте его в клоуна или оригинальную модную игрушку».

Нельзя с этим не согласиться. Однажды мне довелось наблюдать на дрессировочной площадке сдачу экзамена собаками по общему курсу дрессировки. Были там и немецкие овчарки, и ротвейлеры, и ризеншнауцеры, и боксеры, и доберманы. А вот лучше всех экзамен сдал черный пудель.

Собаки этой породы бывают трех видов: большой, или королевский, пудель, малый, или карликовый, и миниатюрный, или той-терьер. Друг от друга они отличаются разве что ростом или еще весом.

В России ни одна выставка собак не обходится без участия в ней пуделя.

Боксер



«Смотри, вон бульдог пошел», — нередко можно услышать фразу, несущуюся вслед удаляющейся

крепкой, мускулистой собаке со своеобразной чуть приплюснутой мордой. А это вовсе никакой не бульдог, а боксер.

Тот тип боксера, какой нам сегодня известен, сложился сравнительно недавно. До конца прошлого века это была очень грузная, массивная собака, всем своим видом напоминавшая дога. А дальше события развивались следующим образом: в 1896 году в Германии был создан «Боксер-клуб», в котором велась направленная селекционная работа. В результате ее и появился тот эlegantный, мускулистый, подтянутый пес, которого мы и знаем сегодня. С тех пор и получил он довольно широкое распространение во всем мире.

О боксере говорят, что эта собака дольше всех других собак сохраняет характер щенка. От себя добавлю, что среди щенков прочих пород нет более забавного, чем детеныш боксера.

Замечено, что боксеры очень любят детей, заботливо к ним относятся и не дай Бог никому обидеть юного хозяина.

Вообще-то боксеры не из племени скромников: любят подраться. Но редко когда обижают противников меньше себя. И вообще эта собака отличается сообразительностью, бдительностью, смелостью и решительностью.

Доберман-пинчер, или просто доберман



Доберман — одна из немногих пород, чье название происходит от имени ее создателя.

Фридрих Луис Доберман из немецкого города Апольда, наверное, и не предполагал, что имя его будет жить в веках. И не благодаря тем профессиям, которые он менял, как перчатки. А был он и рабочим на городской бойне, и сторожем, и ночным полицейским, и отловом собак занимался, и сборщиком налогов служил. Неизвестно уж, по какой такой причине, но задался большой любитель собак целью вывести свою породу. Чтобы была она подвижной, сильной, выносливой и одновременно красивой. Для этой цели селекционер-любитель (и, надо признать, гениальный селекционер) использовал пинчеров, догов, ротвейлеров. Но выведенная им собака была грузной и массивной.

Чтобы получить новую породу, нужны многие и многие годы. Полностью закончить свою работу Фридрих Доберман не успел. Ее продолжил Отто Геллер, который прилил к собаке Добермана кровь грейгаунда и манчестерского терьера.

Так или иначе, но через пять лет после смерти Добермана, в 1899 году, новая порода была названа его именем. Тогда же в Апольде был основан «Народный клуб любителей доберман-пинчеров».

Нынешний тип добермана — это собака крепкого и гармоничного телосложения, мускулистая и элегантная. Именно элегантность подкупает в добермане больше всего. Вот как Джоан Палмер описывает добермана в книге «Ваша собака»:

«У доберманов гордая осанка, смелый и решительный характер, живой темперамент. Он компактен и силен — это именно те свойства, которые позволяют ему развивать очень большую скорость в рывке (на коротких дистанциях). Движения его легки и упруги. В глазах отражается ум и твердый харак-

тер, и при этом доберман беззаветно предан и послушен».

И поэтому неудивительна та скорость, с которой доберман «завоевывал» мир. В 1902 году нескольких собак закупила Швейцария. В 1904 — Голландия, из которой они проникли в Восточную Индию. В 1914 году доберман был завезен в Южную Африку, а в 1919 году открылся первый клуб доберман-пинчеров в Австралии. Спустя два года доберман ступил и на американскую землю.

А в Россию эта собака попала в 1902 году.

Русская псовая борзая



Пород охотничьих собак более 150. Немало среди них и борзых: хортая, южнорусская (степная), тазы, тайган, английская, афганская... Но королева среди них вне сомнения — русская псовая борзая.

Шамаханской царицей проходит эта утонченная красавица перед восхищенными взорами посетителей собачьей выставки. Но мировую известность и широкое распространение в других странах русская псовая борзая снискала не только за красоту. Охотники ценят в ней резвость, беззаветную страсть к преследованию зверя, силу и отвагу в схватке с таким грозным хищником, как волк.

Время возникновения породы неизвестно. Разные источники приводят разные даты. Реальнее всего, что порода эта появилась где-то во второй половине XVI века. Царь Михаил Федорович в 1619

году отправляет в Галич, Чухлому, Солигалич, Судай, Кологрив и на Унжу двух охотников и трех конных псарей с наказом „брать в тех местах у всяких людей собак борзых.“

Предполагается, что в то самое время борзую активно скрещивали с овчарками, чтобы получить более мощных собак, а позднее — с разными борзыми для увеличения резвости.

Псовые борзые были излюбленной породой российского дворянства. Собаки использовались для охоты не только на зайцев, но и на лисиц и волков.

Для охоты с борзой нужен простор — большое поле. В лесу эта азартная собака может просто-напросто разбиться о дерево. Ведь скорость, которую способна развивать русская псовая борзая, — 70 — 75 километров в час.

Сейчас с этими собаками почти не охотятся. Негде, да и где он — заяц или волк. Вот и бегают русские псовые борзые по стадионам за куском меха на проволоке. Да еще и не каждая борзая побегит — избежилась в городских квартирах без тренировок на вольном просторе. А какая тренировка во дворе, где на каждом шагу машина или железная коробка-гараж.

И исчезает потихоньку гордость российского собаководства.

Теперь о собаках малоизвестных, которые только появляются на наших выставках, и совсем уж неизвестных.

Мастиф



Первое, что отличает эту соба-

ку, — ее мощь. И морда — вся в складках. О мощи говорит вес — 75 — 90 килограммов при высоте 70 — 80 сантиметров. Считается, что мастиф — потомок молосских боевых собак, которые ради развлечения публики сражались с медведями и быками. В средние века мастифы использовались также на охоте и как сторожевые собаки.

Интересно высказывание о щенках этой породы Деборы Алерс — редактора и издателя журнала „Клуб любителей мастифов в США“, владельца питомника английских мастифов. Так вот, она утверждает, что если вовремя не научить щенков мастифа повиноваться, то маленькие разбойники быстро превратятся в маленьких преступников.

Хотя и считается, что по своему характеру мастиф — спокойная собака, тем не менее никогда не следует забывать, что раздраженный пес становится агрессивным и некротимым. А если помнить, что имеешь дело с абсолютным рекордсменом среди собак по весу, то лучше мастифа „не заводить“.

И еще о весе. В Книге рекордов Гиннеса упоминается мастиф по кличке Зорба из Лондона. Его вес был 145 килограммов. Можно только представить свое положение на другом конце поводка, если эту махину кто-то „заденет“ и он решит выяснить отношения с обидчиком.

Китайская хохлатая собачка



Второе ее название — китай-

ская голая собачка. Когда и от кого она произошла — история об этом умалчивает. Известно лишь, что в 1966 году в Америке у одной старой дамы имелись такие чудо-собаки.

Именно чудо, потому что, к примеру, она одинаково легко приспосабливается и к холодному, и к жаркому климату, так как температура ее тела на 2,2 градуса по Цельсию выше, чем у человека. Потому что у нее своя персональная отопительная система: после того, как собачка поест, ее тело становится горячее.

Это можно определить на ощупь. Потому что, как и у человека, у них может быть аллергия на шерсть. Потому, наконец, что их кожа светлеет летом и темнеет зимой.

„Ну, а сама-то она почему называется хохлатой?“ — спросите вы. Потому что ее спина, бока, живот, грудь и шея совершенно голые. Одна лягушечья кожа. А вот хвост — как у нормальной пушистой собаки. Кончики лап тоже покрыты шерстью. На лбу и в переносье — шерсть. Сзади от затылка ниспадает нечто похожее на конский хвост, только это „нечто“ — очень реденькое.

Если волоски появляются на морде и отрастают усы, их надо выщипывать. Ничего не поделаешь — мода.

А так — очень симпатичная, средних размеров собачонка. Говорят, в Москве уже появилась одна такая.

Дай Бог, чтобы прижилась... на наших-то харчах.

И, наконец, о породе, название которой так просто и не произнесешь.

Уэст-хайленд-уайт-терьер

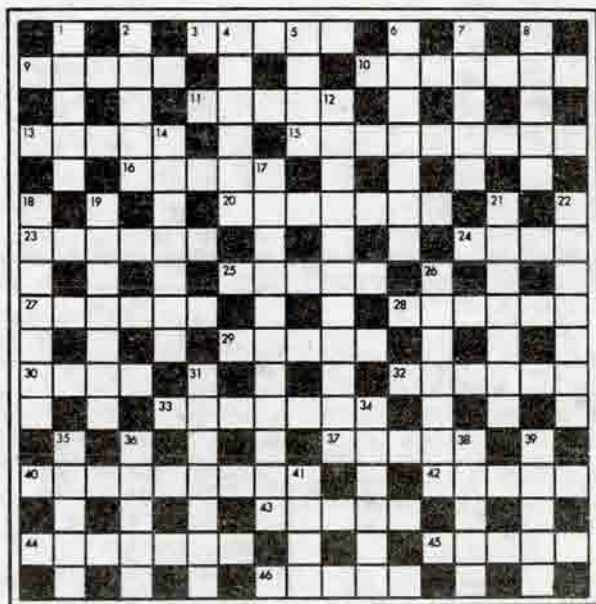


Очаровательное мохнатое создание чисто белого цвета: маленькие стоячие ушки, глаза прикрыты шерстью, черная кожаная кнопка-нос и короткий хвост-морковка торчком. Вот это и есть уэст-хайленд-уайт-терьер.

Родина собаки — местечко в горах Шотландии. Первый клуб любителей этих белоснежных красавцев был образован еще в 1905 году. В Великобритании, да и других странах уэст-хайленд-уайт-терьер неслыханно популярен. Пес очень любит охотиться, легко поддается дрессировке, хорошо ладит с другими собаками, ласков с детьми. Одинаково хорошо чувствует себя, живя в доме и во дворе. Когда-то это была норная собака, отлично охотившаяся на лисиц и барсуков. А еще отличный крысолов. Но со временем уэст-хайленд-уайт-терьер стал чисто декоративной собакой. Шерсть расчесывают каждый день гребнем и щеткой, а дважды в год — триммингуют, то есть выщипывают.

Вот такой пес с трудно выговариваемым именем.

Закончить же рассказ о собаках хочу словами А. П. Чехова: „Славный народ — собаки!“



3. Собака в басне И. Крылова «Крестьянин в беде».
 9. Строка из «Евгения Онегина» А. Пушкина: «Со сна садится в ванну со льдом» (стилистическое явление).
 10. Сокол, способный не есть тридцать пять дней.
 11. Окончание работы. 13. ...ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрагим Хайям. 15. Актриса Московского Художественного театра, попавшая в ссылку в Туруханский край. 16. Русское название художественной манеры. 20. «Бычий глаз» как окно. 23. Русский поэт, которого в высшем свете признавали, по словам И. Аксакова, «за светского говоруна, да еще самой пустой, праздною жизни». 24. Всегда на поверхности. 25. Визига по своей сути. 27. «Что ... земли? ужель за гробом ни жизни, ни награды нет?» (А. Кольцов. «К другу»). 28. Сверхающая нить в ткани. 29. Московская улица, по которой в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» везли с рынка матрасы. 30. Древний народ в Перу, чей правитель брал в жены родную сестру. 32. Русский писатель, многие сочинения которого, по мнению А. Чехова, «не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба». 33. Политическое движение в Англии, выдвинувшее «Народную хартию». 37. Герой думы К. Рыльева, ставшей народной песней. 40. Сырье для производства искусственного шелка. 42. Император, по чьему приказу покончили самоубийством Лукан, Петроний и Сенека. 43. «Кровь Земли». 44. Блюдо, какое надо подавать на стол очень холодным. 45. Старинное

русское название селитры (по В. Далю), 46. Кристи — Пуаро, Сименон —

По вертикали.

1. Американский город, побратим Иркутска. 2. Сорт лежких крымских яблок. 4. Одна из четырех «букв» генетического кода. 5. Объект поисков в романе Р. Стивенсона «Остров сокровищ». 6. Загрибок. 7. Архитектор, создавший ансамбль Дворцовой площади в Петербурге. 8. Пустынный крокодил. 12. Грузинский художник, открывший миру Нико Пиросмани. 14. Бог в душе. 17. Вирус общества. 18. Знаменитый американский фотомастер, автор изысканных по светотени портретов. 19. Народ, с чьими гаруспиками (гадателями) считались в Древнем Риме. 21. Единственная советская летчица, таранившая фашистский самолет. 22. Гнусное порождение пошлости, по Г. Померанцу. 26. Цветок, восточный символ вечности. 31. Сначала стимул, а затем убийца любви. 34. «Скульптурный» камень. 35. Как ... (тощий, худой). 36. Афинский демагог, первым ставший кричать и браниться с кафедры. 38. Мера энергии, переданная ионизирующим излучением заряженным частицам в точке облучения объекта. 39. Ловкость рук — и никакого мошенничества. 41. Река с водопадом Гандек, одним из красивейших в Европе.

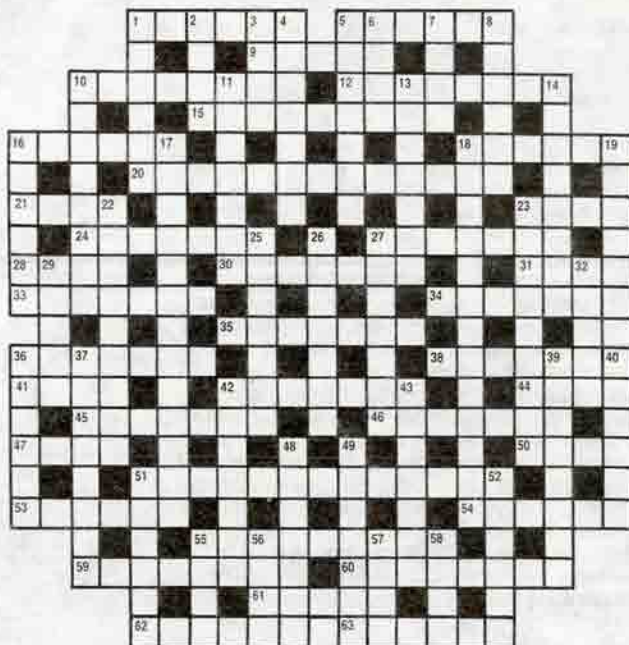
ОТВЕТЫ НА «ЗРУДИТ», НАПЕЧАТАННЫЙ в № 10

По горизонтали.

1. ...укол. 11. Импрессионизм. 13. Намаз. 14. Нок. 15. Уход. 17. Талмуд. 18. Омшаник. 21. Регул. 25. Прапорщик. 26. Серебро. 28. Зверь. 29. Вихрь. 30. Верди. 33. Федоров. 34. Пикнометр. 38. Шурин. 39. Кафедра. 43. Ювенал. 44. ...Бекр. 45. Эри. 47. Ересь. 48. Станиславский. 49. Доре.

По вертикали.

2. Камыш. 3. Лизун. 4. «Впрок». 5. Щен. 6. Иск. 7. Горал. 8. Рифма. 9. Жмудь. 10. ...Анго. 12. Сонет. 16. Хивря. 17. Тулес. 19. Муравьев. 20. Апперкот. 22. Сизиф. 23. Межеумье. 24. Гродетур. 27. Аршин. 31. Посул. 32. Янтак. 35. Мисра. 36. Люрса. 37. Чебак. 38. Шарик. 39. Келка. 40. Фрейд. 41. Днепр. 42. Альп. 45. Эль. 46. Ива.



КРОССВОРД
Составил
М. ВЕДЕРНИКОВ,
Новокузнецк
Кемеровской
области

По горизонтали.

1. Грузин «сел за рояль, тронул один...; потом» заиграл и тихо зашел» (А. Чехов «Рассказ неизвестного человека»). 5. Пьеса М. Горького. 9. Повреждение зерна в колосе от засухи. 10. Место добычи полезных ископаемых. 12. Научное предположение. 15. Один из героев в «Педагогической поэме» А. Макаренко. 16. Русский поэт, которого в Одессе читал В. Хлебников. 18. Крайняя степень восторга. 20. Национально-освободительное движение итальянского народа. 21. Возможная опасность. 23. Непримиимый враг рыси. 24. Село в Саратовской области, где похоронен изобретатель П. Яблочков. 27. Царь, которому приписывают библискую «Песнь песней». 28. Сорняк, полезный для свиней. 30. Советский генетик, уничтоженный Сталиным. 31. Крупная птица Маскаренских островов, истребленная свиньями. 33. Столица Гвинеи. 34. Необычное, редкое явление. 35. Цветок, любящий тень и обильную поливку. 36. Прыжковая игра. 38. Упрощенный теодолит. 41. Технический прием в спорте. 42. «Я по природе мой... Печорину и вообще ненавижу ловеласов и донжуанов» (Д. Григорович «Не по хорошу мил,— по милу хорош»). 44. Войсковое подразделение. 45. Эстонский город, известный с XIII века. 46. Звуковой прибор, каким обладает дельфин. 47. Французский утопист-социалист. 50. Кровельный материал. 51. Протестующие действия группы людей перед государственным учреждением. 53. Литератор-оценщик. 54. Пристань на То-

боле. 55. Персонаж в романе В. Каверина «Два капитана». 59. Специалист, изучающий рыб. 60. Жительница Страны утренней свежести. 61. Молва, слухи. 62. Цветочная добыча пчелы. 63. Рыболовецкая артель на Руси.

По вертикали.

1. Немецкий философ-идеалист. 2. Оросительный канал в Средней Азии. 3. Река, на которой стоит Гренобль. 4. Черноморская рыбацкая лодка. 5. Торговое предприятие. 6. ...Пелин — болгарский писатель. 7. Линкор, которым при разгроме турок в Наваринском сражении командовал М. Лазарев. 8. Советский баскетболист, чемпион двадцатых Олимпийских игр. 10. Фигурный овощ. 11. Знаменитый «душелюб» с шестнадцатой страницы «Литературной газеты». 13. Metallург, внедривший в производство русское бессемерование. 14. Профессия Н. Коперника. 16. Звероподобное двуногое в «Машине времени» Г. Уэллса. 17. Плодоносящая дальневосточная лиана. 18. Наука о проблемах расселения народов. 19. Отряд войск, выставленный для прикрытия операции. 22. Двухкорпусное судно. 23. Речной омут. 25. Изюмный сорт. 26. Разрушение животных и растительных клеток. 27. Смазочное вещество. 29. Ближайший к вам участник застолья. 32. Левая сторона бухгалтерских счетов. 36. Обрубок дерева. 37. Почетный способ смерти самурая. 39. «Боярыня ...» — картина В. Сурикова. 40. Советский хоккеист, чемпион мира. 42. Опера Г. Майбороды. 43. Изображение строителя храма или заказчика в искусстве средневековья. 48. Античный математик, объединивший математические дисциплины. 49. М. Горький — Пешков, А. Гайдар — ... 51. Заряд игрушечного пистолета. 52. Бессмыслица, вздор. 55. Пушкинский Евгений Онегин в Зарецком «любил и дух его суждений, и здравый ... о том, о сем». 56. Длинная белая накидка полноправных граждан Древнего Рима. 57. Барсучье жилище. 58. Башня, кибитка, шатер в Древней Руси.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 10

По горизонтали.

7. Доигрывание. 10. Рукав. 11. Триод. 12. Удмурты. 13. Шурик. 14. Позор. 16. Чин. 17. Хищение. 20. Дон. 23. Кусок. 26. Гайдроп. 28. Пта. 29. Цицерон. 30. Мел. 32. Бич... 33. Озарение. 34. Ненастье. 35. Дир. 37. Сиг. 38. Успение. 39. Жеп. 41. Коррида. 42. Горст. 44. Чад. 47. Формиат. 49. Нос. 50. Ярило. 51. Урман. 52. Горнист. 53. Роден. 55. Чисть. 56. Верстовский.

По вертикали.

1. Иов. 2. Ягодник. 3. Зыбучесть. 4. Маятник. 5. Бит. 6. Шушун. 7. Давид. 8. Ершов. 9. Голод. 13. Шимановская. 15. Рододендрон. 18. Щуп. 19. Ноа. 21. Аджарец. 22. Комедия. 24. Чичагов. 25. Вентури. 27. Пенне. 29. Циник. 31. Лир. 32. Бес. 36. Лермонтов. 39. Жор. 40. Пси. 42. Гобоист. 43. Таксист. 45. Дрюон. 46. Клюев. 48. Эрбий. 49. Нарты. 54. Ней. 55. Чиж.

Шахматная эпиграмма



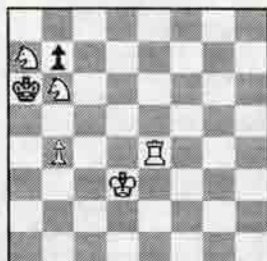
Под редакцией
международного гроссмейстера
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Завершаем публикацию итогов III международного конкурса составления шахматных задач-миниатюр журнала «Смена» за 1994 год. В конкурсе многоходовок участвовало 183 задачи 56 авторов (опубликована 31). Из конкурса исключены: № 45 — нерешаемость, №№ 48, 56, 72, 77, 78, 88, 90, 96, 105, 123 — из-за побочных решений, №№ 57, 120, 121 — из-за предшествующих.

Присуждение предварительное. Замечания принимаются в течение двух месяцев после публикации итогов.

I — II ПРИЗЫ

Н. ЗИНОВЬЕВ
Усть-Каменогорск
Казахстан



Мат в 4 хода

1. Крс4 Кра7 2. Крс5 Краб 3. Ле8 Кра7 4. Лс8х; 1...Крб6 2. Кб5 Краб 3. Ле7 б6 4. Ла7х, 2...Крс3 3. Ле7 б6 4. Лс7х (3...Крб6 4. Ле6х)

Две пары эхо-хамелеонных матов (к сожалению, только один из них — правильный). Интересно, что тематика неправильных эхо-матов разрабатывалась.

I — II ПРИЗЫ

М. МАРАНДЮК
г. Новоселица Украина
(исправление)



Мат в 7 ходов

1. Сf8! Крб5 2. Сd6 Кра5 3. Сb8 Крб5 4. Са7 Кра5 5. Крб3 Крб5 6. Кс7 Кра5 7. Кб7х

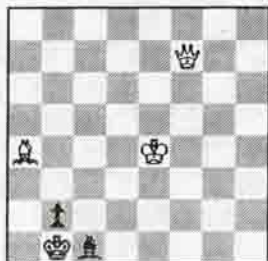
Отличная многоходовка маневренного стиля с превосходным вступлени-

ем в предвидении позиции взаимного цугцванга. Необходимо потерять темп, иначе в критической позиции очередь хода будет за белыми: 1. Kрb3 Kрb5 2. Cd6 Кра5 3. Сb8 Kрb5 4. Ca7 Кра5, и белые в цугцванге!

III ПРИЗ

А. КАЛИНИН

Москва



Мат в 4 хода

1. Сb3 (цугцванг) 1...Ch6 2. Фf1 Сс1 3. Сс2! Крс2 4. Фd3x, 3...Кра2 4. Фаbх; 1...Сf4 2. Фf4 Кра1 3. Фf6 Крb1 4. Фf1x

Два варианта заканчиваются тремя правильными матами, два из которых образуют эхо. Интересен ложный след — 1. Фа7? Cd2! 2. Крд3 Се1! — показывающий, что черные не столь беззащитны.

1-й почетный отзыв — задаче № 25 **С. Демидюка** (Брест, Беларусь). Автор исправил задачу перестановкой белого короля на с6 (решение осталось прежним: 1. Крд5!).

Хорошая четырехфигурная малютка с отличным вступлением и разветвленной игрой. Особенно хорош вариант с тихой игрой ферзя: 1...Крf5 2. Фd6! Крg5 3. Фе6!

2-й почетный отзыв — задаче № 18 **В. Иванова** (Карелия) и **Н. Зиновьева** (Казахстан).

Два варианта заканчиваются правильными эхо-хамелеонными матами. Задача претендовала бы на приз, однако механизм ее не оригинален. Так, в нашем конкурсе участвовала задача № 57 с точно такой же игрой и матами, но которая была исключена из-за пол-

ного предшественника (М. Хавель, 1918 г.) № 18 спасает частичная замена материала (белый слон вместо коня), хотя игра мало изменилась.

3-й почетный отзыв — задаче № 122 **В. Шильникова** (г. Асбест Свердловской обл.). Автор устранил побочное решение перестановкой белого коня на h8 (решение осталось прежним).

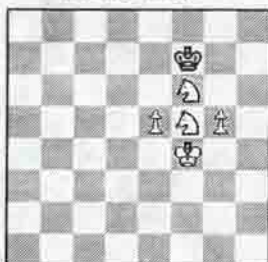
Интересная дуэль белого слона и черного коня ведет к известной позиции из задачи французского поэта Альфреда де Мюссе.

Похвальные отзывы (на равных) — задачам № 8 **В. Морозова** (Москва), № 17 **Д. Гургенидзе** и **Р. Марцвалашвили** (Грузия) и № 36 **Ю. Калугина** (Самара).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

М. КОРМИЛЬЦЕВ

Екатеринбург



1. Крg4! Кре6 2. g6 Кре5 3. Крg5 Креб 4. g7 Кре5 5. g8! Креб 6. Лg7 Кре5 7. Ле7x

Симпатичная изобразительная задача на тему асимметрии. Вариант, симметричный действительному решению, является ложным следом. Задача могла бы претендовать на главные призы, если бы не дуали в дополнительных вариантах.

Специальный почетный отзыв — задаче № 76 **В. Антипова** (г. Боровичи Новгородской обл.).

Таск Валадао — в решении проходят рокировка, взятие на проходе и превращение.

Специальный похвальный отзыв — задаче № 46 **Г. Ромберг** (г. Боровичи Новгородской обл.).

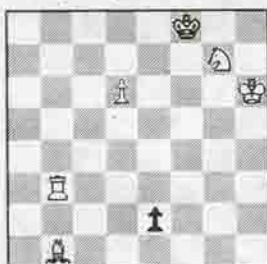
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

109. Р. ЛИНКОЛЬН
США



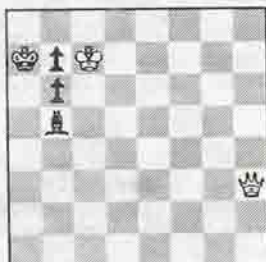
Мат в 2 хода

110. В. КОВАЛЕНКО
г. Большой Камень
Приморского края



Мат в 2 хода

111. Ю. ОВЧИННИКОВ
г. Первоуральск



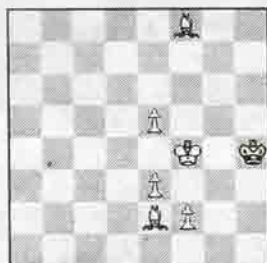
Мат в 3 хода

112. Р. ШОПФ
ФРГ



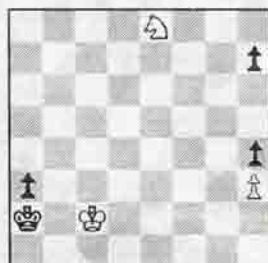
Мат в 4 хода

113. Н. КРАЛИН
Москва



Мат в 6 ходов
б) бел. Ke2

114. М. ХОФМАН
Швейцария



Мат в 10 ходов
б) Ke8 — d1; в) Ke8 — g8



АНАСТАСИЯ:

**"Я
знаю
силу
слов..."**

На ее концертах люди не впадают в психопатический транс, не издают истошных воплей, не топают ногами в такт, не свистят, не танцуют в проходах зрительного зала. Короче, не «балдеют», как теперь принято говорить о реакции зрителей. Ее слушают, а главное — слышат. Эти песни-спектакли доступны и понятны всем, кто верит в любовь, кто надеется и умеет ждать. Песни грустные, озорные, дерзкие. И во всех — частица ее сердца, тайны ее собственной жизни...

— Анастасия, ваше имя означает возрождение, воскресение. По каким законам вы живете?

— По человеческим. Во мне всегда присутствует страх поддаться каким-то сиюминутным искушениям, чтобы потом не раскаиваться. Стремлюсь к тому, чтобы люди, пришедшие меня слушать, видели во мне чистого, искреннего человека, который как

бы исповедуется перед ними, чтобы мои концерты были не просто зрелищем, оснащенный эффектно зрелищными подсветками и пусканием дыма, но каким-то откровением и для тех, кто сидит в зале, и для меня самой.

— Ваша манера исполнения — стиль «шансон». Так в свое время работали Клавдия Шульженко и Марк Бернес, а во Франции Шевалье. Делали упор на текст, «оформленный» живым голосом. Вы согласны с этим? Кем ощущаете себя — актрисой или певицей?

— Я прежде всего актриса. Закончила Щукинское театральное училище, курс Г. Катина-Ярцева. Вокалу никогда специально не училась. Просто всегда любила петь. И пела. Для себя, для друзей. Что касается моих музыкальных пристрастий, то они сформировались под влиянием семьи. Мама ориентировала меня преимущественно на классику, формировала мой музыкальный вкус. В доме у нас были пластинки только с произведениями Моцарта, Чайковского, Бетховена, Рахманинова, а из эстрады — Шульженко и Пиаф.

— Ваш приход в искусство предопределили тоже родители?

— Как раз наоборот. Видя мое увлечение театром (ведь они имели к нему самое непосредственное отношение), старались развенчать его в моих глазах. Мама говорила, что театр — это сборище скорпионов, клоака, исчадие интриг, сплетен и склок...

Родители мечтали, что я получу высшее образование в МГУ. Однако я отправилась в училище Щукина... Родителям ничего не оставалось, как смириться и предоставить мне право самой строить свою дальнейшую судьбу.

— Ваши первые шаги на сцене?..

— Первое приглашение на рабо-

ту после окончания училища поступило из Театра кукол. Это меня шокировало, но... надо начинать зарабатывать. Предложили воплощать образ Бабы-Яги. Это мне-то, молодой девушке! Но работа есть работа... Старшие товарищи, сослуживцы-кукловоды, внушали мне: свою куклу нужно любить, чтобы с ней успешно работать и она выглядела бы живой и правдоподобной. Говорили, чтобы ее по-настоящему почувствовать, с ней надо вставать и ложиться. Я же не представляла, как можно спать с куклой, и проработав один сезон, уволилась.

Подвернулась работа, о которой я всегда мечтала, — в драматическом театре. Театр в ту пору сдерживал мое пристрастие к пению. Тем более ролями не была обделена. Играла в спектаклях «Прощай, оружие», «Безотцовщина», «Ночные забавы», «Белоснежка»...

Но этого мне было мало. По натуре я — человек творчески жадный. Хотелось попробовать себя в режиссуре, драматургии, хотелось некоторые жизненные ситуации воплотить в музыкальную форму, а именно — в песню. И я рискнула. Пришла на эстраду. Школьная подруга познакомила меня с молодым композитором Ашотом Филиппом. Он записывал тогда свою новую песню. Оказалось, я нужна ему не для исполнения, а для подпевок. Я возмутилась: это я-то, игравшая первые роли в театре! Но, увидев его, сразу влюбилась, как, впрочем, и он в меня.

Мы стали вместе сочинять песни. Слова мои, музыка, естественно, его. Так появились «Бродяга», «Учитель» и другие шлягеры.

— Чувствуется, сцена для вас — предначертание судьбы, а не результат спонтанного решения или дань моде. В последнее время многие театральные артисты «запели», даже «разговорники» на эстраде ударились в вокал, чтобы оставаться на виду.

— Театр, а затем и эстрада вошли в мою жизнь закономерно, как нечто естественное, само собой разумеющееся. Видимо, перемена места мне предопределена самой судьбой. Мой максимализм и некоторое тщеславие (в меру, конечно) требуют лидерства. И я по мере сил и возможностей лидирую. А вообще я — как сороконожка. Она тоже не знает, почему у нее, не как у всех, столько ног. «Обвенчавшись» с эстрадой, я стала одновременно писать стихи, придумывать модели своих сценических костюмов. Так что пока считаю, что вполне нашла себя в новых «обстоятельствах», как принято говорить у театроведов.

— *Что вы думаете о современной песне?*

— Театр и училище научили меня профессионализму, а это означает — ценить слово на сцене. Понимать его и верить в его силу. Помните, у Маяковского: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат». Поэтому я в своих песнях всегда иду от текста. «Оформляю» его голосом. Именно живым голосом, а не фонограммой, изготовленной с помощью радиотехники.

А что касается нынешних эстрадных песен, то их убожество удручает... Предвижу возражение: «Но ведь их поют, значит, привлекает и нравится». Все дело в том, что их воспринимают на слух, под музыку и вокал. Если же просто читать глазами с листа, то любому мало-мальски грамотному человеку станет ясно — это не имеет ни малейшего отношения к поэзии и литературе вообще. Тексты представляют собой набор слов, часто бессвязных, и выражают «мысли», примитивные до предела.

Оглушающая поп-музыка и крикливый до истеричного вокал служат своеобразным камуфляжем, маскирующим то, что на самом

деле представляют собой эти так называемые песни. «Музыкальным» оформлением шлягеров внимание человека отвлекается от текста песни. В настоящих же песнях музыка нежная, мелодичная, пронизана гармонией. Она идет вслед за словом, сопровождает его, усиливает эмоционально. Сама музыка как бы говорит... Мелодия в таких песнях, если ее наигрывают, воскрешает в памяти слова. А в потоке нынешних шлягеров все отдельно — и слова, и музыка, которая вообще не запоминается.

— *Вы в жизни тоже актриса?*

— Конечно, как всякая женщина.

— *Даже наедине с собой?*

— И даже наедине. У Горького, кстати, есть забавные зарисовки на сей счет — как ведут себя женщины, играя кого-то перед самими собой. Как всякому ребенку, укrywшемуся платком, кажется, что его никто не видит, он надежно спрятался. И все ему подыгрывают. Так и женщина, особенно актриса. Трудно выходить из образа. Правда, в какие-то моменты оболочка сваливается сама. И тогда наступает беззащитность. Я этого всегда боюсь и стараюсь избегать. Для нас, женщин, актерство — своеобразная форма защиты, поддержание контакта, налаживание взаимоотношений. Присмотритесь внимательнее — у женщин в жизни гораздо больше ролей, чем у мужчин. И я не исключение.

— *Меняет ли вас жизнь?*

— Конечно, как и всякого человека. Если раньше меня озлобляли поступки каких-то людей, то теперь я их жалею, и вывести меня из равновесия они уже не могут. Стараюсь быть терпимой, сдержанной, уравновешенной. Сейчас пресловутый рынок захватил почти каждого человека, втягивает всех, словно в

омут, и часто лишает нравственных устоев. Такого рынка, где все на продажу по сходной цене, я не хочу и отвергаю его. Вообще, считаю, собственность толкает человека не в лучшую сторону. Пробуждает алчность, жадность, корыстолюбие, равнодушие, жестокосердие. От щедрот своих богатый начинает «отстегивать» бедняку лишь тогда, когда девать деньги уже некуда, а ему еще и слава добряка нужна.

Когда приезжаю в российские города — тихие, маленькие, чувствую, как люди тоскуют по человеческому теплу, тянутся к нему, стараются сохранять нормальные отношения, ценят их. Это видно по реакции на мои песни, по разговорам... Столичным жителям этого, увы, не понять.

— Как, по-вашему, почему на сегодняшней эстраде обилие имен, но чрезвычайно мало ярких, звездных?

— Сейчас все предельно упростилось. Попасты на ТВ — не проблема. Были бы деньги. Платишь и получаешь эфир, сколько тебе надо. Многие юные исполнители мечтают попасть на сцену. Если у папы тугой карман и он заплатит кому надо, считай, что ты уже артистка. Вот и появляются на дискотеках, в ночных клубах смазливые девочки, выучившие одну-две песни. А если они еще и охотно раздеваются, то определенный успех им на какое-то время обеспечен. Грустно. Но, думаю, это все-таки скоро пройдет.

— Вас не посещает мысль о переселении на Запад, как поступили некоторые ваши коллеги?

— За границу не собираюсь. Я Россию еще не всю исколесила и не облетала. Вообще одно дело видеть, что тебя здесь знают, любят, ждут, а другое — завоевывать любовь заново, не зная, что из этого получится. Не потому, что я в себе

не уверена, а просто мне родная среда ближе и дороже. Шмотки могу купить и здесь. Ради них глупо тащиться за тридевять земель.

— У вас есть любимое место на земле?

— Москва, Никитские ворота. Из своего окна вижу здание ТАСС и вспоминаю, что не так давно там поблизости стоял родильный дом, в котором я появилась на свет.

— Кто унаследует вашу любовь к родным и дорогим местам?

— Наверное, дочь Аня. Ей 10 лет, и она очень привязана к дому. Любит музыку, книги. Увлекается модными сейчас электронными играми.

— Не боитесь заглядывать в будущее, лет эдак на 20?

— Предпочитаю этого не делать. Боюсь, что там себя не встречу. Живу сегодняшним днем... Никогда ничего не планирую, чтобы не разочаровываться. Прошел день, и слава Богу.

**Беседу вела
ВАЛЕНТИНА ТЕРСКАЯ.**



(Читайте стр. 54)



ИНДЕКС 70820

